

На главную

Владимир Солоухин

## Последняя Ступень

(Исповедь вашего современника)

Эта книга написана — страшно сказать — в 1976 году, то есть в то время, которое потом назвали «застойным». Можно сказать и по-другому: это было мертво-стабильное время, никаких перемен, никаких даже шевелений в сторону перемен не предвиделось и даже не предчувствовалось.

Конечно, все понимали, что быстро стареющий Брежнев рано или поздно уйдет, но он был окружен такой сплоченной группой соратников (сообщников), что даль не проглядывалась даже на две-три фигуры вперед. Ну, уйдет Брежнев, но ведь рядом с ним Андропов, Черненко, Суслов, Гришин, Громыко, Устинов, Щелоков... Непробиваемая толща кадров, готовых занять место Генсека и удерживать существующую стабильность, то есть застой. И потом эти взаимные аэродромные чмокания-целования с Живковым, Чаушеску, Кадаром, Гереком... Надеяться было не на что.

А я в начале шестидесятых годов начал прозревать или, точнее сказать, прозрел. Как и почему это получилось — об этом и книга. Прозрение процесс необратимый. В слепых можно ходить хоть сто лет, но, раз увидев, нарочно уже не ослепнешь. Разве что зажмуриваться, да и то от увиденного не уйдешь.

И вот я стал писать книгу о том, как я прозрел, о том, что я увидел и понял.

Тут совпало несколько дополнительных обстоятельств, которые тоже сыграли свою роль.

Анна Ахматова, услышав у Марины Цветаевой в стихах что-то о смерти, воскликнула: «Ты с ума сошла! В стихах все сбывается!» А я как раз написал одно стихотворение. Где-то вычитал, что Страдивари потому делал такие драгоценные скрипки, что брал для этого дерево, в которое ударила молния. Скорее всего — легенда. Но, во всяком случае, легенда красивая. И вот стихотворение у меня заканчивалось:

Вот что дереву нужно, чтоб начало петь,  
Редкий жребий,  
Чтоб горний огонь снизошел,  
Чтобы вдоль по волокнам тугим  
До корней прокатилась гроза,  
Опалив, закалив,  
Словно война сердце в бою.  
.....  
Я созрел, я готов, я открыто стою.  
О, ударьте в меня, небеса!

Ну, вот небеса и бабахнули. В 1973 году, в возрасте сорока девяти лет — операция в онкологическом институте им. Герцена (при желании читайте об этом подробнее в повести «Приговор»).

Врачи думают, что больные ничего не слышат, не знают. А шушуканье за спиной трудно было не слышать: три месяца, от силы — шесть. Потoki метастазы, легочная температура, как бы вялая пневмония — картина известная... Когда же прошел год и пошел второй, я сказал себе: вот, ты хотел, чтобы небеса ударили в тебя, они и ударили. Но более того, они дают тебе дополнительный срок жизни. Зачем? Чтобы ты протирал штаны в ЦДЛ? Нет, тебе дан дополнительный срок, чтобы ты написал свою главную книгу. К 1976 году книга была готова.

Рязанская поэтесса Нина Краснова (она же и профессиональная машинистка) сказала мне однажды: «Все твои повести, это как деревня с ее домами, деревьями, колодцами, амбарами и прудами, а эта рукопись как церковь, венчающая деревенский пейзаж». Пусть будет так. Правда, когда я спросил у Нины Петровны: «А что же в этом случае моя новая повесть «Смех за левым плечом»? — Краснова не растерялась: «Это крестик на церковке»...

Книга «Последняя ступень» писалась без оглядки по многим причинам, и первая из них та, что было бы смешно даже и помышлять об ее опубликовании в то время. Ну а если написать и спрятать, то какие же могут быть оглядки? Это некоторые с их квартирными «эпопеями» да с карикатурами на русского солдата «линяли за бугор», а я даже в уме не держал. Где родился, там и пригодился.

Передиктовал рукопись машинистке, размножил до шести-семи экземпляров. Хранились: два экземпляра в Москве в надежных, домах и семьях, один экземпляр в Париже, один в Сан-Франциско, один во Франкфурте-на-Майне, но везде с твердым уговором: без моего ведома из рук не выпускать.

Но время шло. Чувство опасности притуплялось, я стал давать рукопись почитать то одному человеку, то другому. В общей сложности «тираж» прочтения составил, вероятно, около полусотни. Называть всех, кто прочел, ни к чему, упомяну лишь Леонида Максимовича Леонова, да еще Александра Львовича Казембека, русского дворянина, эмигранта в Париже, основателя партии «Младороссов», в программе которой было соединить Советскую власть (вернее, сталинское единоначалие и государственность) с монархией. Идея кажется смешной, но не настолько уж. Ведь Сталин уже и был самодержцем, и если бы не вывели его из строя 28 февраля 1953 года, народ, возможно, провозгласил бы его даже императором.

Так вот, реакция этих двух людей. Леонов: «Вообще ходит человек по Москве с водородной бомбой в портфеле и делает вид, что там у него бутылка коньяку».

Александр Львович, после войны возвратившийся из парижской эмиграции в Москву, оказался одним из первых читателей рукописи. Помню, я сидел в кресле в его комнате, а он ходил мимо меня

своими мелкими шажками, ходил не целый ли вечер, никак не решаясь на вынесение приговора. Потом остановился на секунду: «Во-первых, это — блистательно, во-вторых, по-русски — доблестно!..» И тотчас вышел из комнаты. Завышенную восторженность оценки (а она была еще выше, чем изображено здесь) надо отнести за тот счет, что Казембек всю жизнь прожил с этими идеями, но высказать их (по крайней мере, в такой форме и в таком объеме) не высказал.

А между тем потекли годы. Издательство «Посев» во Франкфурте-на-Майне освоить рукопись не смогло («Нас разнесут!»). Самое большое, что они сделали, это извлекли оттуда небольшую главку о Ленине и под названием «Читая Ленина» издали ее отдельной брошюрой.

Сейчас могу сказать, на сердце руку положи, что удерживали от публикации меня не боязнь, не страх (скорее инерция), однако не на последнем месте был и этический момент. Может быть, даже на первом месте. Ведь я отчетливо понимал, что некоторые «персонажи» в книге легко узнаваемы, и «персонажам» это может вовсе не понравиться. А я им, между тем, обязан столь многим, что огорчать их никак не хотелось бы.

Даю ли я себе отчет в том, что многие мысли, идеи, положения были подраздгерганы за двадцать лет мною самим в других книгах либо статьях, частично другими людьми, частично самим временем? В частности — да, но в большом и целом основная концепция остается, мне кажется, злободневной. Впрочем возможному читателю судить об этом будет легче, нежели автору.

Должен заметить, что где-то в середине срока хранения рукописи, я перечитал ее и сделал некоторые вставочки, уточнения и дополнения. Это означает, что я и сам видел, как время идет, и что оно меняет не только обстановку в стране, но и меня самого.

То, что видишь, напиши в книгу... Напиши, что, что ты видел и что есть  
и что будет после сего...  
Знаю дела твои и труд твой, и терпение твое... испытал тех, которые  
называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы...  
Знаю твои дела и труд твой, и что ты живешь там, где престол сатаны,  
и что содержишь имя Мое, и не отрекся от веры Моей, даже в те дни, в  
которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель Мой...  
Знаю твои дела; вот, Я отворил пред тобой дверь, и никто не может  
затворить ее...

АПОКАЛИПСИС

Наши дети, наши внуки не будут в состоянии даже представить себе ту  
Россию, в которой мы когда-то жили, которую мы не ценили, не  
понимали — всю эту мощь, сложность, богатство, счастье...

И. А. БУНИН. Окаянные дни

Постепенно возникло, а потом укрепилось в моем сознании имя фотографа — Кирилл Александровича Буренина. Впрочем, в московском обиходе употреблялась форма — Кирилл Буренин, а то и просто Кирюша.

Получилось так, что долгое время все уже знали о нем, о его оригинальных, высокохудожественных, но будто бы очень спорных работах, о выставке его работ с участием конной милиции (такой она получила успех), а я все еще ничего не слышал о восходящей звезде, и само сочетание слов «Кирилл Буренин» было для меня незнакомо.

Но вот во время обеда в Доме литераторов сотрапезник, один поэт, помоложе меня десятью годами, то есть в то время еще молодой поэт, как бы невзначай обронил:

— С тобой очень хотел бы познакомиться Кирилл Буренин.

Я никак не мог отозваться на эту фразу, потому что никакого Кирилла Буренина не знал.

— Известнейший фотограф, — пояснил поэт. — Да ты что, с луны, что ли, свалился?

— Как видно, с луны.

— Ну, все равно. Он хотел бы с тобой познакомиться. У него прекрасная студия, где он снимает. Хочет сделать и твой художественный портрет. Увековечит. Не пренебрегай. И кроме всего — интересный человек. Все знает. Просветляет мозги. Гигант.

Этот первый разговор тем и кончился. Я не возражал, конечно, но, с другой стороны, мы и не помчались немедленно в студию фотографа-художника, куда-то на проспект Мира, а спокойно допили и доели все, что было у нас тогда на столе.

Через неделю - другую в том же Доме литераторов, когда я сидел совсем в другой компании, молодой поэт подошел ко мне сзади и задышал над ухом:

— Кирюша здесь. Может, подойдешь к нам на пять минут, к нашему столу?

— Какой Кирюша?

— Кирилл Буренин, фотограф. Разве не помнишь, я тебе говорил...

— А... сейчас подойду.

Они сидели втроем, поэт и молодые мужчина с женщиной. Мужчина, русый (но нельзя сказать, что блондин) и голубоглазый, был одет в светлый клетчатый, несколько бросающийся в глаза костюм, а вместо галстука — шарфик на французский манер. Когда я подсел к ним и мы друг другу представились, он остановил на мне свой синий и пронзительный взгляд, словно затеял сеанс гипноза. Либо что-то хотел прочитать в моей душе, либо что-то привнести в мою душу. Я объяснил этот взгляд тем, что он как-никак художник и, следовательно, изучает меня как объект будущего портрета. Женщина, сидящая с ним, Лиза, Елизавета Сергеевна, была тоже синеглазая, но, однако, темноволосая. Русь белая и Русь темная — вспомнилось мне разделение Бунина. Русь белая — Ольга Ларина, Шаляпин, Есенин. Русь черная — Татьяна Ларина, Наташа Ростова, тот же Бунин. Бунин, будто бы, не любил белой, соломенной Руси, широколицей и добродушной, а любил Русь темную, сухощавую, нестеровскую, раскольничью, самосожженческую, огнеглазую. Пушкинский Руслан и боярыня Морозова...

Помнится, в первые минуты Лиза и напомнила мне больше всего эту нашу средневековую воительницу. Не знаю, насколько был бы похож сам Кирилл на Руслана, если представить его с русской бородой... Нет, не был бы похож. Станный какой-то тип лица. Словно есть в нем что-то и не совсем

русское. Немецкое, что ли? Он ведь, как успел рассказать мне поэт, — ленинградец, петербуржец, с какими-то древними дворянскими предками (как и Лиза тоже), чуть ли не потомок Брюллова (по боковым, конечно, троюродным линиям), а она, Лиза, чуть ли не племянница Рахманинова, впрочем, тоже четвероюродная. Это все поэт нашептал мне в первый раз, да я не придавал значения и все забыл. Теперь же, когда я получил возможность взглянуть в их лица, вспомнились поэтовы слова. И действительно, что-то породистое, утонченное забрезжило сквозь обыкновенные как будто черты, либо такова уж сила внушения.

— Очень рад, много слышал. Читал. Нет слов. Единственный русский писатель... — зачастил мой новый знакомый.

— Ну... Так уж... Это ни к чему, право...

— Единственный русский писатель. Лиза, скажи!

Лиза подхватила без всякой подготовки и всякого перехода:

— Да, мы считаем, что это так. В то время, когда все пишут о газопроводчиках и комбайнерах, вы единственный поднимаете голос в защиту русских церквей, русской природы, старинных парков, вообще всего русского. Березки еще не Россия. Березки растут и в Польше, и в Финляндии, и в Германии. Русский дух — вот что важно. А он есть в ваших книгах. То место во «Владимирских проселках», где простая крестьянка, русская женщина, рассказывает о варварском разрушении сельской колокольни, когда она говорит, что теперь небо над селом стало ниже, мы не променяем на сто романов о газопроводчиках.

Кирилл смотрел на свою жену одобрительно, а мне пояснил:

— Мой министр пропаганды. Мой Геббельс. Я подивился шутке, которая, впрочем, прозвучала в устах Кирилла как-то легко и естественно.

— Так что вот, Владимир Алексеевич, просим прийти к нам в мастерскую, будем делать портрет. Может быть, выедем на природу. Может быть, поедем во Владимир к Покрову-на-Нерли, сфотографируем вас на фоне этой церкви. У вас есть машина?

— Машина есть.

— Обменяемся телефонами...

Теперь надо сказать несколько слов, что же я представлял собой — по своим взглядам, по своему общественному поведению — к моменту этой встречи, перевернувшей, в конечном счете, все мои взгляды и все мое поведение.

В романе, который я в свое время затеял («Смех за левым плечом»), я постепенно и последовательно подошел бы к этому месту биографии своего лирического героя, и все было бы понятно само собой. Но обстоятельства торопят меня. По всей вероятности, мне удастся закончить только первую часть романа, доведя своего героя до семилетнего возраста. Значит, перекидываясь сразу в конец (Бог с ним, с остальным романом, но эти события я описать должен), мне придется несколькими фразами восполнить отсутствие многих и многих глав. Не для того, чтобы обозначить канву событий и всю эволюцию героя, ради которой и задуман роман, но для того, чтобы дать понятие о том, каков я был к началу описываемых событий, то есть к моменту встречи с Кириллом Бурениным. Без этого было бы непонятно, между прочим, и его настойчивое стремление познакомиться со мной, подсылание молодого поэта как посредника да и все, что произошло дальше.

Самая короткая характеристика: член ВЛКСМ с 1939 года, член КПСС с 1952 года, член Союза советских писателей с 1954 года, член редколлегии «Литературной газеты», заместитель председателя Московской писательской организации, член Комитета по присуждению Ленинских премий.

Примерно к этому же времени относится одно курьезное происшествие. Еще будучи разъездным очеркистом «Огонька», я написал «Владимирские проселки», после которых сразу почувствовал себя, что называется, невестой на выданье. Со всех сторон стали поступать самые заманчивые предложения. Кривицкий, например, привез меня на дачу к Константину Михайловичу Симонову, и там под рябиновую домашнюю настойку они целый вечер буквально уламывали меня идти к ним в «Новый мир» (Симонов — главный редактор, Кривицкий — его заместитель) членом редколлегии, заведовать прозой «Нового мира». Кто хоть немного знает (1) этих людей, их мертвую хватку, тот поймет, какого труда мне стоило удержаться от соблазна. Должен сказать, что, отказываясь, я не руководствовался почти никакими соображениями нашей внутрисоюзписательской литературной политики, а исключительно тем, что «мне некогда будет писать». Ведь коэффициент прочитанных и вышедших в журнале вещей — шесть к одному. То есть на каждый печатный лист прозы, вышедшей в журнале, заведующий отделом читает шесть печатных листов текста, то есть приблизительно сто двадцать листов в месяц (для несведующих — в одном печатном листе 24 страницы машинописного текста. 120 листов = 2880 страниц). Но надо ведь и организовать эти вещи, держать постоянную связь с писателями, надо ведь и сидеть по многу часов на редколлегии, разговаривать с авторами. Когда же тут писать самому? Я был на взлете. Уже начата «Капля росы», уже писался роман «Мать-мачеха», уже задумано было десятка три рассказов, не забывал и стихи. Если и были какие-то иные маленькие соображения в дополнение ко всему только что изложенному, так это следующие. Интуиция подсказывала мне, что сами Симонов и Кривицкий скоро из «Нового мира» уйдут. Так зачем же они меня туда тянут? Я буду «их кадр», а работать останусь с другим главным редактором, который, возможно, захочет иметь заведующим отделом прозы своего человека. Значит, меня попросят уйти с занимаемой должности. Не каждый понимает внутреннюю механику событий. Получится, что я уйду как не справившийся с работой. В то же время секретарь Союза писателей Василий Александрович Смирнов, наиболее ортодоксальный из всех секретарей Союза писателей, внушал мне: «Мы не хотим, чтобы ты шел к ним в «Новый мир». Тем самым ты их подопреешь плечом, поддержишь».

Помнится, я не очень-то внимал этим увещаниям Василия Александровича, чувствуя (интуитивно же), что скоро и он из секретарей Союза писателей уйдет. Понимая, что меня затягивает какая-то сложная машина и что я не могу быть машинистом, но лишь колесом, рычагом. При моем рвении к письменному столу я стремился занять более спокойное и стороннее от кипящих в Союзе писателей страстей место. Я вынашивал, например, идею поступить на Высшие литературные курсы. «А что? — думал я. — Буду получать двести рублей стипендии и ничего не делать. Учиться? Учиться я умею. Всю жизнь только и делал, что учился. Тем временем за два года я напишу одну-две книги».

Эта мечта сильно занимала меня, так что когда вдруг позвонил Серегин, ректор Литературного института, под началом которого находятся и Высшие литературные курсы, я обрадовался

совпадению и помчался к Серегину.

Как бывшего и, в общем-то, недавнего студента Литературного института, он встретил меня тепло, да и я рад был оказаться в родных стенах. После необходимого общего разговора: «Как дела? Что пишешь? Читал, читал...» — последовала деловая часть.

— Есть предложение, — сказал Сергей Иванович. — Не пойдешь ли моим заместителем, проректором по Высшим литературным курсам? Это так называется — мой заместитель, а фактически — директор Высших литературных курсов. Оклад — пятьсот рублей. Подумай, а? Только недолго, послезавтра мне позвони.

Я сказал, что подумаю (из приличия), но сам про себя сразу решил эту должность принять. Однако на другой день Серегин позвонил мне сам, извинился передо мной и сказал, что Юрий Лаптев выпросил уже у секретариата это место и таким образом вопрос отпал.

Я не огорчился. Однако, побыв кандидатом в директорах Высших литературных курсов хотя бы один день, идти туда простым слушателем мне уже не хотелось.

Тут поступило новое приглашение — членом редколлегии в «Литературную газету», курировать (так принято говорить) отдел поэзии. Лучшего нельзя было бы и желать. Во-первых, читать — немного. Стихи ведь — не проза. Во-вторых, стихи — мое наипервейшее дело, в котором я разбираюсь лучше других дел. В-третьих, — «Литературная газета»...

Я был, конечно, неопытен и наивен. Меня, например, как-то вовсе не интересовало, к кому я иду под начало и чью линию мне придется проводить. А ведь главным редактором в то время был немного-немало Кочетов. Может быть, мной руководила подсознательная надежда, что на своем поэтическом участке я буду проводить свою линию, то есть буду стараться публиковать только хорошие стихи? Как-то не мог я тогда осознать (надеюсь, моя искренность не вызывает сомнений, ибо зачем мне сейчас лукавить?), что если мое имя стоит в числе других имен под газетой, то я тем самым подписываюсь подо всем, что в газете напечатано. Наивность моя была столь велика, что в день выхода газеты со статьей «Снимите черные очки», громящей близких мне по симпатиям людей — Дудинцева и Яшина, я, случайно столкнувшись с Яшиным в раздевалке ЦДЛ, тотчас живехонько осведомил его, что я теперь работаю в «Литературной газете», и попросил у него стихи. Яшин посмотрел на меня с недоумением, потом с присущей ему прямоотой и резкостью отчитал меня:

— Как не стыдно? Это что, издевательство? Утром облить грязью, а в обед предлагать сотрудничество в той же газете. Это бессовестно.

Личные отношения у нас были очень хорошие (они сохранились до его смерти), но тогда он очень сильно разгневался, и я не сразу осознал правоту его гнева. Как бы то ни было, я стал работать в «Литературной газете» членом редколлегии. Очень скоро я увидел, что идеологическая служба в нашей стране хорошо поощряется, но что за эти поощрительные блага нужно, в свою очередь, платить чистой валютой, то есть совестью.

Однажды меня остановил в коридоре другой член редколлегии и спросил:

— Ты что это обедаешь в общем буфете?

— Где же? Не в ресторан же ходить?

— Как где? Для членов редколлегии есть особый буфет, — и он показал мне на узкую дверь без всякой вывески. Много раз я ходил мимо этой двери, не подозревая, что за ней находится. За ней оказалась небольшая комната, два стола и милая женщина Антонина Митрофановна. Она накормила меня превосходным домашним обедом да еще и налила перед обедом стопочку коньяку. Я поблагодарил и собрался уходить.

— Что это вы заказами не пользуетесь? Все берут, а вы нет. Скажите мне, что вам нужно, и я с базы все вам доставлю. Вырезка, язык, икра, осетрина, крабы — все, чего не бывает в магазинах.

На другой день меня ждала большая картонная коробка, на которой сверху карандашом было написано мое имя. На других коробках значились имена других членов редколлегии.

Детишек летом надо было увозить куда-нибудь на вольный воздух. Я спросил у Косолапова (заместитель главного редактора), нельзя ли получить казенную дачу. Косолапов нажал кнопку, позвал хозяйственника, и у нас оказалась великолепная дача в Шереметьевке (аэродрома там тогда еще не было).

Если мне нужно было куда-нибудь съездить или приехать откуда-нибудь в редакцию, я звонил в нашу диспетчерскую и получал в свое распоряжение машину.

В Союзе писателей я тоже попал «в обойму», то есть в то число, в тот список привилегированных людей (пока еще не номенклатура, но все-таки), которых приглашают в ЦК на ответственные совещания с «активом», на банкеты, на встречи с правительством. Как раз была полоса таких встреч. Никита Сергеевич Хрущев любил пообщаться с интеллигенцией. На одной из бывших сталинских дач (а еще раньше — бывших имений), где-то в районе Пахры, в прекрасном парке с прудами и с прозрачными ручейками, текущими вдоль пешеходных дорожек, мы, я помню, гуляли группами, объединившись по степени знакомства и личных симпатий. Помню, шли по аллее: Серега Воронин, Миша Алексеев, Сережа Смирнов (Васильевич), Олесь Гончар, Максим Танк, Петрусь Бровка. На аллее как-то неожиданно выросли перед нами Хрущев с Ворошиловым. Разминуться было нельзя. Каждый с каждым перездоровались за руку, представились. Потом уже, разойдясь, мы между собой стали делиться впечатлениями:

— Лицо у него доброе, но чем-то озабоченное.

— Какая-нибудь информация с утра. Может, американский самолет в наше небо опять залетел. Может, китайцы что-нибудь... Мало ли у него забот.

Встреча была длинная, шумная, с речами, с обильной и вкусной едой. О ней можно было бы написать отдельные воспоминания (Максим Тодеевич Рыльский как засел с удочкой около пруда, так и сидел почти все время, а Корнейчук кричал, произнося тост: «За великого новатора нашего времени!»), но не тут моя цель.

На другой день (надо, надо за все платить!) главный редактор позвал меня в кабинет и сказал:

— Вы были на вчерашней встрече. Напишите о ней три странички, а точнее — о хозяине встречи. Никаких высоких фраз и лозунгов, только личные впечатления. Сразу же на первую полосу.

Так и получается. Встал на стезю верной службы — служи. Клюешь с руки — отработывай корм. Да и как откажешься написать о первом секретаре ЦК, если сам — член КПСС, и если уже предложено. Конечно, если бы болтаться на окраине Союза писателей, сидеть в затишье, в кустах, никто бы не предложил тебе писать о Хрущеве на первую страницу газеты. Но поскольку на стрелке,

на юру, на виду, тебе предложили, а отказаться уже нельзя. То есть можно, можно отказаться, и на первый раз ничего не случится. Но если раз откажешься, два откажешься, то потом не откажутся ли от тебя самого?

При всем том стараешься написать так, чтобы привнести личное, индивидуальное, чтобы проступил твой почерк. Я зацепился — если говорить о том частном случае — именно за первое впечатление от встречи на аллее. Статейка на первой страничке газеты так и называлась — «Лицо доброе и озабоченное». Расул, до недавних пор еще, как увидит меня, так обнимет за плечи и скажет громко, шутя:

— Ну как? Лицо доброе и озабоченное?

А Саша Кузнецов однажды при серьезном разговоре вынул из бумажника сложенную в восемь раз газетную вырезку и протянул мне:

— Уважающие тебя альпинисты просили тебе вернуть. Я развернул сложенную бумажку и увидел свою статейку «Лицо доброе и озабоченное».

В своих бумагах я нашел недавно эту статейку, а также и репортаж, который был напечатан уже без моей подписи, как редакционный материал, но написан был мной. Их нужно знать, чтобы лучше понять остальную повесть.

*«Мы, небольшая группа писателей, шли по малолюдной аллее парка, по берегу большого красивого пруда. Жара, которую обещал накануне Институт прогнозов, еще не вошла в силу, тем более здесь, в тени густых неохватных деревьев. Вдруг мы увидели идущих по аллее нам навстречу товарищей Хрущева и Ворошилова. Мы посторонились, чтобы освободить им дорогу, но Никита Сергеевич и Климент Ефремович подошли к нам, поздоровались с каждым за руку и только после этого пошли дальше. В этом эпизоде, разумеется, нет ничего особенного, что можно было бы описывать. Десятки, сотни людей могли бы рассказать то же самое. Но, оставшись одни, мы тотчас стали делиться впечатлениями.*

— *Какая у него сильная рука!* — сказал один, имея в виду Никиту Сергеевича Хрущева.

— *Ну вот, теперь я спокоен,* — пошутил Гончар, — *Никита Сергеевич тоже без галстука, в вышитой украинской рубашке.*

— *А я,* — *отозвалась шедшая с нами женщина,* — *не смотрела ни на что, кроме лица. Оно доброе... Но я заметила, что и озабоченное. Он чем-то сильно озабочен сегодня. Да, да, я не могла ошибиться...*

*Разговор пошел перескакивать с одного на другое, а я поразился про себя, как вдруг случайно были произнесены самые точные слова, определяющие самое главное, самое характерное, что можно сказать о человеке и о его делах... Доброта и озабоченность.*

*Зачем гадать, чем был озабочен глава Советского правительства? Конечно, тишина и безмятежность царили в утреннем парке, кто удил рыбу, кто катался на лодках, и бойкий хрустальный ручеек бежал по камешкам вдоль аллеи. Но ведь уже существовала опубликованная всеми газетами телеграмма: «...Просим вас ежечасно следить за событиями в Конго. Возможно, будем вынуждены просить вмешательства Советского Союза... Жизнь президента республики и премьер-министра в опасности».*

*Но без особых усилий воображения можно было увидеть тяжелые тучи, сгущающиеся над молодой республикой — над островом Куба. Но проблема Берлина. Но проблема разоружения. Но проблема разоблачения догматизма и сектантства. Но урожай. Но выплавка стали. Но воспитание молодого поколения. Но задачи, стоящие перед народом на ближайшее десятилетие. Много эпитетов можно подобрать, определяющих дела, которые совершает советский народ. Эти дела и великие, и героические, и мудрые, и справедливые, и смелые. Не надо бояться применять к ним и еще одно определение. Я помню, как человек, услышав самые первые сообщения о предстоящем освоении целинных земель, о развернутом и дружном вторжении в ковыльные, веками дремавшие степи, (2) воскликнул: «Какая красивая проблема!» Да, да, красота тоже присуща всем делам, совершаемым нашим народом. Но все же, если искать самые точные и самые нужные определения, то мы будем вынуждены повторить еще раз великое, если вдуматься, слово — доброта. Все для человека. Не для одного, не для узкой кучки людей, а для всех. Для человека с большой буквы. Переберите в памяти все начинания Никиты Сергеевича Хрущева как Первого секретаря Коммунистической партии Советского Союза и как главы Советского Союза — вскрытие недостатков, связанных с культом личности, целина, крутой подъем сельского хозяйства, семилетний план, размах жилищного строительства, налоговая политика, пресечение агрессии в Египте и Ливане, проблема всеобщего разоружения, теория мирного сосуществования и многое-многое другое, что физически невозможно перечислить, — переберите в памяти все это, и вы увидите, что в основе всех самых разных и как бы неохватных дел лежит именно доброта.*

*Я говорю не о той доброте, с которой подчас ассоциируются и мягкость, и всепрощенчество, и даже непротивление злу, нет, ведь наш путь есть путь борьбы, и мягкость здесь непригодна, но тем-то и ценнее очищенное от побочных оттенков и примесей первозданное светлое слово — доброта.*

*Лицо доброе и озабоченное... Я никогда не забуду этих слов, произнесенных в утреннем подмосковном парке, так же, как никогда не забуду и самого лица, про которое эти слова были сказаны. Доброе и озабоченное. В этом наша сила и счастье».*

\* \* \*

*«В это воскресенье в один из прекрасных подмосковных парков съехались на встречу с руководителями партии и правительства ученые, писатели, художники, композиторы, работники киноискусства и театра — деятели советской культуры, цвет нашей интеллигенции. Это они запускают в космос ракеты, проектируют города, рассчитывают сложнейшие машины, пишут замечательные книги, ставят спектакли, снимают фильмы, создают величественные симфонии, яркие полотна, скульптуры, полные живого очарования непревзойденные русские балеты.*

*Тихие тенистые аллеи и поляны, окруженные березами и цветущими липами, луговины, пахнущие молодым сеном, пруды, распространяющие прохладу, — все это со щедрым гостеприимством встретило людей, съехавшихся из всех пятнадцати республик нашей страны.*

*Но все же атмосферу гостеприимства и непринужденности, атмосферу простосердечия и искренности создали не ласковая природа Подмосковья, а хозяйева, пригласившие столь*

многочисленных гостей.

Ранним утром на аллеях парка навстречу гостям вышли: А. Б. Аристов, Л. И. Брежнев, Н. Г. Игнатов, Ф. Р. Козлов, А. Н. Косыгин, О. В. Куусинен, А. И. Микоян, Н. А. Мухитдинов, Н. В. Подгорный, Д. С. Полянский, М. А. Суслов, Е. А. Фурцева, Н. С. Хрущев, Н. В. Шверник, П. Н. Поспелов, Д. С. Бородченко, Я. А. Калнберзин, А. П. Кириленко, К. Т. Мазуров, В. П. Мжаванадзе, М. Г. Первухин.

Где бы ни появлялся Никита Сергеевич Хрущев и его товарищи-соратники, тотчас их окружали празднично одетые люди. Завязывались беседы, слышались шутки, вспыхивал смех.

Никита Сергеевич узнавал своих старых друзей, знакомых, с которыми приходилось не раз встречаться.

...Вот Клим Ефремович подошел к украинскому композитору Данкевичу:

— Ну, помоги старику, — и запел народную украинскую песню.

Тотчас к дуэту присоединился Никита Сергеевич. Знаменитый украинский певец Гмыря своим могучим басом поддержал зародившуюся песню. Это был необыкновенный концерт веселый и радостный.

Не успели стихнуть украинские песни, как в круг вошел Рашид Бейбутов, и вот уже азербайджанская мелодия зазвучала под липами и березами.

Рыбакам было раздолье. Старый рыболов Максим Тодеевич Рыльский, кажется, забыл обо всем на свете, уединился на берегу пруда, как если бы где-нибудь на родном Днепре. А карпы везде одинаковы.

Веселье весельем, развлечения развлечениями, но и серьезные, деловые разговоры завязывались то там, то здесь. Руководители партии и правительства дружески беседовали с представителями советской интеллигенции. В этих беседах затрагивался широкий круг вопросов, интересующий ученых и деятелей культуры. Никита Сергеевич тепло встречает М. А. Шолохова и поздравляет его с вручением медали и диплома лауреата Ленинской премии.

Писатель, любимый всем нашим народом, благодарит партию и правительство за высокую оценку его творчества. Они обмениваются рукопожатиями и крепко обнимаются.

Никита Сергеевич беседовал с К. А. Фединым, А. Е. Корнейчуком, И. Г. Эренбургом и многими другими участниками встречи, учеными и деятелями искусства.

Время перешло за полночь. Под гигантским шатром, осененным вековыми липами, хлебосольно накрыт стол. Открывая обед, с большой, программной для деятелей науки речью обратился к гостям член Президиума Центрального Комитета КПСС, секретарь ЦК КПСС М. А. Суслов.

Тот за тостом звучат под сводами шатра, и первая честь советским ученым. Слово о них произносит Председатель Президиума Верховного Совета Леонид Ильич Брежнев. В наш век — век физики, химии, штурма космоса — именно наука обеспечивает и благосостояние народа, и мирный созидательный труд.

«Великолепные достижения советских ученых в области атомной физики, ракетной техники, радиоэлектроники и во многих других областях науки, — сказал Л. И. Брежнев, — не только известны всему миру, но и признаются как выдающиеся открытия и изобретения современности.

Эти успехи показывают преимущество социалистического строя, открывшего небывалые возможности для творческих дерзаний людей, освобожденных от капиталистического рабства.

Своими научными открытиями и изобретениями советские ученые не раз прославляли нашу любимую Родину, гений нашего советского человека. За их благородный труд Никита Сергеевич Хрущев с трибуны XX и XXI съездов нашей партии, а также на Пленумах Центрального Комитета и других больших собраниях приносил всем ученым благодарность нашей партии и правительства и добрые пожелания в их работе».

В честь славных советских писателей, прозаиков и драматургов, поэтов и сценаристов, в честь всех деятелей советской литературы поднимает тост секретарь ЦК КПСС Фрол Романович Козлов. Он напомнил писателям, что не случайно в свое время великий Ленин назвал литературу делом, составляющим часть дела партийного.

«Особенно радостно, — отметил Ф. Р. Козлов, — что писатели стали более активно обращаться к темам современной советской действительности, стремясь запечатлеть духовный облик строителя коммунизма. В ряде произведений, напечатанных в журналах и вышедших отдельными книгами, отражены черты рождающегося в жизни человека коммунистического будущего. Поиски писателей в этом направлении заслуживают внимания и всемерной поддержки».

Анастас Иванович Микоян предлагает здравицу в честь советских художников. Он делится своими впечатлениями о поездках в зарубежные страны, говорит о бесперспективности и реакционности западного абстрактного искусства, далекого от народа, о преимуществах нашей реалистической живописи.

Екатерина Алексеевна Фурцева призывает деятелей советского кино полнее использовать огромные возможности этого самого массового искусства для художественного раскрытия великих дел советского народа, создания полноценных образов наших современников.

Никита Сергеевич, поддерживая этот тост, говорит, однако, в своей живой речи, что кинофильмы бывают разные. Один фильм как только начнешь смотреть, так и ждешь, чтобы он поскорее кончился. На таком фильме не мудрено и задремать. Правильно ли, что и за плохие, и за отличные фильмы существует одинаковая плата? Не пора ли пересмотреть такой порядок? Участники встречи горячо поддержали это замечание Н. С. Хрущева.

К советским композиторам и исполнителям обращается А. Б. Аристов. Он поднимает бокал за здоровье всех деятелей музыкальной культуры.

Об огромном значении советского театра в коммунистическом воспитании трудящихся говорит А. Н. Косыгин.

Отвечая на приветственные слова руководителей партии и правительства, один за другим поднимаются с бокалами в руках крупнейшие деятели науки, искусства, мастера. Президент Академии наук СССР А. Н. Несмеянов, М. А. Шолохов, К. А. Федин, Л. С. Соболев, С. А. Герасимов, Н. П. Охлопков, С. Ф. Бондарчук, М. Т. Рыльский, Д. Д. Шостакович, А. Е. Корнейчук, П. У. Бровка, К. И. Сапфиров, Ш. А. Рашидов, И. В. Абашидзе, В. А. Серов...

Ученый и писатель, художник и композитор, артист и поэт — они говорили каждый о своем, но во всех их выступлениях прозвучала одна общая нота — глубочайшая преданность делу партии,

беззаветное служение народу. «Можете быть уверены, — сказал А. Е. Корнейчук, обращаясь к руководителям партии и правительства, — в нас вы имеете верных друзей и помощников».

В течение всего обеда царил обстановка непринужденности и веселья. Речи ораторов перемежались с выступлениями артистов эстрады.

Юная ученица великой Галины Улановой — Катя Максимова вызвала бурю аплодисментов своим искусством.

Прекрасную молодую певицу прислала в Москву Украина. Белла Руденко очаровала слушателей свежим, полным обаяния голосом.

Все замерли, слушая могучую, выразительную игру Святослава Рихтера.

Величавую скрипку Ойстраха сменяют задорные голоса уральских певиц.

Остроумные мастера ленинградской эстрады, акробаты, кукольный театр, сольное пение, русский перепляс — один номер веселее, жизнерадостнее, лучше другого, а все вместе — замечательный праздничный концерт...

Один из выступавших, старейший мастер сцены Н. П. Охлопков, очень точно охарактеризовал главное в этой знаменательной и поистине исторической встрече. Это главное он назвал вдохновением. Вдохновение звучало в речах руководителей партии и правительства, вдохновенно говорили деятели науки, мастера искусства. Вдохновение это пришло из жизни, из глубин народа, от бригад коммунистического труда, ибо все, что совершают советские люди, — вдохновенно.

С вполне понятным нетерпением ожидали собравшиеся выступления главы Советского правительства — Никиты Сергеевича Хрущева. Остроумно, с юмором, с яркими развернутыми образами, броско и живо говорил Никита Сергеевич. Его речь, посвященная великому единству партии и народа, торжеству марксизма-ленинизма, выдающимся успехам нашей страны, развитию социалистической культуры всех народов СССР была выслушана с огромным вниманием и многократно сопровождалась бурными аплодисментами.

Встреча руководителей партии и правительства с представителями советской интеллигенции вылилась в замечательную демонстрацию сплоченности советского народа вокруг Коммунистической партии и ее ленинского Центрального Комитета. Эта встреча в подмосковном парке навсегда останется в памяти всех, кто участвовал в ней. Она послужит источником новых замыслов, нового творческого вдохновения».

\* \* \*

Теперь, когда я вижу на первой странице «Литературной газеты» подписанные именами Кожевникова и Полевого, Липатова и Наровчатова, Михалкова и Маркова, Ананьева и Кешокова, а иногда даже и Бондарева отклики, скажем, на поездку Брежнева в Париж, на то или иное выступление Брежнева или просто на Седьмое ноября или (не приведи, Господи!) на изгнание Солженицина, я лишней раз убеждаюсь, что за блага в виде специальных пайков, в виде званий Героев Социалистического Труда надо платить. Надо служить верой и правдой, жертвуя своим именем, своим званием писателя. Впрочем, почему жертвуя? Не исключено, что они так и думают. Свидетельствую, что я не кривил душой, когда писал свою статью «Лицо доброе и озабоченное». Я так думал. (3)

Блага исходили не только в виде вырезки, привозимой Антониной Митрофановной со специальной базы, не только в виде казенной дачи в Шереметьевке.

Вдруг звонят из радиокомитета и просят, чтобы я выступил перед микрофоном 7 Ноября с Красной площади во время парада и демонстрации. Интересно, что я в то время такие предложения воспринимал как почетное дело как, вот именно, благо. Полторы-две странички текста. Три-четыре минуты. Но ведь где! И когда! На фоне праздничного гула демонстрации, бравурной музыки и раскатывающегося «ура» вдруг Левитан своим знаменитым тембром произносит: «Рядом с нами находится писатель Владимир Солоухин. Предоставляем ему слово». Тут уже не будешь соблюдать лирические тонкости и переходы. Обстановка требует и соответствующих слов. Вот образчики трех случайно сохранившихся моих выступлений по радио с Красной площади:

«Вот уже полтора часа я стою у самого края широкой, полноводной, неудержимой в своем небыстром и плавном течении людской реки. Она вливается на Красную площадь, обтекая кирпичный островок Исторического музея, (4) неся на волне своей праздничную яркость знамен и стягов.

Около часа назад, почти в самом начале демонстрации, мне бросился в глаза пронесенный людьми большой макет земного шара».

Я люблю землю. Ее голубые, сверкающие на солнце моря южных широт и тяжелые, холодные волны Севера; ее раздольные степи, пахнущие пшеничной соломой и полынью, парным молоком и дымкой кизяка; ее дремучие леса и светлые рыбные реки; ее большие города и маленькие деревеньки.

Недалекое будущее покажет, но я уверен, что в туманном мирозданье нет планеты красивее нашей Земли.

Был большой смысл в том, что люди, высоко подняв на руках, пронесли макет Земли через Красную площадь, в Москве, сегодня, в годовщину Великой Октябрьской революции.

Много разных народов населяет землю. Но у всех народов есть одно общее, непреодолимое стремление — стремление к свободе, к свету, к счастью.

Ни один народ (я подчеркиваю, народ) не хочет гибели нашей Земли, а хочет ее радостного, прекрасного цветения.

Дорогу к свету, дорогу к счастью народов открыла и показала всем Великая Октябрьская революция.

Кто знает, сколько времени минуло,  
Когда, потемки мозга озаря,  
Впервые искра разума сверкнула  
В тяжелом темном взгляде дикаря.  
Исток с того неведомого века  
Культура человечества берет.  
И шла с тех пор дорога человека  
Вперед и выше, выше и вперед.

Века — и уголь сделался алмазом.

Сверкает уголь лезвием луча,  
 Так воплотился человека разум  
 В кристально светлый разум Ильича.  
 Тот разум — наше огненное знамя,  
 Мы с ним к великой цели подошли.  
 И знаем мы, что встанут вместе с нами  
 Народы всей разбуженной земли.

«Макет Земли был одного голубоватого цвета, но вокруг него переливались в праздничном цветении все, я бы сказал, самые главные земные цвета. Голубой — земного чистого неба; золотой — солнечного света и созревающих хлебных полей; зеленый — весенний, яркий... И самый главный, самый побеждающий цвет — цвет человеческой крови, пролитой в разные времена за свободу всех людей на земле, цвет наших красных знамен.

Идут хозяйева земли. Идут те, кто не позволит нарушить мир на земле, кто стоит на страже ее великого, ее земного цветения. Идут люди...»

«Среди многочисленных колонн демонстрантов, представляющих различные районы столицы, ее заводы, институты, министерства, нет, конечно, отдельной колонны, в которой шли бы труженики нашей деревни, люди, дающие стране хлеб, хлопок, лен, мясо, молоко и все, что мы называем подчас скучноватым названием — сельскохозяйственные продукты.

Но люди эти, миллионы, десятки миллионов людей, сердцами, душой, мыслями, конечно, тоже здесь, на Красной площади, на празднике наших народов.

Многое в оформлении колонн демонстрантов напоминает нам о великих успехах, достигнутых за последние годы тружениками сельского хозяйства. Вот и сейчас над одной из колонн сверкнуло золото созревших хлебов. Это трудящиеся Рижского района столицы несут в руках колосья созревшей пшеницы. Колосья украшают макеты двух огромных тракторов, плывущих над колонной Министерства сельского хозяйства. Недалеке транспарант с надписью: «10 — 11 миллиардов пудов (5) зерна». Таков годовой сбор, намеченный на конец семилетки. В рядах демонстрантов — студенты, будущие агрономы, боевые командиры хлебного фронта.

Хлеб! Золотистые поля, тяжелое зерно в закромах, каравай теплого румяного хлеба на столе.

Разве мы забыли, как черные волны голода прокатывались над Поволжьем, над Украиной? Или разве мы не знаем, что в иных странах и до сих пор для многих людей является проблемой и мечтой ежедневный кусок хлеба?

Партия и правительство сделали все, чтобы исключить случайности из нашей жизни. Огромные просторы распаханной целины, алтайский, казахстанский, оренбургский, кубанский, украинский, среднерусский хлеб — каравай к караваю, элеватор к элеватору, эшелон к эшелону — изобилие хлеба в государстве. Десять-одиннадцать миллиардов в конце семилетки — такова задача.

У своих радиоприемников в деревнях, отстоящих от Москвы на сотни тысяч километров, сидят сейчас трактористы, доярки, комбайнеры, председатели колхозов, бригады полеводческих бригад, хлопкоробы, льноводы, мастера земледелия. Они слышат ликующий шум праздничной Москвы, и Москва знает и помнит о них.

«Не красна изба углами, а красна пирогами», — говорит русская пословица. На каждом празднике важен накрытый стол. Труженики сельского хозяйства позаботились, чтобы праздничный стол страны не был беден.

Вот почему, поздравляя их от чистого сердца, мы говорим сегодня: «Слава вам, мастера высоких урожаев, мастера земледелия!»

Диктор: «А сейчас слово Тихому Дону. Слушайте станицу Вешенскую...»

Это только называется — на Красной площади. На самом деле выступали мы из ГУМа. Все-таки было тут что-то щекощущее тщеславие, когда идешь со специальным пропуском и оказываешься в пустынном ГУМе. Только милиционеры похаживают в огромных пролетах да еще лоточницы с кофе, с горячим глинтвейном.

Этот глинтвейн мне особенно запомнился, потому что в промозглую ноябрьскую погоду хорошо было им согреться, но до выступления берегся, соблюдая себя в трезвой, как стеклышко, чистоте. Хотя текст давно написан и проверен семью инстанциями и читать его придется по бумажке, но все же от выпивки у меня теряется дикция, сминаются окончания слов.

Зато, выступив, с чувством исполненного долга, с каким наслаждением пил я этот горячий глинтвейн, хотя бы из бумажных омерзительных стаканчиков.

Около комнаты, где восседает с микрофоном Левитан, встретишь Суркова, Полевого, Сергея Васильева, Грибачева — верных сынов КПСС. И вот, значит, я в их числе. Многим ли из 1600 членов Московской писательской организации доверяется в такой день выступить с Красной площади?

Для того, чтобы окончательно была ясной степень моей правоверности, прикладывается еще один документ, статейка, написанная по заказу... не помню теперь уж, по заказу какой газеты, но, очевидно, тоже к 7 ноября:

#### «В НЕОПЛАТНОМ ДОЛГУ»

Оказывается, мир — это что-то гораздо большее, чем расстояние от лавки в переднем углу до полатей или от Петра Семенычева сарая до Ефимова амбара. Мир — это даже не то, что увидишь, забравшись на высокую липу и оглянувшись на все четыре стороны: вон деревни Брод, Негодяиха, Останиха, Курьяниха, Куделино, Зельники... Вон Плаксинские кусты, а вон и сама Журавлиха.

Все это хорошо, но оказывается, что есть еще страна Италия, очертаниями схожая с сапогом, и Скандинавский полуостров, похожий на прыгающую кошку. Учительница показывает нам, а мы запоминаем.

Оказывается также, что мир начался не вместе с нами, а что-то было и до нас, например, Парижская коммуна и Октябрьская революция.

Мы, родившиеся в середине двадцатых годов, естественно, стали понимать это лишь в тридцатые годы. Восстание декабристов, Парижская коммуна и Октябрьская революция для нас казались тогда уже одинаково историческими событиями.

Так, человеку, родившемуся в 1957 году, будет, когда он осознает себя, далекой историей



казаться Великая Отечественная война.

Он не сразу научится понимать, что мог бы родиться рабом, а не гражданином Советского Союза, а мог бы и совсем не родиться, потому что его мать угнали бы в фашистское рабство, а отца казнили бы за то, что он коммунист.

Сам я, если признаться откровенно, довольно поздно задаю себе вопрос: а что было бы со мной, кем бы я родился, чем бы занимался, что и кто бы я был, если бы за семь лет до моего рождения не произошла Великая Октябрьская революция.

Положим, начальная школа в нашем селе была давным-давно. Говорят, что она называлась церковно-приходской. Но ведь ни у кого из нас — ни у меня, ни у моих сверстников: Васи Кузова, братьев Грубовых, братьев Черновых — ни у кого из нас и мысли никогда не было остановиться на четырех классах начальной школы.

Как-то решилось само собой, что мы стали учиться в семилетке.

Это «само собой» потом часто будет встречаться в нашей жизни, и только позже мы поймем, что вовсе все тут не само собой, но что за все уже на сто лет вперед оплачено кровью борцов 17-го года.

Так, например, я после окончания семилетки собрал чемоданишко и уехал «в город». Так называлось у нас уехать во Владимир, потому что не было поблизости других городов. Само собой совершилось, что я стал учеником средней школы номер один, которую во Владимире зовут образцовой. Тогда я ни минуты не задумывался, почему ее зовут образцовой и почему я «само собой» начал учиться в такой школе. Теперь я знаю, что образцовой ее звали по старинке: некогда это была губернская образцовая гимназия.

Вот, значит, и первая разница. Уж наверное в губернскую образцовую гимназию, где учились дети с Дворянской улицы (ныне улица III Интернационала), уж наверное не поступить бы туда мужицкому сынишке из глухого села Алепина. А если бы, чтобы поиграть в либерализм, и приняли для экзотики одного-двух, то ничего бы это не изменило. Ведь весь наш 8«Б» — были дети рабочих и крестьян.

Когда же мне захотелось строить моторы для самолетов и когда я был принят в механический техникум, стал учиться там и получил диплом техника-технолога, все это я воспринял как должное, и все совершалось так, как будто кто-то заранее приготовил для меня и сам техникум, и общежитие при нем, и ежемесячную стипендию, и темно-синюю книжицу диплома, и, наконец, должность на заводе.

Нам, выпускникам, диким казалось бы, если бы кто-нибудь сказал: ну что ж, выучились, а теперь ступайте на все четыре стороны, сами ищите себе работу, сами устраивайтесь в жизни как хотите.

Это другое дело, что нам, восемнадцатилетним паренькам, не пришлось и дня проработать на новых должностях, потому что подоспела другая работа. Шел 1942 год, и немцы рвались к сердцу Кавказа.

С каждым годом все разительнее разница в судьбах — меня живущего и того воображаемого меня, который жил бы на земле, не познавшей Октябрьской грозы.

Россия без индустриальных пятилеток, без социалистической системы ведения хозяйства, конечно, не устояла бы под ударами гитлеровской военной машины, и рабство, унижительное и беспросветное, поглотило бы русский народ. И каждый сын его и каждая дочь его разделили бы с ним его горькую судьбу. Значит, начались бы годы подпольных мыслей, подпольных чувств, подпольного накопления сил, которое, конечно, рано или поздно разметало бы все и вся, что придавило народ к земле, потому что никакие силы не могут держать согнутым целый народ безгранично долгое время.

Вместо всего этого после окончания войны я поступил в Литературный институт имени Максима Горького.

Литературного института, конечно, и в помине не было бы при иных условиях, а если бы и возникло учебное заведение похожего типа, то, конечно, оно было бы одним из самых привилегированных и, значит, самых недоступных для нас заведений.

Кирзовые сапоги и полинявшие от соли гимнастерки, и которых пришло в институт наше поколение, вряд ли явились бы пропуском в Царскосельский лицей.

Василий Федоров и Маргарита Агашина, Владимир Тендряков и Лидия Обухова, Юлия Друнина и Николай Старшинов, Константин Ваншенкин и Григорий Бакланов, Юрий Бондарев и Евгений Винокуров, Эдуард Асадов и Ольга Кожухова, Юрий Трифонов и Евгений Елисеев, Игорь Кобзев и Алексей Марков, Анатолий Левушкин и Григорий Поженян, Семен Сорин и Инна Гофф, Михаил Годенко и Виктор Гончаров, Виктор Ревунов и Николай Евдокимов, Расул Гамзатов и Наби Бабаев, Анна Ковусов и Отар Челидзе, Семен Шуртаков и Василий Белов...

Я мог бы называть и называть имена моих сверстников, учившихся в Литературном институте вместе со мной и теперь плодотворно, каждый в меру своих сил и таланта работающих в советской литературе.

Вот я и думаю, какова была бы судьба всех нас, если бы за несколько лет до нашего рождения не произошло Октябрьской революции?

Просто-напросто не было бы нас как таковых, ибо творческие индивидуальности каждого скорее всего погибли бы, не имея возможности проявиться.

Может быть, от слишком частого употребления мы привыкли к словам «советская власть открыла дорогу...», «советская власть сделала возможным...», «советская власть вывела в люди...».

Но ведь в этом-то и заключается правда. Да, открыла дорогу, да, сделала возможным, да, вывела в люди.

И мы, выведенные в люди, не должны забывать своего неоплатного долга перед советской властью».

Вот, значит, каким я был к моменту знакомства с Кириллом Бурениным.

И все же, вспоминая теперь прежнее свое состояние, надо сказать, что я не был столь уж однозначным, как выгляжу в этих статейках и выступлениях. Иначе и Кирилл едва ли бы нацелился на меня.

Правда, что и в стихах я начал изменять, так сказать, своей чистой лирике и написал несколько

откровенно политических стихотворений, в том числе и «Партийный билет» и «Это было в двадцатом». Правда, что, работая разъездным корреспондентом «Огонька», я прославлял трубопрокатчиков, председателей колхозов и даже целину, не умея заглянуть в глубинную суть явлений или, как потом скажет Кирилл, не зная «тайны времени», то есть, значит, будучи слепым человеком. Но и до Кирилла еще я написал «Владимирские проселки». По ведь пафос «Владимирских проселков», их «сверхзадача», пусть интуитивно нащупанная, но сверхзадача — это увидеть Россию сквозь внешние очертания советской действительности.

С приходом в «Литературную газету» мое положение «невесты на выданье», оказывается, не кончилось. Дмитрий Алексеевич Поликарпов, руководящий всей культурой страны со стороны ЦК, благоволил ко мне. Меня ввели в состав комитета по присуждению Ленинских премий. Семьдесят человек (потом их стало больше ста), отобранных из всей советской интеллигенции. Уланова, Тарасова, Завадский, Царев, Гончар, Бровка, Максим Танк, Аджубей, Сатюков (главный редактор «Правды»), Прокофьев, Максим Рыльский, Корнейчук, Пырьев, Сурков, Хренников, Пластов, Серов, Ираклий Абашидзе, Мирзо Турсун-заде, Твардовский, С. С. Смирнов, Грибачев — все это под председательством Тихонова. Да и сам я уж был выдвинут на соискание Ленинской премии и прошел второй тур. А если не получил, то рассудили так: молодой еще, за следующую книгу получит.

Егорычев, тогдашний первый секретарь МК, полтора часа уговаривал меня стать председателем Московской писательской организации, а Поликарпов, после смерти Рюрикова, предложил было взять сектор в ЦК, и я слезно просил Твардовского поговорить с Пликарповым, чтобы тот не настаивал.

Предстояло выбрать между службой и чистой литературой.

Но если я, с одной стороны, выступал перед микрофоном на Красной площади и в статейках всячески прославлял советскую власть, а с другой стороны, в «Проселках» и в «Капле росы» пытался увидеть Россию сквозь маску советской действительности, то каковы же были мои истинные политические убеждения?

Приходится сказать, что они были путаными. И то и другое я делал искренне. Помню, как я симпатизировал Померанцеву, когда его начали бить и топтать за статью об искренности. Помню, что все мои симпатии были на стороне Дудинцева и его романа. Помню, что я восхищался «Рычагами» Яшина, Помню, что буквально задохнулся от восторга, прочитав первую ласточку Солженицина.

Но в то же время как будто искренне я писал о целине, о первых космонавтах, о Хрущеве, как помним. Не кривя душой как будто, запятнал себя навсегда позорным выступлением (вместе с другими), когда под председательством С. С. Смирнова топтали в ЦДЛ Пастернака за то, что тот не отказался от Нобелевской премии.

Некоторая ревизия современной мне действительности в душе была. Но, во-первых, она шла не дальше Сталина и его времени (Ленин — кристалл, Ленин — чистота, Ленин — совесть, идея, знамя), во-вторых, эта ревизия ограничивалась собственными мыслями, разговорами с друзьями, внутренней симпатией к людям, совсем почти не проникая на написанные мной страницы. Разве что чувствовалась, угадывалась между строк в атмосфере той или иной вещи наиболее чуткими читательскими сердцами.

Да я и на самом деле и в мыслях даже не заглядывал дальше Ленина. Дальше шло нечто столь отдаленное, столь исторически прошлое, столь потонувшее во тьме времен, что о чем же там думать? Вроде как ледниковый период. Где-то были там царь, Колчак, Деникин, Врангель, а с другой стороны — Чапаев, Фрунзе, Буденный. Но ведь были и мамонты на земле, и всякие динозавры. Что-то произошло такое, что динозавры и мамонты вымерли, колесо истории сделало поворот. Так и тут, я открыл глаза уже при советской власти. Вокруг плакаты, лозунги, колхозы, займы, сельсоветы, уполномоченные, милиция, семилетки, техникумы, портреты вождей, кинофильмы о том, как красные герои бьют подлецов белых, песни о том же, книги о том же, все и всюду о том же.

Я и опомниться не успел, как сделался комсомольцем. В техникуме. Все должны быть комсомольцами. Никому и в голову не приходило, что можно взять и не быть. Даже трудно себе представить. Стал ходить на комсомольские собрания, платить членские взносы, выбирали меня даже в какие-то бюро или комитеты, поручали стенную печать.

Переход из комсомола в партию не совершается столь механически, это правда. И если бы хоть долю сознательности в это время, можно было бы избежать. Чистосердечно признаюсь, что этой доли сознательности у меня тогда не было. И когда позвали в партком и (мои же друзья: Сенечка Шуртаков, Сашуня Парфенов) предложили подумать: пора... авангард... смешно ходить беспартийным в наше время... а мы и рекомендации напишем... — я сказал, что подумаю.

На самом же деле не думал совсем. Но рекомендации между тем — вот они, готовы, и дело уже в райкоме.

И дальше что же? Партия — дело такое. Можно увильнуть, избежать, никто тут может и не заметить, никто и думать не будет, какой ты, партийный или беспартийный. Известен исторический анекдот, родившийся на наших глазах. Хрущев хотел ввести в ЦК Леонида Сергеевича Соболева и уж почти ввел, почти проголосовали, как кто-то шепнул в последний момент, что Соболев беспартийный.

— Ну и что? — нашелся Хрущев. — За беспартийного Соболева я отдам двадцать партийных Маргарит Алигер. Но в ЦК, конечно, Соболев не попал. Да, так вот. Можно избежать, и никто не заметит. Но если вступил, хотя бы и механически, без порыва и умысла, то уж не придешь и не скажешь: дескать, не хочу больше, увольте, отпустите на волю, вот вам ваш партийный билет. Нет, не скажешь. Вполне односторонний процесс. Движение только туда, как в сеть или в вершу.

Впрочем, в этих рассуждениях невольно забегаешь вперед и судишь о тех годах сегодняшним днем. Даже и об этом не думал тогда. Вступил и вступил. Нет никаких проблем, ни нравственных, ни практических. Все кругом — члены партии.

А подумать бы о том, что, оказывается, не все. Задуматься бы, почему же не все? Тоже они — механически, случайно не члены партии, как ты случайно — член партии? Или там умысел, хитрость, позиция, принцип поведения? Представьте себе — не думал. А ведь писал уже стихи и повести!

И вот, с одной стороны, Кривицкий (умная рыжая лиса) рекомендует меня Симонову только двумя словами: «Все понимает» (и значит, я действительно кое-что понимал), а с другой стороны — книга о целине, книга о социалистической Албании, приведенные мною здесь выступления и статьи.

С одной стороны, я в глубине души сочувствую побежденным венграм, с другой стороны, радуюсь нашим спутникам. С одной стороны, я вожу компанию с Фирсовым или Чуевым (Грибачевым, Стаднюком, Алексеевым, Закруткиным), с другой стороны, отвожу душу в разговорах с Яшиным,

Натальей Иосифовной Ильиной, с тем же Дудинцевым.

Остается еще прояснить мое отношение к евреям в те ветхозаветные для меня времена.

Живя в деревне, я, разумеется, не встречался с евреями. Поговорка все-таки справедлива: «Чем выше ты будешь подниматься по общественной лестнице, тем чаще тебе дорогу будут перебегать евреи». Деревню, значит, надо считать самой нижней ступенькой, вернее, даже и не ступенькой еще, а тем основанием, на которое опирается лестница.

Ни одного еврея в нашей округе нет. Правда, моя старшая сестра, учившаяся в Москве в медицинском институте, вышла замуж за еврея, Зиновия Ананьевича Фрица (по-домашнему Зоня), и он даже приезжал в деревню вместе с Клавдией и с новорожденным Владиком. Но кроме постоянной заботливости о новорожденном младенце (часами баюкал его на руках), Зоня не обнаружил у нас в Алепине никаких особенных качеств. Деревенским мальчишкам он говорил «эй ты, босяк», а читая газету, всегда комментировал нам каждое сообщение.

— Я вам скажу, в чем тут дело... — и начинал развивать предысторию, историю, и газетная заметка поворачивалась в ином свете.

Вероятно, ему не просто было привыкать к нашему деревенскому обиходу (изба, печь, мухи, даже и тараканы), и то, что я ни разу не заметил в нем никакой брезгливости, пренебрежительности, а тем более презрения, говорит, конечно, о его тактичности и воспитанности. Впрочем, и к нему со стороны нашей семьи, а также и всех сельчан не было никогда показано никакой отчужденности и неприязни.

В механическом техникуме, где я учился, не существовало еврейского вопроса. Случилась только одна маленькая скандальная история. Директором техникума был еврей, Павел Исаакович Шихтин, а заведовал учебной частью Иван Абрамович Рулин (русский, несмотря на еврейское отчество), которого все очень любили. Он считался ветераном техникума. Когда-то, еще до революции, окончил его (тогда это было Мальцевское ремесленное училище), да так и прижился. У него и квартира была при техникуме. Вдруг совершилось непонятное и нелепое — директор уволил Ивана Абрамовича Рулина, чтобы взять на его место Моисея Лазаревича Закса, которому нужно было пристроиться — он заблаговременно сбежал из Москвы, к которой уже подходили немцы. Прошелестел слухок, что у него полно драгоценностей и что он, ложась спать, ставит у двери табуретку, а на нее таз с водой, чтобы в случае чего загремело.

Рулина мы любили. Несправедливость была очевидной и вопиющей. Ночью студенты выбили в квартире Закса кирпичами все окна. Скандал получил огласку. В дело вмешался обком, и Рулин был восстановлен. Но остался на прежнем месте и Павел Исаакович Шихтин.

Следующая встреча с евреями произошла 16 октября 1941 года, когда мы, выйдя из общежития на улицу, увидели, что весь Владимир запружен машинами, беженцами. Бежали они, набив машины (легковые) узлами, шубами, продуктами. Генка Перов стащил из машины два белых батона, а другие общежитийские ребята украли у евреев ящик сливочного масла (26 кг), что по тем временам (600 рублей за килограмм) было единственной реальной ценностью, даже не из-за денег, а само по себе. Волна бегущих из столицы евреев покатила дальше на восток, к Горькому, к Казани, мы же продолжали учиться как ни в чем не бывало.

Более основательно встречаться с ними пришлось, когда я стал ходить на литературные объединения, а также в газеты и журналы, чтобы там напечататься. У меня тотчас появились еврей-друзья. Друзья не друзья, но все-таки. Моя полная лояльность по отношению к ним, тем более чистосердечная, что я вовсе и не думал о людях — евреи они или не евреи, видимо, располагала к себе. Тем не менее уже в то время произошел эпизод, который мог бы насторожить меня.

В «Комсомольской правде», где я опубликовал первое свое стихотворение (если не считать владимирскую областную газету), заведовал отделом литературы и искусства Владимир Викторович Жданов, а литературным консультантом у него работала некто Елена... отчество забыл, Смирнова, пожилая еврейка. Опубликовав одно стихотворение, я принес еще два и отдал их этой Смирновой. Через несколько дней она мне сказала:

— Владимир Викторович прочитал ваши стихи и попросил передать, что с такими стихами вам пока что в ближайшие годы не надо ходить по редакциям. Это наше общее мнение. Слабо, миленький, слабо.

Стихи были «Дождь в степи» и «Родник». Что-то подсказало мне, что дело не чисто. Была, значит, и некоторая уверенность в собственных силках. Выбрав момент, когда «злопыхательница» выползла из комнаты (дверь в кабинет В. В. Жданова оказалась открытой, а самого его не было на месте), я вошел в кабинет и положил на его стол свои стихи. Вскоре они были опубликованы. Голосок старухи стал еще медоточивее, но в ее глазах я видел с тех пор плохо скрываемую лютую ненависть.

А если бы я послушался ее и поверил в то, что мои стихи никуда не годятся? Между тем с «Дождем в степи» я поступал в Литературный институт, с этим же стихотворением дебютировал на большом литературном вечере в Доме литераторов, первый мой стихотворный сборник назывался «Дождь в степи».

Едва ли я отнес тогда недоброжелательство старухи за счет ее национальности. Ну, невзлюбила меня почему-то, мало ли что?

Вообще же говоря, если взять несколько точек моей биографии, где мне наиболее напакостили, то отчетливо получается, что помогали евреи, а пакостили свои же русские.

В институт я поступил благодаря Саше Соколовскому. То есть, конечно, рекомендовал меня Луговской, а принимали Gladков и Казин. Но надоумил подать заявление, вовремя подсказал, можно сказать, привел за руку Саша Соколовский.

Впервые выпустил меня читать на большом литературном вечере в ПДЛ Семен Кирсанов. Незадолго перед этим на литстудии в МГУ я при Кирсанове прочитал стихотворение «Дождь в степи». Вскоре состоялся первый тогда еще вечер одного стихотворения. Читали только известные поэты ранга Тихонова, Луговского, Сельвинского, Антокольского... Председательствовал Асеев. Кирсанов увидел меня среди слушателей (как студентам Литинститута нам был открыт вход в ЦДЛ), поманил пальцем и сказал, что сейчас меня выпустит. Я вышел в яловых сапогах и в черной косоворотке с белыми пуговицами. Был фурор.

Первую комнату в Москве я получил благодаря Евгению Ароновичу Долматовскому (когда-нибудь напишу об этом подробный рассказ), а первая книга стихов вышла благодаря Тодику Бархударяну.

«Владимирские проселки» — первую серьезную прозу — напечатали Симонов и Кривицкий. Первую статью о «Проселках» написала Евгения Журбина. Первую статью о моих стихах написал

Марк Щеглов. Марка Щеглова я никогда не видел в жизни, слышал только, что это очень больной человек и талантливый критик. Между тем «Дождь в степи» был в какой-то степени дождем в степи. Хотя книга вышла в 1953 году, стихи все были написаны раньше, начиная с 1946 года, то есть в первые послевоенные годы. Лирика была не в чести. Держали одного официального лирика для вывески — Степу Щипачева, но это была старчески-мудрствующая и насквозь рациональная лирика.

Первым, кто мог бы поддержать «Дождь в степи», был Володя Огнев (настоящая фамилия — Немец), заведовавший критикой в «Литературной газете» (кадр Симонова). Но он, как мне стало случайно известно, не только не позаботился о статье, но и вытравил всякое упоминание о сборнике. Так, например, я получил письмо от читательницы с Урала. В письме была фраза: «Я даже не знала, что теперь пишут такие стихи».

Оказывается, копию своего письма она послала в «Литературную газету». Огнев это письмо опубликовал (поддерживать лирику стало модным после 1953 года), но, увы нигде не было упомянуто, что речь шла о сборнике В. Солоухина «Дождь в степи».

Тем удивительнее для меня прозвучала восторженная статья Марка Щеглова. Познакомиться я с ним все как-то не удосуживался, хотя и собирался. «Успею, какие наши годы!»

Осенью 1956 года в Болгарии Ламар и Джагаров увезли меня в Ситняково, в бывший охотничий домик царя Фердинанда, отданный теперь Союзу болгарских писателей. Горел камин, мы пили вино и читали стихи. Вдруг кто-то обмолвился, что Марк Щеглов умер — было во вчерашней газете. Не понимаю до сих пор, что со мной случилось, но я разрыдался едва ли не в голос. Болгарские друзья не успокаивали, переживали, пока пройдет приступ, только тихонько повторял про себя Ламар: «Много трагично, много трагично».

Вторую статью о моем сборнике написал Лев Айзикович Озеров.

В совсем недавние времена; между прочим, Эдуард Колмановский написал музыку к моим стихам «Мужчины», а сосватал меня с ним еврей же Костя Ваншенкин.

С другой стороны, вместо отдельной квартиры подсунил мне сожителство с Евдокимовым Василий Александрович Смирнов.

Отвел от присуждения Ленинской премии своими выступлениями Николай Матвеевич Грибачев.

Оклеветал в своем пасквильном романе (хотя и под другим именем) Всеволод Анисимович Кочетов. Написал доносное стихотворение о моем перстне с изображением Николая II хоть и не антисемит, но все-таки Степан Петрович Щипачев.

Нет, я беру, конечно, отдельные точки. Ибо Сурков взял меня на работу в «Огонек», а там еще были Бурков и Марьина, тот же Василий Смирнов ввел меня фактически в редколлегию «Литературной газеты», а там уже был Михаил Николаевич Алексеев, на чью поддержку я мог (да и сейчас могу) рассчитывать. А там еще был Косолапов... Жизнь сложна. Но я не могу сказать, что в этой жизни евреи мне всегда пакостили, а русские делали добро. Скорее наоборот. По крайней мере, явно. Так что наши антисемиты считали меня ко времени знакомства с Кириллом Бурениным едва ли не продавшимся евреям, потому что, и правда, со многими из них на глазах у всего Союза писателей у меня сохраняются прекрасные отношения.

Я не пишу своего портрета, социального и политического, морального, нравственного в том числе, просто я хотел дать некоторые, очень схематические, упрощенные представления о том, каким я был, что делал и куда шел в то время, когда подосланный Бурениным молодой поэт привел меня за столик, где сидели Кирилл и Лиза. Без этого, между прочим, было бы непонятным и настоятельные стремления Кирилла познакомиться со мной, подсылание поэта как посредника, да и все, что произошло дальше.

Итак, напомним вам мизансцену. Мы сидим за столиком в ресторане Дома литераторов. Кирилл говорит:

— Так вот что, Владимир Алексеевич, просим прийти к нам в мастерскую, будем делать портрет. Единственный русский писатель. Может быть, выедем на природу. Может быть, поедем во Владимир, к Покрову-на-Нерли, сделаем ваш портрет на фоне этой церкви. У вас есть машина?

— Машина есть.

— Обменяемся телефонами...

На проспекте Мира в большом доме, поднимаясь лифтом на восьмой этаж, я не знал, конечно, через какую черту в своей жизни переступаю. Поэтому и через порог студии Кирилла Буренина переступил машинально, а не как если бы и вправду через символическую черту.

Под мастерскую (и лабораторию одновременно) Буренину была отдана обыкновенная трехкомнатная квартира. «Как же так, — могло мелькнуть у меня в голове, — говорят, что не признан, скандально известен, авангардист-субъективист, а государство отвело ему трехкомнатную квартиру под ателье!» Я работал в «Огоньке» с крупнейшими художниками страны (Бальтерманц, Тункель, Кузьмин), но ни у кого из них не было и в помине мастерской, да еще такой шикарной. Вероятно, я мог бы так подумать и подумал бы уже через секунду-другую, но Кирилл, принимая от меня плащ и вешая его, упредил:

— Все, кто приходит впервые, удивляются, откуда у меня мастерская. Нашелся добрый человек с большими возможностями, устроил меня работать в МИД. Показываю удостоверение для полной ясности. Вот. Во-первых, делать портреты дипломатов, посольских жен и детей. Во-вторых, скучающих посольских жен и детей обучаю художественной фотографии. Щелкать затвором умеет каждый, делать художественные снимки уже труднее. Иметь свое лицо здесь, как и во всяком искусстве, дано единицам. Так что вот, тружусь на благо великого коммунистического Отечества, Родина приказала. Как говорил Пушкин: «Поцелуй ручку и плюнь». Окружен иностранцами. Через сорок минут приедут журналисты из «Фигаро». Муж с женой. Познакомлю. Сволочи, гады, капиталистическая интеллигенция. Она русская по происхождению. Белоэмигрантская сволочь. Золотая женщина. Умница. Любит Россию. Пушкина шпарит наизусть. Фашистка...

У меня закружилась голова. Некая волна подхватила меня с первых же слов Кирилла Буренина, вернее, с первого каскада слов, и вот я отметил про себя, что это, пожалуй, волна восторга. Еще не зная, о чем у нас пойдут дальнейшие разговоры и как сложатся отношения, я понял, что слова здесь могут не значить ничего и могут означать все. Что из эмоционального соединения двух, например, понятий: «белоэмигрантская сволочь» и «золотая женщина» я могу по своему желанию выбрать любое. Но само соединение этих понятий было столь непривычно для меня в нашей советской действительности, начиная со школы и кончая писательскими собраниями, что тут-то я и услышал в

себе зарождение восторга, первый его толчок, первое пробуждение к жизни.

Между тем мы вошли в наиболее просторную комнату, где были частью развешаны, а большей частью составлены штабелями обрамленные и застекленные работы Буренина. Говорили про смелость, и я думал, что смелость художника выражается прежде всего в изображении природы. Кажется, был разговор о прошлой выставке, о любовной паре, когда он уже спит, а она разглядывает его с жалостью и состраданием на прекрасном лице. Но этой работы теперь я не увидел. Из обнаженной природы был только этюд «Яблоко». Юный девичий торс (без головы и без ног), а рука протягивает полновесный и сладкий плод. Я не знаю, как художник сумел живому и горячему телу придать фактуру древнего мрамора, но да, это было так. Живое тело воспринималось как мрамор скульптуры, изваянной гениальной рукой.

В следующую минуту я должен был забыть о прекрасном торсе. Фотография (картина?) изображала на отдельном холме пятиглавую церковь с покосившимися крестами и полоску зари за ней, и черные хлопья птиц вокруг глав и крестов, а через долину, через весь кадр бредет к мертвой церковке старик с палкой.

Потом был городской двор и стол, и четверо играющих в домино. Ухмылки и тупая озабоченность на лицах (на харях — хотел сказать художник и сумел-таки сказать) были страшны, но мальчик со светлым лицом, наблюдая за взрослой игрой, был еще страшнее. Неужели это и его будущее?

Бараки на окраине города. Может быть, и не совсем бараки, но дома барачного типа. Киоск по приему пустой посуды и чудовищный лес телевизионных антенн на домах навевали такую тоску, что ее подметил хозяин, показывавший свое искусство.

— Телевизоры... Техника в быт. Век технического прогресса. Передовая индустриальная держава.

— Но ведь тоска же, тоска!

— Ничего не знаю, Владимир Алексеевич. Это ваше субъективное восприятие. Каждый понимает как хочет. В меру своей интеллигентности или испорченности. Я снимал великое достижение нашего времени. Искусство — в массы. Телевизоры... Пустая посуда...

Я невольно захохотал.

— Не вижу ничего смешного, Владимир Алексеевич, скорее наоборот.

— Не сердитесь, это я так.

— Все понимаю, Владимир Алексеевич. Помните, любите, изучайте...

Тут позвонили, и художник пошел открывать дверь. Журналисты из «Фигаро» приехали раньше времени. Вошли высокий, молодой, красивый француз и полненькая, но тоже молодая, если не красивая, то привлекательная женщина.

— Знакомьтесь, — не теряя странным образом своего превосходства над всеми, суетился Буренин. — Крупнейший французский журналист, господин Буаре. Его жена, Надежда Андреевна, урожденная Ртищева. Русский писатель... Знакомьтесь... Лиса! Лисенок! — (это к жене, производное от Лизы Сергеевны) — Лисенок, быстро на стол... виски, содовую, джин, тоник, русскую водку, сигареты. Знаменательная встреча русских людей. Она дочь белоэмигранта, он — коммунистический босс. Оба русские. Пушкин один, Достоевский один, Куликово поле одно, Бородино одно (пardon, месье Буаре!).. Вот, кстати, о ком надо бы написать в «Фигаро», о его книгах, а не о каком-нибудь Евтушенко. Настоящий русский писатель. Владимир Алексеевич, быстро книгу с надписью Надежде Андреевне, господину Буаре. Если нет с собой, могу одолжить, вернешь с автографом. Лисенок, быстро книгу Владимира Алексеевича!

Как у фокусника, у Кирилла в руках оказалась моя книга (повести и рассказы), в следующую секунду я, фактически под диктовку Кирилла, изображал на титульном листе дружественную надпись белоэмигрантке и представителю буржуазной реакционной газеты.

— Вот так. Статья в «Фигаро» обеспечена. Затем перевод книги на французский язык, приглашение от издателя поехать в Париж.

Надежда Андреевна прошла по комнате, как бы разглядывая фотографии-картины Кирилла. Кирилл тотчас оказался около нее. Хорошо знающая свое дело Лиза заняла нас разговором. Но сквозь наш разговор я своим острым слухом поймал тихий разговор там, около фотографий, вернее, несколько слов их тихого разговора. Можно было догадаться, что Надежда Андреевна спрашивала про меня как про нового знакомого. Кирилл отвечал:

— Еще не проверил. Почти ручаюсь. Настоящий русский. Можно в пределах разумного. Отвечаю.

В то время в квартиру поступали новые звонки, входили новые люди. Появились итальянка с итальянцем, советский профессор-химик, еще одна женщина русского происхождения, но уже американка, жена сотрудника американского посольства, еще один русский эмигрант, какой-то торговый босс, представитель английской фирмы. Все это рассаживалось, вставало с места, ходило около фотографий, снова садилось, брало в руки стаканы с виски, курило сигареты, в то время как фоном, приглушенно, звучала современная джазовая музыка и пение на английском языке. Разговор коснулся абстрактной живописи. В меру и очень сдержанно иностранцы пытались защищать и оправдывать современное изобразительное искусство. Мелькали имена Пикассо, Бюффе, Малевича, Кандинского, другие знакомые и незнакомые мне имена. Ходили из рук в руки иллюстрированные журналы с воспроизведенными в них образцами современной абстрактной живописи. От этих журналов, наверное, и зародился весь разговор.

— Во-первых, гениально то, что не могут сделать другие, что другим недоступно по мастерству. Хотя бы по мастерству, — владел разговором Кирилл Буренин. — Уланова — гениальная балерина. Анна Павлова. Если каждая дюряка сможет повторить танец Улановой, значит, либо все дюряки — гениальные балерины, либо Уланова вовсе не гениальна. С этим положением согласны?

— Ну... Допустим... — раздалась нерешительные голоса.

— Тогда я показываю фокус, — Кирилл схватил иллюстрированный журнал и раскрыл его наудачу. Открылась абстрактная картина, исполненная черной краской и получившая будто бы первое место на какой-то там выставке. Называлась, во всяком случае, выдающимся произведением живописи.

— Итак, выдающееся произведение. Я беру лист бумаги, беру кисть. Я не живописец. Раз... Два... Еще минуту, .. — несколькими ловкими движениями Кирилл воспроизвел на листе абстракцию из журнала.

— Пять минут мне потребовалось на то, чтобы воспроизвести якобы гениальную картину. Каждый из вас может сделать то же самое. Значит, либо все вы гении, либо...

— Либо это халтура, — подсказала Елизавета Сергеевна.

— Да, либо это халтура и шарлатанство.

— Копировать легко, задача ведь создать впервые.

— Хорошо. Воспроизведите мне Сикстинскую мадонну, воспроизведите мне лучшие вещи Дюрера, Босха, Веласкеса. Хотел бы я посмотреть, как у вас это получится и сколько времени вы на это потратите. Во всяком случае не пять минут.

Воспользовавшись замешательством слушателей, Кирилл пошел дальше.

— Во-вторых... Всегда можно отличить художника-испанца от художника-финна. Абстрактное искусство не несет в себе никакого национального духа, оно — абстрактно. Оно не несет в себе никакой позитивной философии. Могут возразить, что национальный дух — это узость (хотя это величайшая ценность, которая в конце концов спасет мир), но всегда можно отличить христианское, скажем, искусство (Рафаэль, Микеланджело, Да Винчи, да что перечислять?)... Все практически великие европейские художники, а также и соборы, базилики, иконы, мозаики — все христианское искусство можно отличить от языческого искусства Эллады, от буддийского искусства Индии, от искусства социалистического реализма (например, Кукрыниксы), ибо каждое искусство несет в себе свое содержание, свою философию, свое мировоззрение. А что несет в себе абстрактное искусство, разрешите спросить?

Это искусство модно, за него платят бешеные деньги. Но каждый здравомыслящий человек, подумав, поймет, что мода управляема. Значит, кому-то выгодно, ищите, кому это выгодно... Так нас учил наш Великий и Вечно живой, чей труп хранится в Москве на Красной площади... «Во всяком явлении ищите, кому это выгодно...» Значит, кому-то выгодно, нужно, чтобы шведы, немцы, русские, японцы, греки забыли про свои национальные духовные ценности и производили бы наднациональную абстрактную живопись. Кому-то выгодно, чтобы все, забыв про свои национальные признаки, смешались в одну бесформенную массу. Во всеобщий бесформенный винегрет. Или вот. Почему мы, «дети разных народов», как говорит лучший друг Владимира Алексеевича советский поэт Лев Ошанин, почему мы все должны слушать, на всем земном шаре, музыку, порожденную негритянскими ритуальными мелодиями и ритмами? Понятно, почему все в восемнадцатом веке танцевали французские танцы — котильоны, менуэты. Франция была самой просвещенной страной, самым цветущим государством, пока ряд революций не сделал ее заурядной, посредственной страной. Понятно, почему тогда менее просвещенные страны заимствовали искусство у Франции. Но почему сейчас цивилизованные народы, породившие Канта, Шопенгауэра, Шекспира, Гёте, Достоевского, Вагнера, Чайковского, Рахманинова, почему они все перешли на музыку и на танцы африканских отсталых людоедов — кто из вас мне это объяснит?

— Однако и вы теперь сделали фоном нашей беседы музыку, основанную на тех же ритмах... Джаз.. — сделала выпад итальянка.

— Когда приходят гости, стараешься подавать им их любимые блюда.

— Что же, вы не могли угостить нас чем-нибудь русским, национальным?

— Я могу, — вдруг несколько другим тоном, я бы сказал, по-настоящему серьезным тоном сказал Кирилл. — Но русская музыка потребует полной тишины и внимания. Гоготать под нее не будем. Все ли согласны на полчаса тишины?

Возражений не последовало. Кирилл остановил проигрыватель и сменил пластинку.

Обычно после шумного, грохочущего джаза, после диких, но чем-то захватывающих, а то и эротических ритмов резкий переход на человеческую музыку труден, если возможен. Теперь же, то ли устав от шума и споров и обрадовавшись тишине, то ли поддавшись той серьезности, на которую сумел нас настроить Кирилл, мы начали буквально впитывать в себя каждый звук. Это был диск Козловского, на который он отдал все лучшее, что откристаллизовалось у него за долгую творческую жизнь. Кто слышал эту пластинку, тот помнит, что все там неторопливо, обстоятельно, с долгими проигрываниями на гитаре, с поразительной чистотой тона, с ювелирной отделкой. «Не пробуждай воспоминаний», «Гори, гори, моя звезда», «Я встретил вас». Все мы затаили дыхание, не только потому, что нас призвал к этому хозяин дома. Я думаю, что если бы невпопад, утром, скажем, прозвучали бы по радио эти романсы, прошел бы мимо, продолжал бы есть яйца всмятку или читать газету. Теперь же так совпало наше общее настроение, что мы не шелохнулись, пока звучал этот голос. Вместо лохматых, с дикими взглядами молодых людей, трясущихся в современном дансинге, в бесчисленных кафешках и на домашних вечеринках (на эти картины настраивала предыдущая музыка), возникали красивые и красиво одетые люди, в длинных платьях, гостиные, рояль, сдержанные жесты, отточенные манеры, лунные парки, цветы, молитвы. И в голосе певца тоже подлинные человеческие чувства — печаль и любовь, тоска и удаль. И гитара... Ах, какая гитара сопровождала певца!

Вот урок так урок! Замерев душой вместе с иностранцами, я почувствовал в себе прилив неизъяснимой гордости, что хоть каким-то краем причастен к этому искусству, что оно мое, русское, и я русский, и Россия, и Пушкин, и этот Булахов, и Тютчев — все это мое родное, а пробудившаяся гордость тотчас сочеталась с чувством горячей благодарности к еще вчера незнакомому мне человек — Кириллу Буренину. Я почувствовал в себе желание идти за ним, быть его единомышленником, помогать, если надо, делать все, что скажет...

На другой день утром, около десяти — звонок Кирилла.

— Вчера не удалось поговорить. Но жду. Очень важно. Лисенок передает привет. Ждет. В любой час.

Я понял, что ждал этого звонка, обрадовался ему и готов хоть сейчас мчаться на проспект Мира. Теперь, днем, мы оказались в мастерской одни, то есть Кирилл, Лиза и я.

— К нашему вчерашнему разговору о национальности. Прочитай эту страницу.

В руках у меня появилась какая-то старая книга. По укоренившейся привычке я сначала посмотрел, где и кем издана: Смоленская губернская типография, 1909 год. «Любителям родной страны и старины».

— Здесь, здесь, где подчеркнуто.

Я читал. «Народы забывают иногда свои национальные задачи, но такие народы гибнут и превращаются в наземь, удобрение, на котором вырастают и крепнут другие, более сильные народы. Столыпин».

— Глубокая правда, — не давал мне опомниться Кирилл. — Но только некоторые народы, возможно, забывают сами о своих национальных задачах, а некоторым помогают забыть.

— Но ведь это Столыпин! Мракобес! Опора самодержавия.

— Что вы знаете о Столыпине? — неожиданно вступил в наш дуэт негромкий, но сильный и уверенный голос Лизы.

— Лисенок, давай кроши... По скуле... Нокаут... Справа, под дых...

— Ну как — что? Реформа там... Столыпинская. Еще «столыпинский галстук» какой-то...

У меня и правда, сколько ни крутились и ни бегали огоньки по миллиардным ячейкам памяти, ничего не выскакивало в виде конечного результата на тему «Столыпин», кроме столыпинской реформы да «столыпинского галстука», кроме слов — реакционер, цепной пес самодержавия.

— Стыдно! Для русского писателя — позор!

— Наше поколение ничего больше о нем не знало...

(По-моему, как я теперь вспоминаю, с первого раза Кирилл не прицепился еще к этому моему выражению о «нашем поколении». Кажется, понадобилось мне еще раз употребить это выражение в какой-то связи, после чего оно было взято на вооружение Кириллом. Чуть что — он сразу же мне и врежет: «Ну да, ваше поколение не знало...»)

Лиза заговорила, не то как бы читая лекцию студентам, не то как бы отвечая на экзаменах:

— Петр Аркадьевич Столыпин был крупнейшим государственным деятелем, стремившимся к процветанию России. Но фактически ему пришлось бороться за ее спасение. Да, земельная реформа — это его дело. Надо сказать, что в то время Россия и без этого производила огромное количество сельскохозяйственных продуктов. Русский хлеб, масло, лен, мясо, сало, яйца на мировом рынке не знали себе конкуренции. Тогда еще не приходилось нам покупать хлеб в Канаде или Австралии.

— Лисенок, минутку. Даю врезку. Сейчас найду, — Кирилл начал судорожно листать книгу, ища какое-то нужное ему место. — Минутку, Лисенок, минутку. Вот. Режиссер «Ла Скала» о Шаляпине. Он говорит: «Но возить певцов из России в Италию — это такая же нелепость, как если бы... как если бы... Россия стала покупать пшеницу в других странах». Вот, Владимир Алексеевич, когда режиссеру из «Ла Скала» понадобилось найти пример величайшей нелепости, вот что он сказал. А для нас эта нелепость — наши будни. Ежегодно мы покупаем пшеницу, отдавая за это тонны золота. (6)

— Так вот, — продолжала Лиза, — столыпинская реформа. Она должна была дать свои результаты примерно к 1924 году. Немецкое правительство, услышав о реформе, прислало специальную комиссию для ознакомления с ней. Фактически это был плохо завуалированный шпионаж. Но тогда существовали другие международные нормы. Комиссия полгода на месте изучала вопрос и доложила кайзеру: «Если допустить, чтобы реформа осуществилась и дала свои плоды, то Россия будет уже недосыгаема, с ней не справится никто и ничто». После этого началась ускоренная подготовка к войне с Россией. Комиссия работала в 1913 году, а война началась в четырнадцатом.

Столыпин готовил также реформу о всеобщем образовании. Всеобщее образование в России должно было осуществиться к 24-му году. Революционерам он однажды сказал: «Вам, господа, нужны великие потрясения, а нам нужна великая Россия».

Революционеры понимали — пока у власти стоит этот человек, никакой революции в России не будет. Да, «галстуки». То есть введение смертной казни. Сколько шуму было из-за этого! Сколько возмущения, негодования. Толстой: «Не могу молчать!» А сколько было повешено за все столыпинские годы? Где-нибудь можно узнать, я думаю, что десятка полтора человек. У нас теперь десятилетиями существует смертная казнь, и никто ничего не говорит. И между прочим, ЦСУ ни разу не информировало народ, сколько человек ежегодно мы расстреливаем. Почему орал Толстой? Потому что о каждом случае смертной казни писалось в газетах. Была демократия.

— Но зверства... Хотя бы Ленский расстрел...

— Лисенок! — воодушевился Кирилл. — Кинь нам, сколько было жертв во время Ленского расстрела?

— Двадцать три человека.

— Кажется, ты ошибаешься, около семидесяти. Но все равно. А сколько шуму? Поколение за поколением в букварях в начальной школе, не успеют детишки раскрыть глаза, — читают про Ленский расстрел. В 1956 году в Тбилиси расстреляли из пулеметов грузинскую молодежь, положили на месте более пятисот человек, а ваше поколение, Владимир Алексеевич, об этом даже и не слыхало.

— Да, так вот... — продолжала Лиза. — Столыпин. Одиннадцать покушений. Почему, откуда? Человек делает Россию сильнее, богаче, образованнее. Он заботится о ее целостности, о ее устойчивости, о ее военном потенциале. Почему же одиннадцать покушений? Потому что они понимали: пока Столыпин у власти, никакой революции не бывать. Ведь чем сильнее Россия, чем она благополучнее, тем для них, революционеров, хуже, тем труднее ее раскачать и сокрушить. «Чем хуже, тем лучше» — это сказано Лениным. Поэтому одна задача — убить, убить и убить. И убили — в Киеве, в театре, во время оперы. На одиннадцатый раз.

— Но было же общее недовольство? Демонстрации? Уличные беспорядки? Казаки с нагайками?

— Кто сказал, что — всеобщее? Если на улицу из ста семидесяти миллионов выходило сто человек, сговорившихся между собой и подбивших на беспорядки еще сто человек, это еще — не всеобщее. Между прочим, то, что можно было выходить на улицу на демонстрации, с красными флагами, говорит о демократии тех времен. Попробуй-ка завтра выйти на улицу Горького с русским трехцветным флагом, — Кирилл захихикал. — Поглядел бы я на вас, Владимир Алексеевич, как бы вы понесли по улице Горького русский трехцветный флаг и где бы вы оказались через пятнадцать минут. Конная полиция выступала, конечно, а как же. Вдруг эти демонстранты начнут окна бить? Надо же оградить мирных жителей от бесчинств? Кстати, эти мирные жители как потенциальная контрреволюционная сила всегда объявлялись обывателями.

— Но ведь разгоняли нагайками?

— Это делалось очень просто. Идет демонстрация. Конная полиция, пускай хоть и казаки. Стоят, наблюдают. Не пускают на главную улицу. Допустим. В это время революционер-экстремист, чтобы спровоцировать большие беспорядки, стреляет из нагана в полицию. А им, с флагами, только это и нужно. Чем больше беспорядков, тем лучше. Да и не им, не всем идущим по улице, а маленькой кучке людей, которые все это организовали. Сами они, возможно, сидят на конспиративной квартире, потирают руки. Много-много, если одного своего представителя пошлют как застрельщика.

— Но все же насчет демократии звучит непривычно.

— Посудите сами, Владимир Алексеевич... Про Засулич, я надеюсь, ваше поколение слышало?

Ну,

—

— В кого она стреляла и за что ее судили?

— Я уж, право, не помню. Знаю — была Засулич.

— Так вот знайте — она стреляла, если перевести на наш советский язык, в министра МВД. Ее судили. Суд присяжных ее оправдал. Исторический факт. Террористку на руках вынесли из зала суда. Попробуйте вы, живя в самом демократическом государстве мира, выстрелить в начальника МВД. И-о-хо-хо!

— Но, говорят, Россия гнила?

— Россия гнила?! — расхохоталась Елизавета Сергеевна.

И тут они обрушили на меня водопад пусть разрозненных, но одно к одному прилегающих сведений:

— Между 1890 и 1900 годами в России были протянуты все основные нитки железных дорог, которыми, кстати, мы пользуемся сейчас, крича, что мы великая железнодорожная держава.

— Был разработан профессором Вернадским план электрификации всей России, который, бессовестно присвоив, назвали потом планом ГОЭЛРО. И Днепрогэс в плане Вернадского был, и Волховская электростанция, и некоторые уже начинали строиться, в частности, на Кавказе.

— Была построена КВЖД, которую дураки потом подарили Китаю.

— К тринадцатому году в России был построен самый большой в мире самолет «Илья Муромец».

— И царские ледоколы, переименованные в «Красиных», долго еще служили советской власти. И царские линкоры, переименованные в «Маратов» и в «Парижские коммуны», долго еще состояли на вооружении советского военного флота.

— Россия уже наладила производство своих автомобилей. О московском заводе «АМО» вы, наверное, слышали.

— По чугуну и стали Россия не занимала первого места в мире, а занимала четвертое и пятое. Но ведь и мы теперь, увы, не на первом месте. (7)

— Но Магнитка... Новокузнецк, Горьковский автозавод, строительство первых пятилеток, — довольно робко возражал я. — Беломорканал...

— Все это было бы построено еще раньше, чем в тридцатые годы (минус годы гражданской войны, разрухи, коллективизации), но только без тех жертв, без тех кровавых усилий и, конечно, без того помпезного шума.

— Но в военном отношении она отставала от той же Германии...

— Это глубокое заблуждение. Поверьте, Россия по всем статьям стояла на уровне задач того времени.

— Но поражение в войне?

— Война была победоносной. Она затянулась, это правда. Она шла с переменным успехом. Но о каком поражении может идти речь? Союзники одни, без России, выведенной революцией из строя, разбили Германию. Так почему бы они не разбили ее вместе с Россией?

К четвертому году войны Россией был накоплен такой военный потенциал, что она могла победить бы и одна. Неимоверное количество снарядов, патронов, пулеметов, орудий...

— Как же так? Нас учили, что ничего этого не было. Бездарное руководство, отсталая промышленность... По-моему, вы ошибаетесь, не было ни снарядов, ни орудий. В достаточном количестве, я имею в виду.

— Вопрос! — даже подпрыгнул на стуле от нетерпения Кирилл. — Имею задать вопросик. Против скольких государств Антанты отбивалась молодая советская республика?

— Против четырнадцати.

— Чем она отбивалась, разрешите узнать? Эти воспетые потом красные бронепоезда, эти пулеметы «максимы» на тачанках, этот призыв Троцкого «Патронов не жалеть» (на русских людишек, в скобках заметим), это откуда? Ведь была разруха. Заводы стояли. Но все уже было на складах России. Большевики победили в гражданской войне не своим, а русским, российским оружием. Как у вас, у русского человека и писателя, повернулся язык сказать про Россию, что она гнила, что она была жалкой, отсталой, нищей. Так же как в восемнадцатом веке Франция, Россия девятнадцатого века фактически возглавляла и оплодотворяла культурную жизнь Европы. Берем по отраслям и видам. Наука. Правда, что наука на Западе, и особенно в Америке, шагала широко и размахисто. Но и Россия вносила свою, не такую уж малую лепту. Лобачевский, ревизовавший геометрию Евклида, Менделеев, подаривший миру периодическую таблицу, Яблочкин, зажегший первую электрическую лампочку, Попов, бросивший в мир первую радиоволну и ее же принявший... Да, великие открытия носятся в воздухе и подчас осуществляются одновременно в двух, а то и в трех местах. Мы не будем сейчас спорить, кто на сколько дней раньше зажег электрическую лампочку, Эдисон или Яблочкин, кто был первым — Попов или итальянец Маркони, но факт, что Яблочкин не воровал у Эдисона, а Попов не воровал у итальянца. Значит, Россия шла, как говорится, ноздря в ноздю. А там уже в ряд с Менделеевым, Поповым, Яблочкиным — Пирогов, Мечников, Сеченов, Павлов, Вернадский, Сикорский...

— ...Тимирязев, Пржевальский, Семенов-Тянь-Шанский, Миклухо-Маклай, Реформатский, Софья Ковалевская, — начал вдруг подсказывать я.

— Да, и десятки менее знаменитых, но первого мирового уровня ученых, на основании которых только и могли возникать всемирно известные имена, — подхватила Елизавета Сергеевна.

— Значит, если вы это понимаете, остальное вам понять не трудно. Возьмем для начала литературу. Толстой, Достоевский, Чехов — до сих пор самые читаемые писатели во всем мире. А вокруг них? Десятки, десятки, Владимир Алексеевич, писателей и поэтов, за каждого из которых можно отдать семь восьмых московской писательской организации. (8) Блок — это чудо. Гумилев, Цветаева, Анна Ахматова...

— Бунин, Куприн, Мамин-Сибиряк, Леонид Андреев, Гаршин, Мережковский, Шмелев, даже Полонский какой-нибудь...

— Кроме того, такие писатели и поэты, как Есенин, Маяковский, Алексей Толстой, Вересаев, хотя они и жили главным образом уже в советское время, но порождены Россией, пришли еще оттуда, ее осколки и отголоски.

— Ну, Маяковского, Владимир Алексеевич, оставьте. К нему мы с вами еще вернемся. Согласен, что он родился как поэт еще в России. Дореволюционные поэмы — лучшее, что им создано. Но мы еще вернемся когда-нибудь к этому имени. Мы еще вернемся за подснежниками, Владимир



Алексеевич, хи-хи. Так вот, наука в России была на мировом уровне, литература цвела. Процветала. Да-с. Тогда возьмем музыку. Чайковский, Мусоргский, Бородин, Рахманинов, Римский-Корсаков, Скрябин... Все цветет, все поет и играет. Насчет игры. Станиславский и Немирович-Данченко создают новый театр, поет Собинов, поет Нежданова, поет Обухова, поет Шаляпин, наконец. Откуда они брались? Были приведены в действие генетические ресурсы народа. Народ вышел на мировую арену, народ вступил в стадию своего цветения. Условия — климат. Общественный климат. Энтузиасты организуют частные оперы, частные музеи, издаются десятки журналов, книги, собираются уникальные библиотеки... Третьяковская галерея основана и собрана купцом. Румянцевский музей, ныне Библиотека имени Ленина. Присвоены не только книги, но и имя. Румянцев собирал, Румянцев создал, а имя Ленина — почему? Другой купец, в Иваново-Вознесенске, Бурылин, создает на свои деньги уникальный музей и дарит его городу Тенишева под Смоленском, создает училище для обучения народному искусству. В Абрамцево вырастает центр русского народного искусства. Архитекторы-энтузиасты строят по своей инициативе прекрасные здания и храмы, художники-энтузиасты их расписывают, украшают мозаиками... В это же время землепроходцы Пржевальский, Семенов-Тянь-Шанский, Арсеньев активно изучают окраины России. В то же время возникают такие живописцы, как Суриков, Репин, Серов, Врубель, Рерих, Кустодиев, Рябушкин, Куинджи, Ге, Верещагин, Саврасов, Бенуа, Коровин, Поленов... Перенесемся от искусства и науки в низменные сферы. Продукты. Восемнадцать тысяч ярмарок в год с оборотом в два миллиарда рублей. Кто же на них продавал, кто же и покупал? А во всех городах России почти ежедневно базары, еженедельно, во всяком случае. А на этих базарах — все, от дров до овса, от кожи до пшеницы, от кровельного железа до готовых срубов, да что перечислять — все-все, что требовал спрос. А еда? От коровьей требухи до изобилия черной икры, от говяжьих языков до осетрины. Вобла стоила рубль за куль. Навалена под навесом, даже не запирала. Мужики перед постом ездили в город и привозили мешками мороженых судаков. Лавки во всей империи завалены продуктами, трактиры ломаются от еды. Рестораны... Про рестораны не будем и говорить. В стране обращаются золотые деньги. Зарплата выдается золотом. Об этом ваше поколение знало или нет? Так имейте в виду, что золото может обращаться свободно только в экономически процветающей стране с крепким, устойчивым балансом. И были еще не проданы за бесценок дельцам типа Хаммера 5000 уникальных живописных полотен из Эрмитажа, и не было еще взорвано в одной только Москве 427 храмов (а по стране 92%), и не были еще сброшены по всей стране колокола, и шумели в стране ежегодные ярмарки: в Покров, в Петров день, в Успенев день, на Троицу...

Некрасов поэт тенденциозный, его нельзя заподозрить в приукрашивании действительности. Но ведь это же его слова: «Ой, полным-полна коробушка, есть и ситец и парча». (Кстати, недавно в газете была статья под названием «Где же ситец и парча?») И еще: «Ситцы есть у нас богатые, есть митраль, кумач и плис... Есть у нас мыла пахучие по две гривны за кусок, есть румяна нелиночье, молодись за пяточок». А вот и ярмарка: «Пришли на площадь странники, товару много всякого... Штаны на парнях плисовые, жилетки полосатые, рубахи всех цветов. На бабах платья красные, у девок косы с лентами, лебедками плывут...»

Конечно, Некрасов сравнил русскую песню со стоном («Этот стон у нас песней зовется»), но он же и пишет: «Вдруг песня хором грянула, удалая, согласная... Притихла вся дороженька, одна та песня складная широко, вольно катится, как рожь под ветром стелется...» Не похоже что-то на стон. И, наконец, образ русской крестьянки:

В ней ясно и крепко сознание,  
 Что все их спасенье в труде.  
 И труд ей несет воздаянье —  
 Семейство не бьется в нужде.  
 Всегда у них теплая хата,  
 Хлеб выпечен, вкусен квасок,  
 Здоровы и сыты ребята,  
 На праздник есть лишний кусок.  
 Идет эта баба к обедне  
 Пред всею семьей впереди.  
 Сидит, как на стуле, двухлетний  
 Ребенок у ней на груди.  
 Рядком шестилетнего сына  
 Нарядная матка ведет...  
 И по сердцу эта картина  
 Всем любящим русский народ.

Зачем же нужно было уничтожать такую страну и такое крестьянство? Когда нам хотят доказать, что крестьянство в России бедствовало, что Россия была нищей страной, то хочется спросить: откуда же взялись шесть миллионов зажиточных хозяйств для раскулачивания? Если в стране 6.000.000 богатых хозяйств, то можно ли ее называть нищей? Теперь позвольте спросить, если все цвело: наука, музыка, литература, театр, певческие голоса, балет, живопись, архитектура, бурно развивалась промышленность, наступая на пятки самым передовым странам, русским хлебом и салом завалены мировые рынки, в деревнях праздники, хороводы и песни, на масленицах катание, магазины ломаются от продуктов, все дешево, доступно, — и вот если все это цвело, то что же тогда гнило?

...Я пишу не стенографический отчет о наших давних теперь уж встречах с Кириллом Бурениным. Я не могу вспомнить теперь уже ни последовательности наших встреч, ни последовательности наших многочисленных разговоров. Едва ли с первого раза они пошли мне говорить о Столыпине, будто я уж их полный единомышленник. Наверное, были какие-то мои встречные слова, по которым они поняли, что можно двигаться в моем «образовании» дальше. Наверное, разговоры перескакивали с одного на другое, а с другого сразу и на двадцатое. Но все же я не погрешу против истины, если скажу, что на первом этапе наших всех разговоров из них проступала одна идея — открыть глаза на дореволюционную Россию.

Было вдолблено с детских лет, да так и заостенело в извилинах, что Россия — самое отсталое и самое жалкое государство в мире, самое нищее, самое бестолковое, невежественное. И вот из разных

выписок, вырезок, из разных книг, которые мне буквально всовывал в руки Кирилл, я уже через несколько дней явственно увидел огромное и могучее, технически оснащенное, культурное, процветающее государство, причем настолько сильное и спокойное за свою судьбу, что не боялось собственных промашек, не держало их в тайне от народа, подобно тому, как наша современная информация тотчас набирает воды в рот, если дело касается ошибки, неприятности, а тем более поражения.

Потерпела Россия поражение в Японской войне, был разгромлен флот в Цусимском проливе. Ну и что? С каждым воюющим государством может это случиться. Наполеон — и тот потерпел поражение. Скрывать ли все? Бояться ли огласки? Зажать ли рот этому случаю? Ничуть не бывало. Россия скорбит, конечно, но ничего не боится и не стыдится. Тотчас возникли популярные песни: «На сопках Маньчжурии», «Плещут холодные волны» и «Гибель «Варяга», которые поются с эстрады, выпускаются на пластинках. Что-то о советско-финской войне 1940 года я не слышал подобных песен.

Слово «царь» (они говорили также — государь, особенно применительно к последнему царю) странным образом перестало казаться мне чужим, чуждым, отрицательным словом, а понятие, вложенное в него, архаической нелепостью, чем-то невежественным, жестоким, тупым, кровавым, злым, народоненавистническим, уродливым, как это было привнесено в мое сознание всей атмосферой, которой я дышал всю свою предыдущую жизнь.

Можно подумать, если перечесть предыдущие страницы, что я сопротивлялся пропаганде Кирилла и только постепенно под ударами его сокрушающей логики, подкрепленной цифрами и фактами, уступал свои позиции, образовывался и прозревал. Чудесным образом все произошло иначе. Оказалось, что все (кроме, может быть, цифр и фактов) уже давно жило во мне либо где-то в глубине подсознания, либо в сознании же, но отделенное от активной действующей части сознания глухой звуконепроницаемой перегородкой. Может быть, происходила некая диффузия оттуда сюда, не более, но теперь перегородка вдруг прорвалась, лопнула. Холодная пироксилиновая шашка, похожая на бесчувственный тупой кусок мыла, взорвалась от детонации и осветила мир вокруг себя уже собственным, таившимся в ней огнем.

С этими людьми я с первого же дня впервые в жизни почувствовал себя полностью самим собой. Каждое их слово находило немедленный и радостный (хотелось бы подчеркнуть, что радостный) отклик во мне.

Это — больше литературный прием, что я как бы возражаю и спорю, а они мне доказывают.

На самом же деле они мне не доказывали, а рассказывали. Если же я спрашивал, то не споря, не сопротивляясь лавине новой для меня информации, но единственно потому, что не знал, но хотел узнать. Напротив, очень скоро я сам уж им начал рассказывать, ибо некоторые стороны нашей действительности были знакомы мне лучше, чем им, по крайней мере с фактической стороны.

У нас была игра: они делались понарошке как бы ярыми «советчиками» (от «советской власти»), а я уж был их оппонентом и крушил их, опровергал, клал на обе лопатки. Мы все хохотали подчас при этом. Надо было парировать как бы неопровержимые доводы. Это называлось кувалдой. Неопровержимый довод — кувалда. Кувалдой по голове. На их домашнем жаргоне многие предметы назывались с окончанием на «яга». Звучало трогательно, и я вскоре заразился этим жаргоном. Про тупого человека можно было сказать «тупяга». Одна особо острая и редчайшая книга в желтом переплете называлась у нас «желтяга».

«Возьми почитай желтягу, там все написано». «Лисенок, бородага сегодня не звонил?» Пустое дело какое-нибудь, естественно, называлось «пустягой». Надо достать пропуск в Елоховский собор на пасхальную службу.

— Может, позвонить Алексею Петровичу? — предлагала Лиза.

— Пустяга. Надо позвонить владыке Леониду. Таким образом «пустяга» могла превратиться в «вернягу». Не все слова, как можно понять, допускались в жаргонный обиход, но те, что допускались, звучали метко и выразительно. Так вот, кувалдой по голове. Кувальдяга.

— Нет, Владимир Алексеевич, посмотрите, сколько сейчас в деревне и вообще в стране телевизоров и радиоприемников. Культура.

— Кувальдяга! — поощрительно восклицал Кирилл. — Кувальдяга, Владимир Алексеевич, нечем крыть.

— Вы что же, считаете, что радио и телевидение — это заслуга советской власти? Это общий процесс на земле. Разве в странах, где нет советской власти, телевизоров и радиоприемников меньше, чем у нас? Да теперь каждый негр из племени банту ходит с транзистором на пузе. Да, в России радиоприемников не было в деревнях. Но их не было тогда вообще. Радио только что изобретено. Телевидение практически еще не изобретено. Неужели вы думаете, что страна, в которой было изобретено радио, отстала бы от других стран в радиофикации? В авиации не отстала же! К моменту первой мировой войны в России было столько же самолетов, сколько в Германии, Англии и Франции. И вообще, что за привычка — сравнивать теперешний СССР с Россией пятидесятилетней давности? Тогда уже надо брать Россию, какой бы она стала теперь, в шестидесятые годы. А кто мне скажет, какой бы она стала? Трудно вообразить! (9) Она что, по-вашему, стояла бы на месте? Почему бы ей не развиваться вместе с другими странами? Ведь процент развития экономики у нее был самый высокий в мире. До шестисот процентов в год — вот как развивалась Россия. Что касается газет, то во всяком губернском городе их выходило до семи-десяти штук, и, заметьте, все разные! Сейчас же выходит в каждой области одна областная газета, и все они одинаковые во всех областных городах. Ну, еще маленькая комсомольская газеточка.

Клубы... Посмотрели бы вы на эти деревенские клубы. Я вам их потом покажу. Жуть. Я недавно иду мимо, а наш завклубом Юрка Патрикеев об угол клуба колотит каким-то мешком. Я подошел, а сквозь мешковину — кровь.

— Ты что делаешь?

— Да вон, тетка Пелагея попросила кота убить.

Это завклубом! Самая культурная, самая светящаяся точка в селе. Допустим, что самый культурный человек в нашем селе был священник отец Александр. Не бог вещь какая культура. Но могу ли я представить его убивающим по просьбе тетки Пелагеи кота об угол церкви?

— Лисенок, нокаут! Кувальдяга отскочила и тебе же по скуле! Но игра продолжалась.

— Нет, не говорите. Сколько раньше получал простой рабочий? Ну пятнадцать, ну двадцать рублей в месяц. Разве это деньги, пусть хоть и золотом!

— Ну что же, двадцать пять рублей стоила корова. Корова стоит теперь пятьсот. А кто получает пятьсот? Рабочий? Служащий? Директор завода? Курица, насколько мне известно, стоила до шести копеек. Я недавно разговаривал с одним мусорщиком, получавшим жалованье и всего-то шесть рублей. Вот так же говорю ему: «Бедная была твоя жизнь». — «Почему же бедная? — обиделся мусорщик. — Я получал шесть рублей, курица стоила шесть копеек. Значит, я мог купить на свои деньги сто кур. А теперь поди-ка купи... Чтобы купить сто кур, это кем же я должен быть?»

— И все же, Владимир Алексеевич, были труженики, а были тунеядцы, паразиты, дворяне.

— Давай, Лисенок, кроши! Кувальдяга!

— Во-первых, я не понимаю, почему слесарь, пекарь, маляр, каменщик, машинист паровоза считались тружениками, а командир полка, скажем, или вообще офицер трудящимся не считался? Думаете, командовать полком легче, нежели красить стену? Да и рядовые гусары из дворян. У них была своя служба, был свой труд. Или тогда давайте считать тунеядцами и теперешних офицеров, генералов, полковников...

— Теперь, Владимир Алексеевич, — остановил меня характерным тоном Кирилл, — армия стоит на страже завоеваний трудящихся. Великого Октября, а тогда она служила опорой самодержавия и мракобесия.

Тон Кирилла в таких случаях был характерен тем, что он был, конечно, издевательским тоном, но все же не придерешься. Прописная затасканная истина, прописной советский догмат преподносился как бы в освеженном, высвеченном контекстом нашего разговора виде. И вот догмат, произнесенный как будто серьезным тоном, звучал парадоксом, если не абсурдом.

— Да-с, Владимир Алексеевич, армия трудящихся и армия царского самодержавия. Удивляюсь, как писатель этого не понимает.

— Труд есть труд. И командир полка должен трудиться, хоть у нас, хоть там. Если же мы считаем, что русская армия была антинародной и что царская политика вообще была антинародной, тогда давайте перестанем гордиться тем, что у нас огромное государство, что оно занимает шестую часть суши. Как вы думаете, откуда оно взялось? От Чукотки, от Курил до Карпат, до Дуная, от Кушки до Мурманска. Его что, на блюдечке нам преподнесли? Ну да, конечно, — деды, отцы. Да ведь сами деды и отцы не пошли бы воевать с турками, отвоевывать у них Измаил. Или Крым у бахчисарайского хана. Да ничего бы у них не вышло! Россию собирали русские цари, проводя последовательную политику расширения пределов Российского государства при помощи русской армии. Если мы считаем, что командир полка тунеядец, а говновоз — трудящийся, то давайте перестанем гордиться тем, что мы освободили Болгарию от турецкого ига, что прогнали Наполеона, героически отстаивали Севастополь, побеждали турок, завоевали Кавказ, Бухарское ханство. Это что же, все тунеядцы делали?

Да, дворянство не таскало камней, не стояло у кузнечных мехов, но дворянство управляло государством, той же промышленностью, теми же железными дорогами. Кроме того, оно, будучи интеллигентным (два-три языка с детского возраста), и породило ту русскую культуру, которой мы теперь, как ни странно, гордимся. Да, Тютчев не был маляром, он был дипломатом. Утонченный аристократ. Только потому, что он Тютчев, то есть потому, что писал стихи, мы не считаем его своим классовым врагом и тунеядцем. Но остальные дипломаты? Не писавшие стихов, но тем не менее хорошо исполнявшие свои обязанности, дипломаты и чиновники разных ведомств, безымянные для нас люди, почему же они не трудящиеся? Они же трудились каждый на своем поприще на благо России! Гусар Лермонтов нам не враг, ибо великий поэт. Но другие гусары? Русские гусары? Русские воины? Почему же враги?

— Лисенок, руки вверх. А теперь — пора. Нас ждут на ужине в доме советника американского посольства. Владимир Алексеевич, вот ваш пригласительный билет. Сам он... Впрочем, это не важно. Жена у него — русская. Гадина. Контра. Внучка царского генерала. Обожает ваши книги, Владимир Алексеевич. Просила познакомиться. Змея. Русская Жанна д'Арк. Готова на смерть. Махровая монархистка. Повесить на первом дереве. Культурнейший человек. Мать четырех детей. Зовут Лика. Пошли!

Жизнь повернулась какой-то такой новой гранью, которая не снилась и во сне.

На Кутузовском проспекте я поставил свою машину среди разных иностранных машин — «фальксвагенов», «ситроенов», «рено», «вольво», «фиатов» и «мерседесов». Перед входом в подъезд нас остановил милиционер и спросил, к кому мы идем. Кирилл назвал номер квартиры. Все это было и непривычно, и тревожно. Появляется в глубине сознания подсознательное тоскливое ощущение, что я иду куда-то не туда, делаю что-то не то. Но, с другой стороны, разве не интересно — ужин в доме американского советника? Вместе с подспудной тоской появляется, напротив, чувство достоинства, некоей романтики даже, ибо вместо унылою единомыслия многосотенного собрания членов Союза писателей (фиктивного, впрочем, ложного единомыслия) я впервые почувствовал, что действительно единомышленник и — хочется отметить — был счастлив.

Удивительно, что в обыкновенном московском доме на Кутузовском проспекте, в доме, построенном московскими рабочими (какое-нибудь там СМУ-115) и по внешнему виду не отличающемся от других московских домов, можно войти в квартиру, которая не похожа, не имеет ничего общего с миллионами других московских квартир.

Перешагнул порог — и сразу же оказался за границей. Не то чтобы встретили в прихожей другим языком, французской или английской речью. Но все — и мебель, и расстановка ее, и освещение, и картины на стенах, и корешки книг на полках, и ковры на полу, и планировка квартиры, без этих наших изолированных либо смежных, весь интерьер — все было какое-то не наше, не стандартное, не типовое. Хозяйка, высокая, по-американски тонкая, сравнительно еще молодая, очаровательная блондинка, вышла нам навстречу, весело поздоровалась с Бурениным. Нас представили друг другу, и она тотчас заговорила о моей последней книге и о стихах, и видно было, что действительно читала и знает.

Когда мы вошли в гостиную, из которой в открытую дверь был виден уже накрытый стол с двумя не горящими пока еще канделябрами (в каждом по пять витых зеленых свечей), нас встретил и хозяин, похожий скорее на немца, чем на американца. Потом так и оказалось, что он выходец из Германии. Явилась служанка с подносом, а на подносе напитки — виски со льдом, джин с тоником, мартини, водка. Служанка, к моему удивлению, оказалась нашей, советской. Она, улыбаясь, поднесла нам напитки.

— Люблю младший комсостав, — сказал, смеясь, Кирилл и взял себе апельсиновый сок.

С напитками мы сели около журнального столика, где стояла пепельница, большая настольная зажигалка и лежало три-четыре пачки сигарет разного сорта. Кирилл стал прикуривать от зажигалки, но получилась осечка с первого раза. Лика взяла ее в свои руки.

— Она иногда дурит.

— Ну конечно, трудно сочетать в одном предмете зажигалку, магнитофон, фотоаппарат и портативное взрывное устройство.

Смеялась хозяйка высоким, заразительным смехом, какого я не слышал больше ни до нее, ни после нее. Этими двумя репликами — по поводу младшего комсостава и зажигалки — Кирилл задал легкий шуточный тон всему вечеру.

Зажглись свечи. Мы ели прекрасное сочное мясо. По своей тогдашней наивности я, восторгаясь им, спросил, не на самолете ли возят его откуда-нибудь из Европы.

— Это ваше советское мясо, — ответила Лика, — только куплено в валютном магазине.

— Для белых, — врезался с репликой Кирилл, и это было самое острое, что прозвучало за весь вечер. В остальном — ни слова о политике, о советском ли, об американском ли правительстве. Литературные вечера, выставки живописи, кинофильмы — вот предмет разговора.

В середине ужина к столу подошли четверо белокурых детей от пяти до десяти лет, попрощались с мамой и папой — им пора спать. Ужин мы запивали отличным французским, соответственно еде и времени года, вином. А потом опять перешли за журнальный столик пить кофе. Лика обратилась ко мне:

— В нашем посольстве иногда бывают приемы. На них приглашается московская интеллигенция. Не знаю, почему не бываете вы. От кого зависят эти списки, в которых вас пока нет? Приходят ведь десятки и художников, и композиторов, и артистов. Хотите, я сделаю так, чтобы и вы получали пригласительные билеты на такие приемы?

— Я, право... Удобно ли?

— Это будет лишь исправлением несправедливости, — поставил точку Кирилл.

Пожалуй, не было большого преувеличения с моей стороны, когда я говорил, что Буренины мне, главным образом, рассказывали то, что уже жило во мне где-то в душе и сердце, а теперь начало раскрываться бурно, подобно взрыву. Но была одна переходная ступень, через которую мне самому, пожалуй, никогда бы не перешагнуть, если бы меня не перевели через нее за руку, а может быть, не будет слишком сильно сказать, не перетасили за шиворот. Я мог быть приготовлен внутренне к той простой и вообще-то очевидной истине, если человек не слеп и не туп, что Россия была великим просвещенным государством, а вовсе не омутом темноты и невежества. Легко сообразить в конце концов, что невежественный, темный народ не мог бы породить ни великой архитектуры (Кижы, Суздаль, Киев, Ростов, Владимир, Москва, Петербург, десятки тысяч великолепных домов и храмов в бесчисленных городах и селах), ни замечательных песен, ни гениальной живописи (Рублев, Дионисий, Ушаков, Палех, Мстера, тысячи безымянных иконописцев), ни могучего языка, ни славных умов, ни грандиозных талантов в науке и во всех видах искусства. Это все настолько очевидно, что нужен, вот именно, один толчок, одно движение благотворного скальпеля, чтобы пелена упала с глаз и человек начал видеть.

Но, сказав «а», надо было говорить и «б». И вот к этому «б» я оказался настолько неподготовленным, что Кириллу и Лизе пришлось основательно потрудиться, прежде чем я поднялся на вторую ступень. Участок мозга, к которому обращались в данном случае мои учителя, оказался настолько анестезированным, замороженным, выведенным из строя (но, значит, все-таки не ампутированным), что я сам еще месяц назад рассмеялся бы, если бы вообразил себе разговор на эту тему. Назову ее сразу и вызову у читателя тот же самый смех, которым смеялся бы я месяц назад, потому что не в индивидуальном же порядке мне замораживали упомянутый участок мозга. Замораживали его в массовом порядке, сразу у всех, путем коллективного внушения, через газеты, журналы, радио, плакаты, карикатуры, школьные уроки, собрания, митинги, кинофильмы, спектакли, романы, выборочные, но тем не менее массовые репрессии, аресты, концентрационные лагеря, через дозировку общественного кислорода, при котором мозг лишь тлел, а не пылал бы сипим живым огоньком, наблюдая, сопоставляя, делая выводы.

Итак, назову эту вторую ступень — монархия. Преимущество монархического образа правления. Возрождение монархии как единственный путь возрождения России.

Да, еще месяц назад я смеялся бы так же, как смеетесь и вы теперь, читая эти строки, которые вам кажутся бредовыми. В самом деле — строительство коммунизма, социализм, КПСС, СССР и вдруг — монархия! У американцев есть поговорка: «Для того чтобы дать машине задний ход, ее надо хоть на мгновение остановить». Видимо, первая ступень (то, что я называю первой ступенью), все наши разговоры о России как великом и просвещенном государстве и были той остановкой, после которой можно было моим политическим убеждениям, рвущимся в сияющие дали коммунизма, дать обратное направление. У вас такой остановки не было, поэтому вы смеетесь. Но меня уже не смущает этот смех.

Надо сказать, что готовили меня постепенно. Частые употребления в разговоре почтительного слова «государь» вместо разных там «Николаев Палкиных» и «Николаев Кровавых», пролистывания книг с прекрасными портретами царей, цариц, царевичей, царевен, великих князей, мелкие исторические анекдоты...

— В Париже поставили водевиль с намеком на Николая Первого. Что же он сделал? Он вызвал французского посла в Петербурге и сказал: «Я не могу распоряжаться репертуарами ваших театров, но я могу прислать миллион зрителей в шинелях, и они водевиль освищут». Какое достоинство, какое сознание своей мощи! Великое государство. А то недавно хунвейбины оплевали и исцарапали нашего посла в Китае, и мы проглотили эту пилюлю словно конфетку.

— Валентин Серов писал портрет Николая Второго. Было много сеансов. Друзья подговорили художника, чтобы он попросил денег на новый журнал. Во время очередного сеанса Серов издали завел разговор.

— Ваше величество, вот я, например, ничего не понимаю в финансах...

— Представьте себе, я тоже! — простодушно ответил царь.

Сеанс продолжался. После некоторого молчания государь спросил:

— А собственно, о какой сумме идет речь?

— Сорок тысяч на новый художественный журнал...

Внушили нам, что как царь, как король, так и вампир, тупица, бездельник, А они были просвещенные люди, их же готовили для управления государством с пленок, с младенчества.

Людовика XVI ведут на эшафот из темницы. Он спрашивает у палача, у первого человека, к которому он мог обратиться:

— Братец, скажи, что слышно об экспедиции Лаперуза? Ведь никто в этот день на площади не думал о какой-то там исследовательской экспедиции. Уж не Марата ли, не Робеспьера ли, этих подонков и кровопийц, интересовала она?

Александр Второй, один из лучших государей, воспитывался Жуковским. Освободил Болгарию от турецкого ига, освободил крестьян от крепостной зависимости, закончил Кавказскую войну, множество прогрессивных реформ. И вдруг одно за другим покушения. Почему? Потому что чем лучше государь, тем для него хуже. И чем хуже, тем лучше. И вот бомбой ему оторвало ноги. Он повернулся к убийце и спросил с искренним недоумением:

— За что же ты меня, братец? (10)

— Но Николай Первый расстрелял декабристов, а Николай Второй — манифестацию перед Зимним дворцом. Кровавое воскресенье.

— Расстрел 9 января был произведен без ведома государя. Он находился в Царском Селе. В Зимнем была лишь царица, это во-первых. Во-вторых, там было не все так просто, как нам теперь преподносят. В огромной толпе народа, шедшего с хоругвями, находились экстремисты, которые надеялись таким образом ворваться в Зимний дворец. Да и намерения самой толпы были не ясны. Представьте себя на месте находящегося во дворце. Прет многотысячная толпа. Если бы теперь поперла на Кремль, думаете, не появилась бы милиция, оцепление, заслоны, войска? Не примчалась бы тотчас Кантемировская дивизия? Так и вышло. Перед Зимним выстроились войска. А провокаторы из толпы и с деревьев начали стрелять. В этой обстановке генерал Ресин принял решение открыть огонь. Что касается декабристов... Как думаешь, как реагировали бы Ленин, Сталин, Хрущев, если бы офицеры устроили заговор с целью их свержения, уничтожения и вывели бы на Красную площадь пару полков?

О, тут я хорошо знал, какая была бы реакция, Я ведь четыре года служил сначала рядовым солдатом, а потом сержантом, командиром отделения именно на охране Кремля. В Полку специального назначения. Каждый раз перед парадом и демонстрацией всю ночь нас тренировали, как быстрее выбегать из-за Мавзолея, из-за гостевых трибун и перед Мавзолеем изготавливаться к огню. Первая цепь готовится к огню лежа, а вторая за ней — с колена, третья — стоя. Все с автоматами. Спрашивается: против кого нас изготавливали к стрельбе?

— Конечно, Николай I должен был защищать себя и свои права. А как же иначе? Он был твердого и властного характера. Он сказал: «Сегодня я или император или никто». Приказал выкатить пушки и очистил Сенатскую площадь. Зачинщиков судили. Как их судили бы в любом государстве и в любое время. Пятерых повесили, сто двадцать одного сослали в Сибирь. Как вы думаете, при Держинском или при Сталине сколько заговорщиков оставили бы в живых? А Николай II был добрый, религиозный человек, интеллигент. Ему не хватало властности. Твердой руки. Твердой рукой был Столыпин, но его, как мы знаем, убили. Подумайте только, государь был главнокомандующим всей русской армии. И вот он, главнокомандующий, в разгар победоносной войны отрекается от престола. Что стоило ему взять несколько полков и прийти в Петроград. Ему, видите ли, не хотелось, чтобы из-за него русские стреляли в русских. Не хотелось гражданской войны. Если бы он знал, сколько из-за его отречения потом русских перережут русские...

От всех этих частных разговоров неминусом должен был перейти к самой проблеме, к самой идее монархии как к способу государственного устройства. Кирилл начал мне подсовывать одну за другой книги, раскрывая их на нужных страницах, чтобы я все это прочитывал, проглатывал и усваивал. Но я остановил эту его просветительскую деятельность.

— Не надо цитат. Я знаю, что Пушкин был убежденным и искренним монархистом. Это легко установить, заглянув в любое собрание его сочинений. Я знаю, что он без сочувствия относился к демократии американского образца.

— Да, да! Вот как о взглядах Пушкина пишет Гоголь. Лисенок, Гоголя, шестой том! «Как умно определял Пушкин значение полномочного монарха! И как он вообще был умен во всем, что ни говорил в последнее время своей жизни! «Зачем нужно, — говорил он, — чтобы один из нас стал выше всех и даже выше самого закона? Затем, что закон — дерево; в законе слышит человек что-то жестокое и небратское. С одним буквальным исполнением закона недалеко уйдешь; нарушить же или не исполнить его никто из нас не должен. Для этого-то и нужна высшая милость, умягчающая закон, которая может явиться людям только в одной полномочной власти. Государство без полномочного монарха — автомат. Много-много, если оно достигнет того, чего достигли Соединенные Штаты. А что такое Соединенный Штаты? Мертвечина. Человек у них выветрился до того, что выеденного яйца не стоит...» Как метко выразался Пушкин!»

— Прекрасная цитата. Но хватит цитат. Я не мальчик. Я понимаю, что не мы первые задумались о лучшем образе государственного правления и, в частности, о монархии. Я понимаю также, что думали о ней не дураки и что если они думали, то и написали об этом разные умные слова. Кроме того, где-то я читал, что в любой стране можно насобирать достаточное количество фактов, чтобы оправдать одновременно и самую абсолютную монархию и самую разнузданную демократию. Зачем мне эти книги с выдержками? Мы думающие люди, давайте и рассуждать сами.

— Давайте. Только чур не толочь воду в ступе. Согласившись с одним положением, идем дальше. Выдвигаю первое положение. Коль скоро существует государство, им кто-нибудь должен управлять. Один человек, пятеро, триста человек, но кто-то управлять должен. Согласны?

— Да, против этого возразить трудно. Даже у зверей, у птиц, если стадо или стая, все равно должен быть вожак. И в первобытные времена — вождь, старейшина. Да, конечно, государством управлять нужно.

— Согласились и пошли дальше. Что лучше — когда во главе государства стоит один человек или когда им управляют несколько?

— Может быть, несколько... Посоветоваться, подумать. — Как известно, Дума, чтобы подумать, была даже у Ивана Грозного. Боярская Дума. И у русских царей был огромный государственный совет (смотрите хотя бы картину Репина), а также у них были министры, военачальники, приближенные люди, с кем они могли всегда посоветоваться. То, что несколько человек не годятся для управления

государством, очевидно хотя бы из того факта, что во главе всех государств земного шара все равно один человек стоит во главе. В одних странах он называется президентом, в других — премьер-министром, кое-где — королем. Даже если какая-нибудь хунта полковничья, все равно один полковник обязательно главнее других. В нашей прессе его именуют обычно главарем хунты.

Даже в социалистических государствах, как там ни кричи о коллективности и демократии, все равно: Ленин, Сталин, Маленков, Хрущев. Или там Червенков, Тодор Живков, Гомулка, Герек, Хо Ши Мин, Готвальд, Дубчек, Гусак, Энвер Ходжа, Мао Цзэдун... Значит, соглашаемся, что государству нужен человек, который был бы его главой. Теперь трудно представить, чтобы несколько человек одновременно могли бы делить между собой высшую власть. На первом же заседании при первом же трудном вопросе переругаются, передерутся, расколются на группы, на партии. Кроме того, один опять захочет быть попервое... Нет, даже не ради тщеславия и самолюбия, но для того, чтобы торжествовала именно его точка зрения, а ведь она всегда самая правильная. Так кажется каждому. Обидно, когда явно правильная точка зрения и не проходит в жизнь только потому, что другие болваны считают ее неправильной и лезут со своими точками зрения, раскалывают при голосовании руководящую группу и вносят смуту. Ну а тому болвану кажется, что прав он, и пошла потасовка. Борьба за власть. Борьба и раздор делятся до тех пор, пока один не сумеет подчинить себе остальных. И хоть будет считать, что государство управляется семерыми, фактически же им управляет один человек. Причем каждый из остальных шестерых стремится занять его место и ждет своего часа. Вербует себе сторонников. И получается мышиная возня, а не управление государством.

Иногда говорят — клика. Да, бывает, что власть в какой-нибудь стране захватывает клика, то есть группа сообщников. Но, во-первых, это все-таки частный случай, а во-вторых, и клика все равно избирает себе главаря, имя которого начинает все чаще и чаще мелькать на страницах газет по сравнению с другими сообщниками, портреты которого печатают покрупнее, чем остальных членов клики. А если портреты вывешиваются в ряд, то его портрет помещается на первом месте, а если перечисляются члены клики (ну, хотя бы под некрологом), то опять же имя главаря стоит под некрологом первым. И вскоре все привыкают к тому, что государством руководит один человек, окруженный сообщниками, или соратниками, как вам больше нравится.

В большинстве государств земного шара найдена удобная форма — временно выбранный президент. Выбирают на определенный срок или пожизненно президента и уславливаются, что он есть первое лицо в государстве. Президент назначает премьер-министра и велит ему сформировать кабинет, правительство. Если в кабинете (то есть в совете министров) начинаются разногласия, трения и раздоры, наступает так называемый правительственный кризис. Кабинет уходит в отставку, президент назначает нового премьера, тот формирует новое правительство.

Между прочим, точно так же все происходило в дореволюционной России. Царь был — царь, но он назначал так называемого царского министра, премьер-министра, который подбирал себе остальных министров. Таким царским министром и был упоминавшийся нами Столыпин. Царь мог отставить премьер-министра, если тот начинал загибать не туда или не справлялся с делами, и назначить другого. Выбор был большой, потому что образованных и деловых людей в России хватало.

Монарха лучше всего сравнить с капитаном крупного корабля большого современного судна. Не приходилось ли плавать? Палуба в три этажа, многочисленные отсеки, машинные отделения, экипаж человек двести, а то и больше. Снуют матросы, разные там механики, электрики, слаженная работа, судно идет от порта к порту. Заметим, что капитана при всем этом не видно и даже не слышно. Он сидит у себя в капитанской каюте, может быть, играет на пианино «Лунную сонату» или потягивает джин с тоником. Строго говоря, он как бы даже и не нужен. То есть кажется, что без него можно и обойтись. У него есть четыре штурмана, четыре механика, первый помощник, второй помощник, боцман. Эти люди знают каждый свое дело и делают его.

И все-таки необходимо, чтобы на судне над всеми и выше всех был капитан. Редко-редко он вмешивается в жизнь судна, даст указание, так или иначе проявит себя. Но все знают, что где-то в капитанской каюте есть капитан. Да, он может играть на пианино, или пить джин, или читать книгу, это его дело. Но он есть. И он не только играет Бетховена, но и со своего верха зорко следит за течением жизни на судне, и в нужное мгновение раздается его властный капитанский голос. А в нужное мгновение у него есть печальная привилегия уйти под воду вместе с гибнущим кораблем,

Итак, практика человечества, практика земного шара (а на нем сотни государств) показывает, что должен быть какой-нибудь один человек, считающийся в государстве главным лицом. Разница только в том, как он на это место попал: выбран, сам захватил власть или получил власть по наследству. Если подумать, то четвертого способа, пожалуй, не существует. Не так ли? Не на парашюте же спускается глава государства? А если и спустится, все равно должен захватить власть. Либо быть выбранным. Либо наследовать власть по закону. Нет, я положительно не вижу четвертого варианта. Значит, давай разберемся по существу в трех данных нам вариантах и подумаем, который из них самый лучший.

— А все-таки, может быть, вернуться еще раз к сверхварианту, когда государством управлял бы сам народ?

— Как... Весь народ?

— Да, народ.

— Надеюсь, вы шутите. Каким же образом весь народ может управлять государством?

— Ну, так, как он управляет у нас, в первом в мире социалистическом государстве, смело идущем к сияющим вершинам коммунизма. Кирилл засмеялся.

— Я ценю, Владимир Алексеевич, вашу искреннюю привязанность к советской власти, я сам убежденный коммунист (беспартийный, конечно!), но я должен извиниться перед вами и заявить: никогда не было и не будет, чтобы государством и, в частности, нашим советским государством, управлял весь народ.

— Позвольте...

— Нет уж вы позвольте! Вы любите прямые вопросы и чтоб на них давались прямые ответы. Перекинемся парочкой прямых вопросов и ответов. Первое. Народ сам себя организовал в колхозы или приезжали из городов люди и частично путем обмана, частично путем запугивания загоняли крестьян в эти колхозы, в которые крестьяне идти никак не хотели?

— Да, приезжали люди.

— Если бы люди не приезжали, стали бы крестьяне сами организовывать колхозы? Выдумали бы

они

сами

эти

трудодни

и

1

— Никогда.

— Значит, колхозы были придуманы где-то наверху и навязаны людьми, присланными сверху? Причем пришлось выслать и практически ликвидировать пятнадцать миллионов крестьян (шесть миллионов крестьянских семей), то есть почти десятую часть народа... Да?

— Да.

— Так что же, народ?.. Несколько тысяч уполномоченных, которые организовывали, или десятки миллионов, которых организовывали?

— В тридцатом году сразу по всей стране одновременно — заметьте! — сбросили с церковью колокола. Что же, это весь народ подумал-подумал, уговорился и начал сбрасывать? Или, может быть, все-таки где-то наверху один человек или несколько, то есть один человек с сообщниками (извините, с соратниками) решили сбросить колокола и свое решение провели в жизнь, навязали его народу сверху?

— Да, я помню, что народ в селах противодействовал, не пускал на колокольни приехавших сбрасывать. Но потом начали вызывать в сельсовет по одному, запугивать, и все смирились.

— Браво. Значит, в осуществлении акции в масштабах целого государства народ не принимал никакого участия. Решаем: он управляет или им управляют?

Вскоре началось массовое закрытие церквей, их разорение, уничтожение икон, древних книг, утвари, а потом и самих зданий. Прямой вопрос: сами прихожане закрывали свои церкви или они получали указание сверху?

— Но разоряли церкви иногда и местные люди. Увозили иконы на скотный двор, делали из них кормушки, рубили на дрова.

— Во-первых, они разоряли уже закрытые церкви. Во-вторых, это делали ретивые исполнители. Конечно, если бы не находилось в стране ретивых исполнителей каждого дела, спускаемого сверху, не смогла бы победить и так называемая Октябрьская революция. Но ведь и часовыми в тюрьмах и лагерях стоят простые солдаты, деревенские парни. Не станем же мы утверждать, что они-то, эти парни, и держали в лагерях миллионы людей!.. Знаете ли вы, между прочим, что в фашистских лагерях вроде Освенцима у печей, где сжигали трупы, стояли евреи? Да, да. Утром разрядка: кому из заключенных дорогу мостить, кому у печей стоять. И стояли. Но не можем же мы на основании этого говорить, будто евреи сами уничтожали себя.

Да, так вот лагеря. Как известно, одновременно в наших советских лагерях содержалось около двадцати миллионов человек, а сколько прошло сквозь них, трудно вообразить. Плюс коллективизация, плюс семь миллионов умерших с голоду, инспирированному в Поволжье и на Украине в 1933 году...

— Наше поколение ничего об этом не знало...

— Насчитываются десятки миллионов смертей, больше шестидесяти миллионов! Неужели это народ сам с собой так управился? Не легче ли предположить, что кто-то с ним управился, а?

Ни в одной государственной акции сам народ не принимал никакого участия. Начиная с убийства царской семьи (к этому мы еще вернемся), кончая какой-нибудь там целиной, кукурузой, ликвидацией коров, коз и кур в частном владении при Хрущеве, произволом с займами и денежными реформами — все это не есть дело народа, а есть дело рук одного человека с его сообщниками. Или, если хотите, есть дело группы сообщников с одним человеком во главе... Подарили Китаю Порт-Артур, подарили Китаю КВЖД — спросили у народа? Подарили Украине Крым, отторгли его от Российской Федерации — спросили у русского народа? Вообще хоть что-нибудь спрашивают? На первых порах хоть председателей колхозов колхозники выбирали сами, из своего села. Теперь председателей присылают из области, а колхозники голосуют за человека, которого привезли и которого они впервые видят.

— Но в Верховном Совете депутаты, выбранные народом...

— Вы участвовали когда-нибудь в выборах? И не раз? Люди голосуют за кандидатов, которые для них — одни лишь имена да краткие биографические сведения на предвыборных плакатах. Считается, что такого-то кандидата выдвинул такой-то коллектив, ну, скажем, коллектив фабрики «Красная Роза». Но как это происходит? Кандидат, которого будут выбирать, известен уже заранее. Поручается той или иной работнице выйти на трибуну и назвать имя, которое она сегодня утром еще не знала. Весь состав будущего Верховного Совета СССР, РСФСР, а также республиканских Верховных Советов известен до выдвижения кандидатур, а тем более до голосования. Заранее составлены списки будущих депутатов. Потом их распределяют по областям, по избирательным округам. Где составляются эти списки? Кем? Это же насмешка над народом — заранее составить списки, а потом устроить комедию выборов.

Очевидно, управляет государством не тот, кто механически голосует, а тот, кто заранее составляет списки. (11)

— А был хоть один случай, чтобы собрание само с ходу выдвинуло своего кандидата в депутаты, отвергнув того, которого назвали сверху?

— Я думаю, что такого случая не было.

— Хорошо. Так ли, иначе ли, но Верховный Совет избран. Заседает. Высший орган советской власти. Академики, писатели, военачальники, председатели колхозов, доярки, свиноводы. Допустим. Но был ли за все годы, начиная с первой сессии первого созыва Верховного Совета в 1937 году, был ли хоть один случай, чтобы депутат вышел на трибуну и предложил что-нибудь свое? Или возразил? Не согласился? Начал спорить? Что-то гладко уж очень все идет. Предложат это — все единогласно голосуют. Предложат то — все единогласно голосуют. За десятилетия ни одного голоса против, а? Кто же управляет? Тот, кто выносит на голосование разные вопросы, или тот, кто механически голосует? Ладно, хорошо, не будем говорить о выступающих с трибун, возражающих, сомневающих, деловито обсуждающих что-то, а не талдычащих по бумажкам речи, все как одна написанные до открытия сессии... Согласен, что речи пишутся до открытия сессии?

— Согласен.

— Значит, не будем говорить о таких речах, тем более о голосующих против или воздержавшихся, таких никогда не было и быть не должно. Но хоть вопросик бы кто-нибудь задал, хоть один бы вопросик, уточнил бы для себя, усомнился бы там в чем-нибудь... Итак, повторяю, был ли за все время хоть один случай, чтобы депутат встал и задал вопрос?

— Таких случаев не было и быть не могло. У нас ведь так называемая управляемая демократия.

Централизованный демократизм. — То есть демократия, которой управляют из центра?

— Да.

— Кто управляет?

— КПСС.

— Вот еще одна фикция вроде диктатуры пролетариата в первые годы советской власти. Пролетариат как стоял у станков, так и продолжал стоять. Управляла же всем группа интеллигентов, революционеров-профессионалов, захватившая власть в стране. Но к этому мы еще вернемся. Так вот, то, что Коммунистическая партия управляет страной, это тоже фикция. Она, положим, управляет, это правда, но постольку, поскольку управляют ею самой. Она не власть, но лишь орудие власти. «Рычаги» — правильно назвал членов партии русский писатель. Рычаги, на которые нажимают, рычаги, беспрекословно поддающиеся этим нажимам.

— Ну, это положим. Я сам в некотором роде член КПСС.

Я сказал это, но уверенности в моем голосе не было уже. Я начал вспоминать те партийные собрания, на которых мне приходилось сидеть и механически одобрять, одобрять, одобрять.

Решил Никита учредить совнархозы, мы собрались на партсобрание и одобрили. Решил потом ликвидировать совнархозы, мы собрались на партсобрание и одобрили. Решили по всей стране разводить кукурузу, мы собрались и одобрили. И ни одного против, ни одного воздержавшегося.

Решил Никита низвести Пастернака за то, что тот не отказался от Нобелевской премии, мы собрались и начали его низводить. Если бы решил Никита поддержать это награждение (а такое вполне могло быть, особенно при характере Никиты), мы собрались бы и стали славословить.

Да что говорить о мелочах? Помню партсобрание, когда Хрущев победил группу Молотова, Ворошилова, Кагановича, Маленкова и примкнувшего к ним Шепилова. Стоит вспомнить, как там все это происходило.

Группа сообщников (соратников, пардон!) решила отстранить Хрущева от власти и взять власть в свои руки. Политбюро большинством голосов проголосовало против Хрущева. Генеральным секретарем КПСС был избран Вячеслав Михайлович Молотов. Политбюро продолжало заседать уже под его руководством. Молотов произнес пятнадцатичасовую речь, разоблачающую и критикующую деятельность Хрущева. Из зала заседаний никого не выпускали. Фурцева отпросилась в туалет. Как женщине ей разрешили выйти. Она позвонила Жукову и Семичастному, то есть главнокомандующему и министру КГБ. Моментально на военных реактивных самолетах свезли из областей секретарей обкомов — членов ЦК. Они столпились в «предбаннике». Стали требовать, чтобы их пустили на заседание. Их пустили. Надеюсь, видимо, убедить либо надеюсь, что, поставленные перед фактом, они подчинятся Молотову как Генсеку КПСС. Но их свезли на военных самолетах, и встречал их на аэродроме министр КГБ Семичастный. Вероятно, он успел сказать каждому из них два-три словечка. Они, войдя в зал заседаний, проголосовали против группы Молотова, за Хрущева. Хрущев, таким образом, победил. (12) Но всей стране были проведены партийные собрания, в низовых партийных организациях. Мы все один за другим вставали и дружно клеймили Молотова, Маленкова, Кагановича, Ворошилова и примкнувшего к ним Шепилова. Все превозносили Никиту Сергеевича. Но у многих, я заметил, было подавленное состояние. Тот, кто хоть на минуту задумался над происходящим, не мог не вообразить, что если бы Молотов остался секретарем (если бы не привезли на истребителях членов ЦК), то сейчас по всей стране тоже проходили бы низовые партсобрания, и все мы дружно ругали бы Хрущева, восхваляя Молотова, Ворошилова и всю группу. Так на самом деле мы и стали ругать Хрущева, превозносимого в течение десяти лет, после 14 октября 1964 года, когда его спихнули и власть в стране перешла в другие руки.

Все это я вспомнил теперь (и многое другое тоже) и даже рассказал в двух словах Кириллу.

— Ну вот, а я что говорю? Значит, кто же управляет страной? Те, кто механически, не обсуждая, подтверждают все, что идет сверху, или тот, кто сверху им то или иное спускает? При чем же здесь руководящая роль КПСС? Руководит группа. Очень небольшая группа людей. Сообщников. Над ними, в свою очередь, стоит один человек, который является первым лицом в государстве. В нашей стране эти лица поочередно известны: Ленин, Сталин, Маленков, Хрущев, Брежнев... Разве не так?

Значит, мы еще раз приходим к тому же выводу. Практика человечества, практика земного шара показывает, что должен быть какой-нибудь один человек, считающийся в государстве главным лицом. Разница только в том, как он на это место попал: выбран, сам захватил власть или получил власть по наследству. Четвертого способа нет. Разберемся же по существу в трех данных нам вариантах и посмотрим, какой из них самый лучший.

Начнем с самого энергичного варианта, с захвата власти.

Во-первых, не обязательно захвативший власть окажется мудрым, разумным, добрым и умеющим управлять. Он ведь все предыдущие годы жизни потратил на освоение способов захвата власти. Захватив власть, наконец, он может столкнуться с миллионом проблем, в которых вовсе не разбирается.

Во-вторых, захвативший власть, как правило, бывает лишь ставленником группы злоумышленников, желающих управлять страной. В самом деле, трудно представить, чтобы один человек ни с того ни с сего, ни на кого не опираясь, сумел взять власть в стране. Если бы это было так, это говорило бы о его чрезвычайных личных качествах. Такие случаи в истории бывали, но очень редко, как исключение. Например, приход к власти генерала Наполеона. У него не было политической группы, он не стоял во главе политического заговора, но у него была армия, которая его обожала. Такие случаи редки. Вообще же захвату власти предшествует длительная подготовительная работа большого количества заговорщиков.

В-третьих, захват власти одним человеком рождает соблазн даже внутри той же группы. Почему он, а не я? Он что, умнее? Нет, я умнее! Начинается подспудная, сначала тайная, а потом и явная борьба за власть. Нестабильность правительства, неуверенность его не может способствовать процветанию государства.

В-четвертых, неуверенность порождается и в народе. Он не знает, что будет завтра. Кто будет завтра им управлять. Власть свалилась как снег на голову, а завтра свалится другой человек. Кто он будет? Какой? И почему он? И почему все сразу должны ему подчиняться? А почему не другому? А почему не мне? Не нам? Организуются новые группы, новые заговоры, возникает новая борьба за власть, а это значит новые аресты, репрессии, тюрьмы, лагеря, убийства, а потом и новый переворот. И все начнется сначала. Где же тут думать о благе народа, о процветании.



Если захвативший власть окажется человеком сильным и сумеет подмять под себя остальных сообщников, то, пока он жив, в стране существует стабильность, хотя и печальная, основанная на подавлении, на терроре. Но после смерти такого человека борьба за власть вспыхивает с новой силой. (13) На освободившееся место рвутся сразу несколько человек, возникает быстрая смена правителей, чехарда, экономика страдает, хозяйство разваливается, народ бедствует. Неуверенность людей в своем завтрашнем дне отражается на поведении людей, на их быте, на их нравственности. Особенно молодежи. А ведь молодежь — это завтрашний день страны, завтрашний народ. Бедствиям не видно конца.

Далее. Захвативший власть знает, что он захватил ее для себя. Если его прогонят или если он умрет, то с этим все для него и кончится. Поэтому он ничего не жалеет, ни в человеческих ресурсах, ни в ресурсах страны, лихорадочно и беспощадно опустошаются недра, сводятся леса, вылавливается рыба, истощаются почвы, загрязняются воды, происходит всеобщее оскудение.

Незаконный захват власти нехорош еще и тем, что он чреват новыми государственными потрясениями с точки зрения исторической неизбежности. Ведь нет же другого способа отнять власть у злоумышленников, как только путем насильственного захвата. Начинается нечто вроде цепной реакции, которая может длиться десятилетиями. Горе тому народу, который окажется вверженным в эту пучину бедствий!

Короче говоря, каждому здравомыслящему человеку и без лишних рассуждений должно быть ясно, что захват власти в стране одним человеком или группой людей есть высшая форма беззакония, есть величайшее бедствие во все времена и у всех народов.

Теперь обратимся к выборам президентов. Многие из них выбираются на короткий срок. Это само по себе уже плохо. Американские президенты, например, выбираются на четыре года. Дело не только в том, что президент успевает сделать мало за этот срок. Даже один человек часто планирует свою жизнь больше чем на четыре года вперед. А ведь жизнь страны это не жизнь человека. В ней происходят более постепенные, более длительные процессы. Как же президент будет планировать долговременную политику, если его преемник через четыре года может повернуть всю политику в другую сторону? Страна невольно начинает жить сегодняшним днем. Будущего преемника, то есть своего соперника на будущих выборах, президент невольно, как бы он ни был патриотичен, воспринимает вот именно как соперника, а проще говоря, как противника, который стремится его, сегодняшнего президента, победить и уволить, отстранить, лишить президентской власти. Невольно по отношению к будущему президенту у нынешнего президента рождаются и воспитываются в груди недобрые чувства. Не то чтобы ненависть и вражда, но все же при решении очень трудной государственной задачи с возможными неприятными последствиями через много лет, может ведь у существующего президента мелькнуть мыслишка: «А это достанется уже моему преемнику, пусть он и расхлебывает. Ему так хочется на мое место, вот пусть ему и достанется». Надо сказать, что большинство из государственных каш, завариваемых сегодня, неизбежно будут расхлебываться потом, через много лет.

Второй оттенок главнее этого. Одно дело деревенская сходка, на которой выбирают старосту. В деревне сорок домов, сорок мужиков. Все они известны в подробности по характеру, по достатку, по способности быть старостой в деревне. Другое дело — население страны в десятки миллионов человек, а то и в сотни. Где гарантия, что будет выбран самый достойный? А не тот, у кого больше денег на избирательную кампанию? Возникают вдруг, как бы сотворившись из воздуха, два-три кандидата, портреты их начинают печататься в газетах, к их именам начинают привыкать. А откуда они взялись? Населению кажется, что это оно выбирает президента, но всякие выборы невидимо управляемы. Даже и на деревенской сходке можно подговорить, а то и подпойть пять-шесть мужиков погорластее, чтобы они создали так называемое «общественное мнение». В современном государстве выбирает президента фактически тот, у кого в руках средства массовой информации: газеты, телевидение, радио, реклама всех видов. Вот и готов будущий президент. Значит, президент фактически является не выбранным лицом от всего населения, а ставленником определенной группы людей, контролирующей средства массовой информации. Это тот же самовольный захват власти, только завуалированный, тихий, благопристойный, под личиной законности.

Обычно президент знает, благодаря кому он победил на выборах, поэтому в своей президентской деятельности он будет работать прежде всего на интересы той партии (а партия, в свою очередь, в руках у группы), которая посадила его в президентское кресло...

Не было, разумеется, в наших беседах такой вот последовательности, стройности, строгости. Стройность была, но в общем, главном, генеральном, так сказать, направлении, в развитии идеи. Говорилось же все это более сумбурно, отрывочно, экспрессивно.

— Подумай сам, — горячился вокруг меня Кирилл. — Тебя выбрали на четыре года. После тебя выберут человека, которого ты, допустим, ненавидишь всеми силами души. Где у тебя стимул сохранить и передать ему государство в наибольшем благополучии? Здравое я рассуждаю, трезво? Помоему, здраво. Если же ты будешь управлять страной не четыре года, а всю жизнь, и если ты передашь ее не случайному человеку, а родному своему сыну, и если ты знаешь, что от сына власть перейдет к внуку, то будешь управлять государством совсем иначе. Логично я рассуждаю или не логично?

— Очевидна и легкость подчинения, — начал соображать уже я сам. — Например, в армии. Я иду по улице. Я — рядовой солдат. Навстречу мне генерал. Я отдаю ему честь. Или во время службы генерал отдает мне приказание, я говорю «слушаюсь» и это приказание выполняю. Я не спрашиваю себя, почему я выполняю приказание генерала, а не мое. Почему я отдаю генералу честь, а он лишь отвечает на мое приветствие. Я не задаю себе мучительных вопросов, кто умнее — генерал или я. И зачем это я слушаюсь человека, который вряд ли умнее и достойнее меня? Я вообще не думаю о личных качествах генерала. Его старшинство по званию я воспринимаю как данность, отсюда и легкость подчинения. Субординация. Попробуй другой писатель, хоть я и знаю, что он старше меня по годам и что книг у него больше, попробуй он скажи мне в нашем Доме литераторов, да еще тоном приказа: «Слышь, сходи в буфет, принеси мне бутылку пива!» Черта с два! А если даже и сходишь по непонятным психологическим мотивам, то все равно на душе будет погано и унижительно.

Но когда-то условились, что будет один человек во всем государстве выше всех остальных. Условились, что свое положение первого лица в государстве он будет передавать по наследству. Выбрали, короче говоря, не одного человека, а семью. «Когда Романовых на царство звал в грамоте

своей народ», Романов Михаил сидел в Ипатьевском монастыре в Костроме и вовсе не помышлял о захвате власти. Но выбрали и условились, что эта семья будет царствовать. Законно царствовать, потому что выбрана. И тогда уж не надо ломать голову, почему эта семья, а не другая. Почему не моя? А принцип наследственной передачи власти, как мы уже коснулись, имеет ряд преимуществ.

Во-первых, народ заранее, за много лет знает, кто будет государем лет через двадцать, когда умрет нынешний государь. Народу не грозят случайности, неожиданности, а отсюда и потрясения.

Во-вторых, государь стремится оставить своему сыну (а затем и внуку) государство в благополучнейшем состоянии. Государственные ресурсы расходуются бережно, с мыслью о завтрашнем дне. Имеется возможность проводить долговременную политику.

В-третьих, наследника с пеленок готовят к его миссии, воспитывают, образуют. Власть не сваливается ему как снег на голову. Он принимает ее как должное. Он принимает эстафету от отца и несет ее дальше, к своему сыну.

В-четвертых, приняв власть законно, он не боится, что ее внезапно отнимут. То есть, конечно, держать ее в руках надо, ибо ходят вокруг банды злоумышленников, лязгая зубами. Но все же комплекса нет. Совесть чиста. Власть законна, а не захвачена.

— Но почему и зачем должна быть одна семья?

— Почему семья, мы только что видели. Это создает наибольшую стабильность в государстве, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Кроме того, это исключает всякую возможность случайного захвата власти со стороны, случайными людьми, у которых неизвестно, что на уме. Если не наследник, значит, власть незаконна. Никому постороннему не забраться на самый верх. Как бы близко ни пробрался к трону и короне злоумышленник, последняя ступень для него недостижима, исключена. Вы думаете, люди на протяжении веков были глупее нас? Культура сменяла культуру, цивилизация цивилизацию. Древние арии, шумеры, ассирийцы, инки, Египет, китайская цивилизация, Вавилон, древняя Индия, ацтеки, Оттоманская империя, Византия... Цивилизация сменяла цивилизацию, но принцип, к которому пришли люди, оставался: царь, князь, император, султан, вождь... Римская республика, скажете вы. Да, была. Но Рима уже коснулся тот процесс, о котором будем говорить позже. Кроме того, вспышки римского величия падают на годы единоначалия (Цезарь все-таки — император), кроме того, можем ли мы говорить, что народ Рима процветал? Кроме того, где он теперь, народ Рима? Уж не современные ли итальянцы? И тут мы должны коснуться очень важной проблемы, можно сказать — проблемы проблем.

Сейчас мы должны увидеть разницу между народом и населением. Французский народ или население Франции? Американский народ или население Соединенных Штатов Америки? Немецкий народ, еврейский народ, русский народ, грузинский народ. Советский народ или население Союза Советских Социалистических Республик? Стоит вдуматься во все эти понятия и в оттенки, тут существующие.

Дело в том, что монархия — и это бесспорно — цементирует тот или иной народ, открystalлизовывает его, сплачивает, ибо у народа есть центр, символ, эмблема. Вроде матки в пчелином улье. Матка ведь не следит за каждым шагом своих подданных, не мельчит на ежедневные предписания и распоряжения, но пока она есть, есть идея централизации, есть идея организации пчелиной семьи. Как только матки не будет, единый организм превращается в безыдейное скопище пчел. Единица превращается в сто тысяч единиц. Пчелиная семья превращается в население улья. Семья практически гибнет.

Пока есть центр (матка), в семье действуют центростремительные силы. Каждая пчела в отдельности находится под действием общей центростремительной силы, испытывает ее на себе. В противном случае возникают центробежные силы, и все растрачивается, распыляется, развеивается по ветру. Даже не надо центробежных сил. Достаточно отсутствия центростремительных, чтобы все обмякло, как проткнутый воздушный шар, и превратилось в бесформенную тряпку.

Народ — единый организм. Почему костромской мужик Иван Сусанин пожертвовал жизнью ради спасения только что избранного царя — Михаила Романова? Потому что, как частица народа, Сусанин находился в сфере действия центростремительной силы, объединяющей народ..

Пчелы гибнут не размышляя, когда бросаются жалить врагов их семьи, ибо остается целое, и в этом случае гибель одной клетки организма не имеет значения, лишь бы жил сам организм.

Народ, лишенный тем или иным способом (до способов мы еще дойдем) центростремительных объединяющих сил и связей, перестает быть народом. Он превращается просто в население, в механическое скопище определенного количества миллионов людей, скрепленных кое-как лишь внешними формами скрепления: граница, язык, территория, полиция, армия, инерция. Внутренне же, духовно, национально эти миллионы ничто не объединяет. Культивировать из десятилетия в десятилетие объединяющие силы, открystalлизовывать, усиливать народ, делать его народом и поддерживать в ранге народа может только монархия. Сильное централизующее начало. Ибо идея монархии — это и есть переложение на простой язык идеи централизации народа.

Объединять народ может только монарх. Управлять населением могут и президенты.

Да, кратковременные и разношерстные президенты, в которые попадают и адвокатишки (чаще всего), и бизнесмены, то есть дельцы, и какой-нибудь там журналист, артист и мало ли кто. Но почему мной должен руководить и управлять делец или журналист? Кроме того, он может оказаться не обязательно французом во Франции, не обязательно итальянцем в Италии, не обязательно американцем в Америке. То есть по паспорту да, конечно, надо числиться гражданином Америки, чтобы стать президентом или вице-президентом. Но по духу? По симпатиям? По своим политическим и национальным стремлениям? Может быть, он вовсе не будет думать о консолидации народа, а будет решать разные текущие вопросы, технические, военные, торговые. Надо кое-что и успеть за четыре года. Идея же консолидации в президента не заложена по самой его природе. Тогда как монарх — это и есть идея консолидации в чистом виде.

Весь день Кирилла проходил в безудержном кипении, которое мне лично было бы не под силу. Кипение начиналось около одиннадцати утра и заканчивалось после полуночи, иногда в два или в три часа ночи. Бесконечные телефонные звонки, бесконечная смена лиц (одни приходят, другие уходят), а потом вдруг — толчок изнутри (на часы он никогда не смотрел, обладая безошибочным чувством времени), и надо было ему мчаться куда-нибудь через всю Москву.

Могла сидеть в мастерской какая-нибудь девочка, красавица, конечно, вероятно, натурщица, а может быть, просто познакомился, привел, сунул в руки книжку — сиди, читай, просвещайся.

— Владимир Алексеевич, познакомьтесь, будущая Жанна д'Арк, не все еще понимает, но пульс есть. Пульс — это главное.

Все люди у него делились на две основные категории — с пульсом и без пульса. Пульсяга и мертвяга. То есть на людей, способных хотя бы и не сразу, но воспринять его неожиданные для большинства истины, и на людей, в словаре которых на первом месте непробиваемые слова «партия, коммунизм, трудящиеся...».

Девочка (с пульсом) прилежно читает какую-нибудь книжку. Кирилл, окончив телефонный разговор, подскакивает к ней, перелистывает несколько страниц, показывает пальцем:

— Вот здесь. Изречение Бебеля. Немецкий социалист. Огласи. Владимиру Алексеевичу тоже интересно. Давай, давай. Девушка оглашает:

— Социализм можно попытаться осуществить на практике, но для этого надо найти страну, которую было бы не жалко. (14)

— А! — восторженно восклицает Кирилл. — Чудо! Признанный социалист, теоретик. Пиво и раки завода имени Бебеля, как сказал великий певец пролетарской революции.

Это был его излюбленный тон. Чем больше он ненавидел поэта, художника, политического деятеля, тем более пышными эпитетами он его награждал. Особенно в присутствии людей, которых считал непосвященными, посторонними. Ирония чувствуется, но за руку не поймаешь.

Приходили иностранцы, и он тотчас же сажал их за виски. Приходили редакторы журналов, искусствоведы, крупные работники Министерства культуры, музейные работники, газетчики, директора издательств. То есть не то чтобы валили толпами директора издательств или главные редакторы журналов. Но в разное время и в разных ситуациях можно было встретиться и с главным редактором, и с директором издательства, и с директором музея, и с заместителем министра, а то и с самим министром. И Бог знает с кем.

Проводив какого-нибудь издателя, редактора, министерского работника, Кирилл бросал мне уже как своему человеку:

— Мертвяга. Пульса нет даже ничтожного. Паралич мозга и духа. — Зачем же он тебе?

— Можно использовать. В порядке гальванизации трупа. Если к трупяге подвести сильный электрический ток, то у него начнут дергаться руки и ноги. Так и тут, когда говоришь, западает даже трупяге. Подал ему идею книги:

«Что город, то норы». Издать книгу с прекрасными фотографиями об исконных русских городах: Торжок, Устюжна, Таруса, Сапожок, Весьегонск, Суздаль, Боровск... Люди увидят, что в архитектуре кое-где еще сохранился русский дух и что надо его беречь, возрождать, развивать, всячески культивировать. Использую, Владимир Алексеевич, все возможности. Как нас учил гениальный, вечно живой вождь пролетариата: «Лучше маленькая рыбка, чем большой таракан». Любимая поговорка Ильича. Во всяком деле нет мелочей. Нельзя пренебрегать ничем.

— А этот, из Министерства просвещения?

— Ткнул его носом в «Родную речь». Где поэт Суриков? Где Кольцов? Где Алексей Константинович Толстой? Где Блок? Есенин? Где родная природа, родной язык? Самуил Маршак, Агния Барто, Юрий Яковлев, он же Хавкин. Безликие стихи, трескотня. «Летят самолеты, строчат пулеметы». И это «Родная речь»? Открой старую книгу для начального чтения. Открой, открой, вот она, читай.

Вечер был, сверкали звезды,  
На дворе мороз трещал.  
Шел малютка по деревне,  
Посинел и весь дрожал.  
Шла старушка той деревней,  
Увидала сироту.  
Приютила, обогрела  
И поесть дала ему.

— Да, я помню с детства эти стихи. Староваты, конечно. И слабоваты...

— Хм. Староваты и слабоваты. Да ведь в них — сразу же понятие о добре. Человечность. Сострадание. Заряд добра. Тут и жалость к сироте, и радость от того, что он оказался в тепле, и накормлен, и благодарен старушке. И вообще — человечность. В то время как все советские детские стихи несут только одну чистую и сухую информацию. Мертвую информацию. «В лесу родилась елочка» — тоже не Бог весть какие стихи. Да ведь на них выросли поколения русских людей. Там и мужичок с топором, и трусишка зайка серенький, и лошадка мохноногая, и сама елочка, представьте — живая. И жалко елку. И ощущение, что не зря она срублена... «И много, много радости детишкам принесла». Это для сердца. Для детского сердечка, вернее сказать. Сколько теперь стихов и песен о елках? «Елка, елка, зеленая иголка». Чувства же ни на грош. В них нет народности, нет русского духа. Никакого духа. Они бездушны. Голая информация. «Летят самолеты, строчат пулеметы».

Горох об стенку. А где понятия, самые первые, необходимые, элементарные понятия о добре и зле? Положим, твой кумир, твой любимый поэт В. Маяковский написал для детей «Что такое хорошо и что такое плохо». Но и тут — голая информация. Только для головы. Сопереживания же нет. Разбудить сострадание в детском сердце — великая задача поэзии. Нам, ну, не нам, детям, нам, когда мы были детьми, жалко сироту, бредущего в морозный вечер по пустой деревенской улице. Мы болеем за него душой. Мы радуемся, как будто это не он, а мы сами попали в теплую избу старушки. Но где же момент сострадания в стихах Маяковского? Его нет. Ноль. Вот я и ткнул носом зам. министра в «Родную речь», во всех этих Барто, Маршаков, Хавкиных. Пусть почешет в затылке.

— Думаешь, дошло до него?

— Дошло, не дошло, а говорить надо. Что-нибудь да дойдет. Не до него, так до другого. Как говорила Жанна д'Арк: «Если не мы, то кто же?» Согласимся, что никто, кроме нас, ничего такого не скажет. Значит, должны говорить мы. Должны!

Между тем Лиза долисталась в книжке до стихотворения Блока о вербочках и спросила, помню ли я его.

— Конечно, помню, даже и наизусть.

—

Прочитай,

—

потребовал

Кирилл

— Внимание, все слушают Александра Блока в исполнении Владимира Алексеевича  
— Ну... как там...

Мальчики и девочки  
Свечечки и вербочки  
Понесли домой.  
Огонечки светятся,  
Прохожие крестятся,  
И пахнет весной.  
Ветерок удаленький,  
Дождик, дождик маленький,  
Не задуй огня.  
Воскресенье вербное,  
Завтра встану первая  
Для святого дня.

— Чудо! — сразу взвился Кирилл. — Какая трогательность, какая душевность, какая светлота! Лисенок, кинь из современных детских стихов, чтобы подчеркнуть.

— Стоит ли после таких стихов? Портить...

— Для озлобления. Кинь! Лиза, как всегда, ко всему готовая, сказала:

— Ну вот, хотя бы Маршак. Классик детской литературы:

Дети нашего двора.  
Вы его хозяева.  
На дворе идет игра  
В конницу Чапаева.  
Едет по двору отряд,  
Тянет пулеметы.  
Что за кони у ребят —  
Собственной работы!  
Что за шашки на боку!  
Взмахом этой шашки  
Лихо срубишь на скаку  
Голову ромашке.

Вот так: скачи, коли, руби! Воспитание ненависти. Вместо того, чтобы воспитывать любовь к цветку, беречь его любоваться: руби ему голову. Целые поколения воспитывались не на любви к ближнему, а на ненависти. Кто помнит, с чего начинается прославленный советской пропагандой роман «Как закалялась сталь»? Священник, учитель Закона Божия, спрашивает учеников: кто приходил перед Пасхой к нему домой сдавать уроки? Оказывается, один из этих учеников насыпал в пасхальное тесто махорки. Мелкий пакостник. А ведь это будущий герой романа Павка Корчагин. И с него должны были все брать пример.

Только что мы слышали прекрасное стихотворение Блока о Вербном воскресенье. О мальчиках и девочках, несущих домой из церкви зажженные свечечки. А теперь сравните. Из современной книги для чтения:

Анна Ванна,  
Наш отряд,  
Хочет видеть Поросят.  
Мы их не обидим,  
Поглядим и выйдем...

Комментарии излишни. Там дух, а здесь? Выхолащивание души начинается с детства. Кастрация духа.

— Но как вставить про Вербное воскресенье в современную хрестоматию? Религиозный мотив. Свечечки, вербочки.

— «Религия» в переводе на русский язык значит «объединяю», — с проступившим металлом в голосе возразил Буренин — Только тот, кто стремится к разъединению народа, только тот, кто стремится к его разобщению и превращению народа в население, начинает беспощадную борьбу против религии. Некогда мне сейчас распространяться на эту тему, но когда-нибудь в другой раз обещаю. Скажу только, что, во всяком случае, это есть великая красота. Лисенок, поставь пластинку. Хор донских казаков.

Сейчас услышите. А потом Шаляпин. Или сперва Шаляпин? Нет, давайте сперва хор. Тишина. Полная тишина.

Но призывать к тишине не было уже надобности, как, наверное, не надо было призывать людей ко вниманию при начавшемся в городе землетрясении. Сказать, что я был ошарашен, ошеломлен, потрясен до глубин души, значит ничего не сказать про то состояние, в которое меня ввергли первые же мгновения музыки.

Где же это я бродил и плутал до сих пор, что только на каком-то сороковом году своей жизни слышу впервые это? Неужели оно было и раньше, до этого дня, а я о нем не знал? В какой же темноте, в каком же слепом неведении надо было жить, чтобы восторгаться песенками вроде «Каховки» или «Тачанки», вроде «Катюши» или «Подмосковных вечеров»? Не подозревая, что существует на свете такая сила? Именно сила. Первое, что я почувствовал, — силу. Могущество. Подхватило волной, захватило дух. Это была, как я теперь знаю. Великая ектенья в сопровождении хора донских казаков в Париже, записанная на большую пластинку и оказавшаяся каким-то образом в руках Буренина. Хор донских казаков и привнес в ектенью, могучую саму по себе, тот воинствующий элемент, который превратил проникновенную молитву в шквал, в ослепительный взрыв, в цунами.

Я тогда не разобрал всех слов, не знал их, слышал впервые, но все же отдельные фразы или,

вернее, обрывки фраз доходили до сознания. Да и трудно было бы их разобрать, не зная заранее, потому что каждый стих ектеньи, провозглашаемый дьяконовским басом, тотчас захлестывался волной хора: «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй!» Когда же бас явственно и громогласно выделил: «Еще молимся о богохранимой державе Российской и о спасении ея», когда и эти слова потонули в хоровом волнующем ликовании, спазм сжал мне горло, и Лиза, взглянув на меня в это мгновение, увидела, что по моей щеке проползла слеза. Как я понял, после этой слезы я стал для них ясен и бессомненен до конца, как если бы они сами. Дорога по дальнейшим ступеням была открыта.

— Я должен это иметь. Где взять, сколько стоит?

— Выход, Владимир Алексеевич, только один. Поехать сейчас в магазин, купить магнитофон и переписать эту пластинку на магнитную ленту. Можно будет слушать хоть день и ночь.

— Да, я сейчас же еду в магазин. Но послушайте... Эта сила... Как же она оказалась побежденной? Как она поддалась? Что случилось? Если бы я был частицей такой силы, я конечно, был бы готов за нее умереть, это само собой, но кроме того, я чувствовал бы себя счастливым человеком. Что же произошло, что русские люди...

Но тут зазвонила входная дверь. Кирилл бросился открывать.

— Сергей Митрофанович! Прошу, прошу. Познакомьтесь, писатель. Редактор газеты...

— Да мы, наверное, знакомы, — говорил вновь прибывший. Это вы меня не помните, а я вас хорошо помню. На совещании молодых в сорок седьмом году...

— Возможно.

— Над чем работаете, что новенького? А вы, Кирилл, что хотели бы показать?

Кирилл начал расставлять перед редактором газеты свои фотографии-картины такого размера, как будто это и правда были картины.

— Тобольск, — пояснил он, — ворота Сибири. Иртыш. «Покорение Сибири» Сурикова — это там. Потрясающая красота. Белокаменный кремль на высоком холме. Вокруг внизу деревянные дома — каждый имеет свое лицо. Чудо! — Но ведь это все старина.

— Я за ленинское отношение к наследию прошлого. Великий вождь нас учил...

Я не стал дожидаться конца разговора, мне не терпелось в магазин, где продаются магнитофоны. Пластинку я уже нес под мышкой, завернутую в газету Елизаветой Сергеевной и даже перевязанную веревочкой.

Недели две спустя у меня дома собралась большая компания. Как раз заседал комитет по присуждению Ленинских премий. Обычно, когда собираются писатели из республик по какому-нибудь случаю, вроде пленума, или вот комитета, или съезда, возникают в двух-трех домах такие ежевечерние компании. Соберет хлебосольный Стаднюк человек десять-пятнадцать, все больше своих «хохлов» — Гончар, Новиченко, Зарудный, Загребальный, Земляк. Примкнут к ним белорусы, скажем. Танк и Бровка, да еще из донских казаков Калинин с Закруткиным...

У Симонова в это же время грузинская группа — Ираклий Абашидзе, Карло Каладзе, Бесо Жтенти, Иван Тарба. В соединении с ними могут быть Камил Яшен, Мирзо Турсун-заде из Средней Азии. Где-нибудь у Грибачева соберутся Прокофьев, Кочетов, Бубенов и другие «автоматчики». Когда же и пообщаться писателям, если не во время мероприятия, собирающего их в Москве.

Я тоже поговорил с одним, послал записку другому, и собралось у меня вечером в чем-то однородное, но в чем-то и пестрое застолье. Конечно, все были славяне. Олесь Гончар, Леонид Новиченко, Петрусь Бровка, Максим Танк, Михаил Алексеев, Николай Грибачев, Виталий Закруткин, Иван Стаднюк... Всех теперь и не вспомнишь.

Но уже тогда становилось ясно, что славянин славянину рознь.

Яшин тоже русский мужик, и по духу, может быть, ближе мне многих приглашенных сюда, но с этой компанией был бы несовместим. У Симонова он был бы приемлем, как и я сам. Но Симонов здесь, у меня, не прошел бы, хоть и здесь тоже не разные ли люди: Гончар и Грибачев? Но барьер несовместимости пока не возник. Могут сидеть в одной компании. Я у Симонова мог бы сидеть. В другом составе я и к себе мог бы его позвать. Ну, скажем, так: Симонов, Тихонов, Дудин, Сурков, Корнейчук, Гамзатов... Но тогда уж при этом составе не пришло бы в голову продемонстрировать во всеуслышание мою новую магнитофонную запись. Как будто все одинаковые, советские, из одного Союза советских писателей питомцы, но сколько разных тонких оттенков.

Есть закон — если за столом сидит больше семи человек, то стол начинает дробиться на разговорные группы, на разговорные очаги. Чтоб разговор за столом был одним и общим, не должно быть более семи человек. Закон. Но есть выход из положения. Надо тогда говорить самому, объединять всех, если не процессом общего разговора, то процессом общего слушания. Нечто вроде грузинского тамады, который объединяет же весь стол, заставляет всех и слушать и говорить на ту тему, которую он, тамада, привносит.

Но там дежурные темы, переходящие из застолья в застолье. Однако можно говорить и более целенаправленно, заставив людей задуматься, расшевелив их и даже вызвав энтузиазм.

За столом сидело более десяти человек. И уже вокруг Грибача начали проскальзывать словечки: «поплавок, поводок, мормышка, Шоша и Лама»; уже Алексеев что-то рассказывал Гончару про саратовского мужика Степана Стышнова; уже Закруткин показывал Бровке над полом, какой высоты у него дог...

Тогда я понял, что нужно объединяющее начало. Не бог весть какое я произнес слово, но все же, пока я говорил, было тихо, слушали.

— Может случиться, что на улице меня остановит милиционер. Остановит и спросит, кто я такой? Я покажу ему свои документы. Вот — паспорт. Имя, год рождения, место рождения. Вот удостоверение о том, что я член редколлегии «Литературной газеты». В дальнейшем я могу показать книги, которые я написал, и он получит полное представление о том, что я и кто я... Но если окажется, что все документы я забыл дома? Хорошо, в Москве можно справиться. Но бывали же случаи на фронте, когда человек без документов оказывался в расположении другой части и был обречен если не на самый худший исход, то на злые мытарства. Бывают, видимо, кульминационные, а может быть, трагические моменты в истории каждого народа, когда ему надо держать ответ, когда ему надо брякнуть своими документами, а кто же он такой, этот народ? Вот спросят меня за границей, кто я? Отвечу — русский.

— А что такое — русский?

— Ну... Русский — это Андрей Рублев, Лев Толстой, Достоевский, Чехов, Менделеев, Шаляпин,

Рахманинов, Чайковский.

При необходимости более подробного ответа можно напомнить и подробнее, что же такое русский. Это города: Москва, Петербург, Киев, Новгород, Нижний Новгород, Тобольск, Вологда, это Александр Невский, Минин, Пожарский, Бородино, Сергей Радонежский, Куликово поле, более свежая слава — Сталинград... Проще говоря, народ — это то, что он сотворил, создал, свершил за всю свою многовековую историю. Вот сидит Александр Терентьевич Гончар, Олесь Гончар. Кто он и кто его народ? Отнимите у него Котляровского, Шевченко, Ивана Франке, Запорожскую Сечь, отнимите у него «Реве та стогне Днипр широкий», отнимите у него Наталку Полтавку или удивительную песню «Скуковала занате зозуля», да и вообще украинскую песню, красивее которой я ничего не слышал на свете, отнимите у народа самого Олесь Гончара с Дмитрием Павлычкой, Максимом Рыльским, с Тычиной и Сосюрой... Или вот Петр Устинович, дорогой Петрусь... Я уж не буду распространяться о Янке Купале, о Якубе Коласе, но ваши полесские легенды, ваша «Лявониha», даже ваша мачанка...

Петрусь глядел замороженными глазами, как, впрочем, и Максим Танк, как и Гончар. Отвыкли они, что ли, от таких речей за столом? Но тишина наступила мертвая, гробовая.

— Так что же значит — лишит народ прошлого? Это значит раздеть его догола и выпустить без документов, без всякой одежки на холодный, жестокий ветер истории. Как же он докажет, кто он и что он? Но разве не то же самое происходит, когда наши великие города лишаются своего лица, когда забываются наши песни, когда к общему знаменателю приводится наш язык, приводится к среднеграмматическому, выхолощенному, бездушному языку. Лишит народ его прошлого — это значит оставить его без документов, выпустить его голым. Недавно в нашем селе — застолье, так называемая складчина. Сидят мужики и бабы, выпили, дело дошло до песен. А петь уже не умеют. Орут кто во что горазд. И это пение? Русское многоголосое пение, с верхами, с низами, с душой? Но народ, разучившийся петь свои народные песни, не теряет ли права называться уже народом, не превращается ли он просто в население данной страны? Я понимаю, что я говорю жестокие вещи. Но так ли уж я не прав? А выпить я хочу за то... Мы не мальчишки здесь, а, как говорится, — мастера культуры, так вот за то, чтобы ваши имена остались хоть буковкой, если не строкой, в том документе, который, может быть, еще спросится у народа в наиболее трагические моменты его истории!

Я понял, что от разговоров о рыбалке мы ушли на этот раз до конца вечера. Все вскочили, чтобы выпить за мой тост. Остался сидеть только Закруткин, и то со своей целью. Едва мы все чокнулись, как он забарабанил по столу двумя ладонями, изображая барабанную дробь и таким образом аккомпанируя сам себе. Вдруг высоко и уверенно взвилась лихая казачья песня. Алексеев, Стаднюк, не впервые сидящие с Закруткиным за одним столом, слаженно подхватили, и вот уже заколыхалось со степного кургана на степной курган конное войско, и степной волей повеяло со всех сторон:

Ах, что это за донские казаки  
Колют, рубят, ах, сажают на штыки.  
А кто первым до редута добежит,  
Тому крест, и честь, и слава надлежит.

Между куплетом со свистом в пальцы, с гиканьем (Закруткин в это время левой рукой продолжал барабанить по столу, а правую вскидывать вверх и как-то очень выразительно вертел там кистью, при том, что, сидя на стуле, ритмично подрагивал, словно ехал в седле), так вот между каждым куплетом со свистом и гиканьем обрушивался залихватский припев, подхватываемый, видимо, там, тогда, на Дону, всем едущим с кургана на курган войском. Изобразить этот припев на бумаге невозможно. Возгласы «э!» и «эй!» переливались один в другой, и все это вместе со свистом и гиканьем производило ошеломляющее впечатление. Куплеты Закруткин выводил один, задорно и уверенно, как и полагается казачьему запевале.

На редуте мы стояли как стена,  
Пуля сыпалась, жужжала как пчела.  
Э-эй, эх-э-эй (свист в пальцы), жги, коли!  
Пуля сыпалась, жужжала как пчела.

Закруткин распелся, вошел в раж. Песня следовала за песней. Не успевала отзвучать печальная и протяжная «Поехал казак на чужбину далеку на верном своем на коне вороном», как нарастала торжественная, похожая на гимн и на самом деле бывшая донским гимном «Уж ты Дон, ты наша родина, вековой наш богатырь».

Но тут опять срывались на строевые, на боевые песни, и я не поверил своим ушам, когда сотряслись стены моей квартиры от невозможных, казалось бы, в советской действительности песенных слов:

Мы, донские казаки, Царю верно служим, Точим сабли и штыки, Никогда не тужим.

Всегда получается сверх ожидания. Все возбудились, воспряли, словно сила, которой рождены были пропетые песни, чудесным образом влилась в нас, оживила, объединила. Но у меня еще кое-что было на уме, к чему легко было совершить переход после песен Закруткина.

— Не хотите ли услышать настоящий хор донских казаков?

— Ростовский ансамбль песни и пляски?

— Да нет, хор донских казаков. Настоящих. Расписанных по станицам, но только живущих вдали от родины.

— Донские казаки живут на Дону. А те, что вдали... Это так, отребье.

— Так мы и Бунина с Шаляпиным запишем в отребье. Кроме того, что же их здесь ждало бы, если бы остались? Вы знаете, что чудом сохранился в архивах циркуляр Свердлова о так называемом рассказывании России, то есть о полном физическом истреблении донских казаков? Все после этих моих слов обратились к Закруткину, как бы ища у него опровержения (а может быть, и подтверждения, кто знает?) мною сказанного. Закруткин опустил голову.

— Да, это было. Самое страшное, что циркуляр этот был приведен в исполнение. Окружали ночью станицу...

— Кто окружал?

— Словечко ЧОН вам знакомо? Так вот, спецотряды ЧОНЫ, и окружали. Главным образом

латыши. Ну а коллективизация доделала остальное. Говорят, около двух миллионов казаков было уничтожено на Дону.

Я почувствовал, что хватил лишку. Грибач нахмурился. Новиченко сделал вид, что разговаривает с моей женой. Вот тебе и пульс! Только что показалось мне, что все они ожили, оживились, словно проснулись, словно брызнули на них живой водой. Пробудилось что-то в каждом драгоценное, свежее, настоящее. Но вот еще один шаг, и мертвенная маска стягивает живое еще минуту назад лицо, холодеет взгляд, цепенеют слова, умерщвляются чувства.

— Ну, ладно, не будем спорить, какие казаки лучше. Послушаем, как они поют.

Все же казачий репертуар Закруткина не был столь неожиданным. Во-первых, мало ли что — казачьи песни. Да и не впервые, наверное, Закруткин выступает с ними в застолье. Когда же обрушились первые волны великой ектеньи, а потом и великой панихиды, то быстрая смена эмоций шла по следующему порядку: недоумение, удивление, потрясение, восторг. Впрочем, правомочно ли применять слово «восторг» к восприятию великой панихиды? Пусть будет печаль, восхищение, благоговение. Но если поискать одно слово, то, пожалуй, самым подходящим было бы коротенькое слово «шок». «За Отечество на брани убиенных...» На главных словах Закруткин выбежал из-за стола, прижимая платок к глазам. Грибачев (самый ортодоксальный, самый правофланговый «автоматчик») первым разверз уста:

— А что? А? Если и тебе... И по твоей смерти... Такие же слова и такое пение...

Когда ошеломление немного прошло (для облегчения перехода выпили еще по рюмке), Петрусь Бровка заявил, что на него нахлынули воспоминания, и начал вдруг петь белорусские колядки.

Значит, сидит оно где-то в человеке? Через все собрания и совещания, через все тупые доклады, через всю вату наших статей и устных слов, через все премии и ордена, через всю свою писательскую и человеческую проституцию несет человек в глубине души крохотный огонек, искру духа, искренности, добра. И вот стоит только подложить к ней сухую травку, как занимается огонек. Вот он, пульс, пульсяга, о котором твердил Кирилл Буренин. Но неужели есть такие, что и совсем без пульса, совсем без искры, без надежды на огонек, законченные трупяги? Чаше мне потом приходилось сталкиваться с другим: все поймет человек, воспрянет, пустит слезу и... сделает решительный шаг назад. И сделает вид потом, что ничего не слышал и ничего не понял.

В каждом, в каждом, если это только не сознательные враги типа Урицкого, Менжинского, Свердлова и т.д., скажем так — в каждом русском человеке хранится в глубине живая искорка, вопрос лишь длительности оживления трупа, реанимации духа.

Один сразу открывает глаза и делает вдох, других придется оживлять в течение долгого времени.

Нам всем так понравились колядки Петра Устиновича, что тотчас возникло желание записать их на магнитную ленту. Но Петрусь посерьезнел, посуровел, согнал со своего лица доброе человеческое выражение, надел на него унылую, серую, мертвенную маску и сказал:

— Нет, я не хотел бы, чтобы это было записано.

Я теперь часто слушал хор донских казаков в магнитофонной записи. Возникали при этом воспоминания самого раннего детства, когда мать водила меня в нашу сельскую церковь. И свечи, и огоньки лампад, и золотистое мерцание икон, и церковный запах. Всего этого стало как бы не хватать, когда звучала церковная музыка. Я поделился своими переживаниями с Кириллом.

— Так можно сходить.

— Куда сходить?

— В церковь. Во время службы.

Эта простая мысль была для меня столь неожиданной, что, видимо, отобразилось что-то такое на моем лице, ибо Кирилл засмеялся и заговорил в своей обычной манере:

— Конечно, попустительство и недоработка советской власти, но в Москве осталось несколько очагов мракобесия, где сохраняется опиум для народа. Временно, конечно, из политических соображений. Чтоб иностранцы, туристы видели — у нас свобода религии, свобода вероисповедания. Я думаю, что оставлен один процент в масштабах страны, и даже меньше. Опиум, Владимир Алексеевич, опиум. Надо искоренять. «Религио» — значит объединяю, соединяю. Один смысл — соединяется человек с Богом, другой смысл — люди соединяются между собой.

— Я как-то даже не думал, что так просто можно взять и пойти, и услышать...

— Известно, что ваше поколение о многом не думало. А между тем вот сейчас можно и пойти. Как раз начинается служба. Едем в Коломенское. Наверное, и в Коломенском не бывали, Владимир Алексеевич? Ну да, все русское, подлинное — в последнюю очередь. В кино — да, на колхозную свиноферму за сбором материала для очерка — да, а до летней резиденции московских государей, чудом уцелевшей пока что, до островка Древней Руси — ряд не дошел. Хотя на такси это от центра — один рубль двадцать копеек. Едем. Мотор с собой?

Через Добрынинскую площадь, по Варшавскому шоссе, до развилки с Калужским, потом еще немного по Каширскому, и вдруг действительно стрелка — «Село Коломенское — 1,5 км». Тут пошли справа и слева деревянные избы, совсем утонувшие в вишневых да яблоневых садах, палисадники, переполненные сиренью, крылечки, ворота, прудик, куры, разбегающиеся от машины, — и все это где же? В Москве!

— Доживает последние деньки это село, — комментировал Кирилл, между тем как я удивлялся увиденному. — Ну, не деньки, несколько лет еще протянет, а потом будет уничтожено, скрыто бульдозерами. (15)

— Да кому оно мешает? Оставить бы в Москве заповедничек.

— Русский дух в центре Москвы? Как вы не понимаете, Владимир Алексеевич, можно ли допустить? Нет, это село обречено. Памятники архитектуры, конечно, оставят, те, которые мы сейчас увидим. Но обстроят их со всех сторон современными постройками и тем умертвят, превратят в макеты в натуральную величину. Сейчас Коломенское — это как бы летящая бабочка, яркая и прекрасная. Или сидящая на цветке. А будет оно, как бабочка, прищипленная булавкой на картонке в музейной коллекции. Запомните, Владимир Алексеевич, если и оставлено в России что-нибудь русское, ну, там Василий Блаженный, Суздаль, Киевская София, Новгородская София, Зимний дворец, Третьяковка, сам Кремль, то это все уже бабочки, приколотые булавкой на картон. Это все уже не живые организмы, а музейные экспонаты.

Все вишневые сады, крылечки, наличники, резные карнизы, слуховые окошки, зеленую траву, одуванчики, тропочки — все стереть с лица земли и залить асфальтом... Здесь направо... В ворота... А

вот и церковь. Казанская. Построена в честь взятия Казани Иваном Грозным. Машину оставим здесь.

Церковь стояла белосахарная, с ярко-синими куполами. Пять столбиков, пять куполов, пять крестов, поднятых в весеннее небо. Отверхая колоколенка, розоватая, теплая, стояла рядом. На черных старых деревьях галдели черные птицы. Небо, зеленовато-прозрачное, поило землю прохладным весенним воздухом. Вся эта картина по состоянию своему пахнула на меня такой Россией, что замерло сердце, а тут еще на колоколенке ударили в колокол. И хоть ударили негромко, шепотком, чтобы слышно было только около церкви, но тем не менее зазвонили и меньшие колокола, воспроизведя, шепотком же, настоящий перезвон. Как же получилось, что я прожил в Москве столько лет и впервые вижу и слышу все это?

Женщины в черном и в платках, как в заправдашной России, в заправдашной Москве, крестились перед церковными дверями и поднимались вверх по ступенькам паперти. Пошли и мы. И уж плыло нам навстречу из открывающихся дверей то самое пение, которое, как мне показалось, существует только на грампластинках парижского производства. Лиза открыто и четко перекрестилась, переступив порог. Кирилл шел сзади меня, и я не мог видеть, перекрестился ли он. Что касается меня, то мне бы и в голову не пришло креститься. Писатель, член КПСС, да и вообще... Ни внутренне, никак я не был готов к этому жесту. Кирилл потом мне выговаривал так:

— Есть установленный обряд, порядок. Садясь за стол, полагается снимать шапку. Приходя в чужой дом, раздевайся около дверей и снимай галоши. Заведено. Встречаясь с другим, здороваешься, говоришь «добрый день», прощаясь, говоришь «до свидания». Точно так же при входе в храм полагается перекреститься. Ты можешь не ходить в гости, но если пришел — снимай галоши. Ты можешь не ходить в церковь, но если переступил порог — перекрестись. Может быть, ты презираешь людей, к которым ты пришел, но галоши снимаешь. Ты можешь не верить и вообще быть членом редколлегии журнала «Наука и религия», но если заходишь в церковь...

— Видимо, для меня этот жест больше, чем просто жест. Пока что я на него не имею права. Так я чувствую. Внутренне к нему я не готов. И напрасно ты сравниваешь это со снятием галош в прихожей и с оставлением там же мокрого зонтика. Если я когда-нибудь и перекрещусь, то с полным сознанием и от чистоты сердца. А пока, извини, буду заходить в церковь как басурман, не крестясь. Да и многие ведь теперь так заходят...

В церкви было тесно и душно. Поверх плотно, друг к дружке стоящих людей, поверх платков и непокрытых мужских голов золотисто-парчово мерцали иконы, отражая в себе лампадные огоньки и жаркое пылание свечей, десятками стоящих в подсвечниках перед каждой иконой.

Не успели мы втереться в гущу толпы, как меня тронули за плечо. Женщина протянула свечечку и сказала: «Николаю угоднику». Я понял, что мне надлежит эту свечку передать дальше, с теми же словами. Вот я уже, оказывается, и соучастник действия, важная клеточка в организме и даже функционирую.

Некоторые подходили к иконам и, перекрестившись, целовали их, некоторые ставили свечечки, укрепляли их в гнездах подсвечников. Некоторые поднимали детей, чтобы те достали до иконы поцеловать. Некоторые опускались на колени, даже и в этой тесноте, и умудрялись класть поклоны до самого пола. Некоторые, сделав земной поклон, так и оставались в нем, не разгибаясь, пока хор радостно ликовал и ликующе славил.

Конечно, здесь не было той слаженной отчеканенной мощи, как на пластинке. Но ведь там все же оконцертненное церковное пение, записанное, наверное, в студийных условиях. А здесь все живое, подлинное, пусть не такое уж безупречное с точки зрения большого хорового искусства.

Дьякон, обернувшись к молящимся, что-то запел и, дирижируя, сделал рукой несколько жестов. И вдруг вся церковь, все находящиеся вокруг меня запели стройно и громко: «Верую... Во Единого Бога Отца Вседержителя...» Сильный, высокий голос (лирическое сопрано, что ли) выводил около моего плеча, пел с идеальным слухом. «И страдавша, и погребенна, и воскресшаго в третий день по Писанием...»

Я слегка повернулся, думая увидеть молодую красивую женщину (сообразно голосу), и увидел обыкновенную пожилую московскую тетку, которая толкалась бы теперь где-нибудь в очереди за колбасой да ругалась с продавщицей, что та чуть-чуть недовесила, либо с такой же другой теткой, норовящей пролезть без очереди. Но вот забыто про все. Вдохновенно глядит прямо перед собой и немного вверх и добавляет в общее пение свой чистый, несообразный с ее внешностью голос, выводящий слова, тоже несообразующиеся со всем, что происходит на много сотен верст вокруг этой маленькой беленькой церкви, устоявшей на окраине Москвы. «Исповедую едино крещение... Чаю воскресения мертвых...»

Люди пели, все пели. Выходило, что один я среди многих русских людей стою с замкнутым ртом, как бы посторонний элемент, инертное тело. Но сердце мое уже не было замкнутым. Я переживал одну из самых больших минут моей жизни.

... — Но послушай, Кирилл, если слово «монархия» обозначает идею централизации и укрепления народа, то почему же народ и выступил первым против этой идеи? Выходит, что он выступил против самого себя? Если самодержавие, православие и народность были едины, как условие процветания Российской империи, то почему же, ликвидировав самодержавие, народ принялся за ликвидацию православия и тем самым лишил свое будущее существование и самой народности? Что-то тут не все понятно. Какая-то неувязка.

— Во-первых, что вы понимаете под народностью?

— Ну, народ. Широкие массы. Крестьянство. Рабочий класс. Народ он и есть народ. А что еще можно под этим понимать? Интеллигенция как прослойка.

— Значит, пирог, что ли? Режь и ешь? Еще Достоевский в полемике со своими оппонентами (читай «Дневник писателя») возмущался, что под народом понимается только наиболее темная его, необразованная и невежественная часть. А мы уж будто и не народ?! — восклицал Достоевский. Но если мы культивируем идею народности, идею единства народного, почему же мы не народ? Народ есть единый организм. Возьми себя. Конечно, по количеству веса ты — это мышцы, вода и кости. Но лиши тебя какой-нибудь там железки весом всего лишь граммов в сто, и ты будешь уже не ты, хотя все твои восемьдесят килограммов веса останутся. Лиши тебя глаз, перережь какой-нибудь нерв, разрушь мозг. А есть ведь еще душа, которая вовсе уж не весит ни одного грамма, есть личность. Что же ее, эту личность, создает? Комплекс, Владимир Алексеевич, комплекс, где каждая клетка играет свою роль. Причем, и биологи это знают, каждая клетка, а их в организме тридцать миллиардов (Лисенок,



напиши на бумаге со всеми нулями), подчиняется единому нечто, о котором биологи ничего не знают. Тридцать миллиардов клеток, как одна, составляет Кирилла Буренина. Это народ. Если же лишить это единое и целое единства, получится гора тухлого мяса и костей. Конечно, организм живуч. Бывает, что вырежут у человека даже часть мозга или важные железы, а он продолжает жить. Но поверьте, это уже не тот человек. Но мы слишком ударились в биологию. Так вот, народ — это единое целое, с мозгом, сердцем и душой. Народ — это личность. Нелепо, что Кузьма Перепрыжкин или Марья Передряжкина из деревни... ну, хоть бы из Сысоевки какой-нибудь, нелепо, что они народ, а Достоевский уже не народ. А Кузьма Минин, князь Пожарский, Ломоносов, Скобелев, Пржевальский (назовем здесь сотни имен), что — они уже не народ? Матрена Свистунова — русский народ, а Гоголь не русский народ. Можно ли дойти до большей нелепости? Мясо — организм, мозоли на ладонях — организм, а белые кровяные тельца — не организм, но нечто чуждое и праздное? Да, существуют в организме элитные органы. Можно отхватить пол-ягодицы (два кило мяса, скажем), можно даже и ногу по бедро. Плохо, конечно, без ноги, но можно. Если же затронуть десять граммов мозговых клеток... Веками, веками нация накапливает свою элиту, свою думающую, руководящую часть.

— Да, это я понимаю. Точка роста. Дерево большое, огромное, тонна древесины. Сучья, веточки. Но есть у растения точки роста. Своего рода тоже элитная ткань. Самые-самые окончания этих ветвей.

— Пусть так. Значит, веками народ накапливает свою элиту, свою душу, свою, будь по-твоему, растущую часть. Всех этих Гёте, Вольтеров (хоть он и сука), Сервантесов, Шекспиров, Моцартов, Наполеонов, Бисмарков, Шопенов, Конфуциев, Омар Хайямов, Фирдоуси, Авиценн, Тагоров, Ганди, Шопенгауэров, Кантов, Менделеевых, Пастеров, Шаляпиных, Павловых, Андерсенов, Багратионов, Гамсунов, Дарвиных (хоть его теория оказалась вздором), Данте, Петрарк, Дюреров, Босхов, Рембрантов, Рубенсов... Но ведь не сразу же они получаются из пустоты. Во-первых, многоступенчатость процесса. Широкие массы, среда сельской интеллигенции, городская среда. Ведь алмазному кристаллу чистой воды надо же где-то образоваться. Нужна среда, атмосфера, климат. Общественный климат, интеллектуальный климат. Элита — высшая часть общества. Допускается ли, что там есть бездельники, тунеядцы, развратники? Допускается. Так же, как и внизу могут быть пьяницы, жулики, лентяи. Но дело не в том, что в высшем слое есть бездельники, а в том, что в этом слое откристиаллизовываются высшие духовные и интеллектуальные ценности.

Пушкин не мог откристиаллизоваться в тайге или в тундре, он мог откристиаллизоваться только в высшем слое своего времени, среди Жуковских, но и Онегиных (хоть Онегин бездельник и «лишний человек», как учат в школе), среди Чаадаевых, но и Печориных, среди Чацких, но и Фамусовых, среди Достоевских, но и среди Карамазовых. У Лермонтова какая среда? Бабушка-крепостница, гусары-разгульники, на балах «приличьем стянутые маски», но откристиаллизовался же в этой среде гений Лермонтова! Можно ли, значит, считать Пушкина частью народа, не считая такой же частью тот высший слой, который откристиаллизовал Пушкина (Лермонтова, Толстого, Блока, Некрасова, Тютчева, Дюма, Бальзака, Стендаля, Диккенса, Баха, Бетховена...). Есть и еще более категорическая, но гениальная формула. Она принадлежит, кажется, Бисмарку. Лисенок, подкинь!

Елизавета Сергеевна тотчас подкинула, оторвавшись глазами от фотографии, которую она ретушировала: «Нация — это единицы выдающихся личностей перед большим количеством нулей, благодаря которым нули и превращаются в многозначное число». Я не ручаюсь за точность, но почти точно.

— Во! Гениально! Нация — это число. Нули само по себе, сколько бы их ни было, еще не число, но когда впереди них возникают единицы великих личностей, сразу же получаются грандиозные числа. Единицы без нулей тоже лишь единицы, и нули без единицы лишь нули, но вместе они число! Значит, все дело в том, что народ един, и если кто-нибудь со стороны захочет ослабить какой-нибудь народ с тем, чтобы подчинить его потом себе и завоевать, то не было бы более верного способа, как подразделить народ на части, потом возбудить взаимную вражду этих частей друг к другу, а потом столкнуть эти части, чтобы они занялись взаимным истреблением друг друга. Тут уж подходи к этому народу и бери его голыми руками. То есть если народ един и неприступен словно крепость, то надо найти отмычку, чтобы эту крепость взять изнутри. И вот главное — натравить людей друг на друга. А потом только смотри и потирай руки. А когда они друг друга изобьют, входи в крепость и делай что хочешь.

— Кто должен делать?

— Ну, тот, кто стравил. Кто был заинтересован во взаимной резне. А может быть, и помог одной из сторон словом и делом. Кому это выгодно.

— Да кому же выгодно взаимное истребление народа?

— В этом все дело. Надо найти, кому это выгодно, и тогда обнаружится истинный виновник происходящего.

— Мудрено.

— Простейшая модель может быть и такова. Вот живет в светлом и крепком доме большая и благополучная семья. Пусть хоть крестьянская. Отец еще в силе, пятеро сыновей, у каждого сына по жене, свекровь, как полагается, дети. Попросился прохожий человек приютить его на несколько дней. Скромно попросился, где-нибудь около порога, чтобы его приютили, лишь бы тепло и сухо. Сидит он около порога и за всем наблюдает. Как работают, как едят, как друг с другом разговаривают. Вот идет мимо него один из сыновей.

— Иван, а Иван, — говорит ему странник. — Это твоя жена Марья-то?

— Моя.

— Красавица, молодая. А что это на нее старик-то поглядывает? Отец-то твой? Он на нее поглядит, а она сразу и покраснеет. И улыбается как-то странно.

— Ты смотри у меня, — замахивается Иван в сердцах. — Расшибу!

— Да я что? Я ведь ничего. Я только так. И нет ничего у них, сам знаю. Сдуру это я сболтнул, сдуру.

— Степан, а Степан! - Ну что?

— Отец-то твой...

— Что отец?

— Ивана-то больше любит, я замечаю. Разговор слышал. Сперва, говорит, Ивана отдели и лучшее поле ему отдам, а Степан подождет.

Тут мимо странника проходит жена Ивана, в общем, выпал им случай поговорить наедине.

— Марья, а Марья!

— Ну что?

— Степанова жена-то поглядывает на твоего Ивана. Завидует она тебе. Оно и понятно. Степан-то вон какой хилый, слабый, а Иван у тебя — кремень. Вот она, значит, к нему и льнет. А ты остерегайся. Пелагея-то вчера за каким-то зельем к старухе Матрене ходила. Степановой жене, Пелагее, другое скажет:

— У Марьи-то платьев больше, чем у тебя. Видно, больше ее муж любит. А ты чем плоха? И работаешь, не щадя себя. Всем в отдельности нашепчет и наскажет:

— Обирает вас отец-то. Вы работаете, работаете, а денежки он в свою кубышку кладет.

— Так он же на хозяйство откладывает, на жизнь. Семья-то вон какая. Кормить надо.

— У тебя семья, у Степана семья, у всех семья. А денежки-то у старика. А кто его знает, на что он их копит. А вы имеете такое же право...

Ну, короче говоря, схема ясна. Через неделю в доме ни мира, ни семьи. Драки, кровопролития и убийства. Кого в больницу везут, кого на каторгу. После убитого мужа осталась Марья одна. Странник женился на ней и стал в доме хозяином. А может, и ее прогнал, беззащитную. А себе со стороны другую бабу привел. Хороша притча?

— Очень уж просто.

— А между прочим, по этой простенькой схеме происходили на земле все революции. И здесь тоже под крушение этой семьи можно подвести теоретический, социально-экономический базис. Ну как же! В рамках одной патриархальной семьи развилось пять самостоятельных семей. Рамки стали тесны. Рано или поздно ход развития должен был привести... Возникновение острых противоречий... Экономические факторы... Трактаты можно писать и защищать диссертации! И все же вздор, что нельзя было обойтись без вражды, без убийств. Можно было бы все эти экономические, социальные противоречия решить и мирным путем. Вот только страннику пришлось бы при этом идти дальше и остаться, как говорится, при своих. Все бы выиграли, а странник бы проиграл. При противной же версии все проигрывают, а странник выигрывает. Вот в чем корень, сердцевина всех революций.

— Но действительно общество должно обновляться, прогрессировать, и говорят, что прогрессирует общество путем революционных скачков.

— Говорят. Но кто говорит? Странники, заинтересованные в пожизне, стремящиеся все прибрать к своим рукам. Но это глупость и вздор. Скажи, общество времен Ивана Грозного отличается от общества времен Екатерины Великой? Общество Екатерины Великой отличается от общества Николая I? Общество Николая I отличается от общества Александра II? Шло непрерывное и неизбежное развитие. Шло то самое, что ты называешь неизбежным обновлением и прогрессом, ибо одно дело Ломоносов и Державин, Орлов-Чесменский и Потемкин-Таврический (не берем уже князя Курбского или Малюту), а другое дело Тургенев, Толстой, Некрасов, Аксаковы, Скобелев. А третье дело — Блок, Гумилев, Шаляпин, Серов, Врубель, Нестеров, Бунин, Куприн да и твой кумир Маяковский (дореволюционный, имею в виду)... Есть прогресс по сравнению с временами Екатерины? При том, что не было никаких революций, массовых убийств, грабежей. Можно развить цепочку. Итак: время Алексея Михайловича Романова не похоже на время Петра Великого, время Петра Великого — на время Екатерины II и так далее, и так далее. Время 60-х годов девятнадцатого века не было похоже на начало века. Как время 60-х годов двадцатого века (не знаю, кто бы сейчас царствовал) не было бы похоже на начало двадцатого века, при том, что Россия сохранилась бы не обезглавленной, не обескровленной, не разграбленной. Наконец, напомним мысль Пушкина, а тоже ведь был не дурак, а гений. Гений или нет? Так вот, он сказал: «Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений политических, страшных для человечества».

— Ты хочешь сказать, что революция не была исторической неизбежностью, что в результате революции Россия была обезглавлена и ограблена, что и без революции Россия теперь ушла бы дальше вперед, идя вместе со временем, и что революцию спровоцировали некие «странники», которые и воспользовались потом кровавыми плодами своей провокации? Так ли я понимаю?

— Ты очень точно сформулировал основные положения. Скажу только, что то, что вы, Владимир Алексеевич, как верный ленинец, называете Великой Октябрьской революцией, на самом деле было государственным переворотом, устроенным группой заговорщиков, было насильственным захватом власти этой группой с последующим установлением невиданного в истории человечества массового, на десятилетия растянувшегося террора и с фактической оккупацией России.

— Но как же массы? Крестьянство и пролетариат? Пламя революции охватило всю страну?

— Это все красивые фразы, написанные или произнесенные задним числом. Седьмое ноября произошло в Петербурге, и только в Петербурге. Власть в то время в силу целого ряда обстоятельств и событий, которые мы потом разберем, валялась, как палка. Кто первый поднимет. Большевики оказались энергичнее и целеустремленнее других, это правда. Они первыми и схватили эту палку. Никто в России — ни широкие массы крестьян, ни рабочие какой-то там Тулы или Донбасса — не знал, что в Петербурге произошел государственный переворот. Власть была захвачена простейшей акцией ареста Временного правительства. А сделано это было с подачи самого Керенского, ибо зачем же он как глава Временного правительства вывел к 25 октября из Петрограда все войска? Проснувшись 26 октября (8 ноября то есть), Россия была поставлена перед фактом: власть в руках большевиков. «А что это такое? Кто это? Что теперь делать?» — «Чай, поглядим, что будет дальше. Дальше, чай, будет видно». Пока мужики чесали в затылке и ждали, во все губернии были посланы комиссары, представители новой власти с неограниченными полномочиями сажать, стрелять и давить. Кое-где, конечно, заранее были припасены и местные верные люди. Притягательными оказались некоторые лозунги, лживые все до одного. И первый из них — конец войне. Штык в землю. Мир хижинам, война дворцам. Заметим, что сам лозунг какой-то импортированный, родившийся черт знает где, либо в человеке с нерусским складом ума. Почему «хижина» применительно к России, где все больше избы, избышки? Но это я так, попутно. Так вот, война действительно надоела. А тут еще пустили слухок, что в деревнях уже делят землю. Солдатики-мужички и бросились с фронта, как бы не прозевать. Но главное, конечно, что надоела война за четыре года. Солдаты на это клюнули.

Но что же произошло на самом деле? Довоевывать солдатам оставался один год. В 1918 году Германия была побеждена союзниками. В Европе наступил мир. Наступил бы мир и для России, если

бы солдаты не поддались на провокацию. Из-за этого недоеванного года солдаты оставили фронт, разбежались по деревням. Но их вскоре опять призвали, уже в Красную Армию, и им пришлось воевать до 1921 года. То есть четыре года лилась кровь вместо одного года, и сколько крови! На германском фронте столько бы и не приснилось. Не говорю уже о том, что там убивали русские немцев и немцы русских (что само по себе, конечно, тоже плохо). Здесь же пришлось убивать своих, то есть пошло массовое истребление коренного населения России путем гражданской войны, концлагерей и просто массовых убийств без суда и следствия в каждом (в каждом!) городе и городишке России.

— Какие концлагеря? Вы что-то путаете. Концлагеря — это у немецких фашистов.

— Ваше поколение могло не знать, Владимир Алексеевич, но первый концлагерь на земном шаре был организован в России на Соловецких островах, на базе замечательного русского монастыря. Назывался этот лагерь «СЛОН». Соловецкий лагерь особого назначения. Вся особенность его назначения состояла в том, что он предназначался для истребления русской интеллигенции.

Что такое концентрация, ваше поколение, наверное, знает. Концентрация в одном месте какой-нибудь определенной части населения. По национальному признаку. По образовательному. По признаку партийной принадлежности, мало ли. Идея очень проста. Русская интеллигенция распределена, распылена по всей стране, по городам, а в большом городе — по своим квартирам. Надо сконцентрировать ее в одном месте. По признаку. Все русское, все культурное, все мыслящее, все, что говорит на нескольких языках, то есть все, что может критически взглянуть на происходящее в стране, осмыслить это происходящее и сделать выводы. Короче говоря, мыслящую часть населения. Но, заметьте, русскую мыслящую часть нужно сконцентрировать в одном месте. Образуется «СЛОН». Соловки. Лагерь особого назначения.

Но сколько людей может в себе сконцентрировать лагерь? Всего лишь несколько тысяч. Как же быть? Значит, надо эту часть населения, подлежащую концентрации, в лагере не держать, надо ее через него ПРОПУСКАТЬ. В этом и заключается идея концентрационных лагерей. Людей везут и везут. В лагере они исчезают и исчезают. Вот что такое концентрация. Лагерь, словно чудовищный магнит, настроенный на притягивание людей с безбрежных просторов страны по какому-либо характерному признаку. Можно настроить его на живую мысль, на патриотические чувства, на чувства национального достоинства, на критическую мысль... Получается как бы воронка, в которую втягиваются и исчезают в которой сотни тысяч людей.

При этом населению, широким массам, кажется, что просто сажают. Одного за то, другого за это. Но тот, кто сажает, знает, что сажают целенаправленно, по выбору, и что в результате этого сажания должны исчезнуть в стране определенные группы населения, будь то интеллигенция, духовенство, техническая интеллигенция, офицерский состав, купечество, земство... (16)

— Но при чем здесь «странники», пресловутые странники, то есть посторонние люди? Революция совершилась в Петербурге, но это же столица России!

— Октябрьский переворот 1917 года был подготовлен и осуществлен, если хотите, Интернационалом. На основе интернациональных теорий. Власть в России 25 октября 1917 года захватил Интернационал.

— Ну, знаете ли!

— Да, я знаю. Ваше поколение, наверное, не знает, что для совершения государственного переворота в России группа революционеров-экстремистов была привезена из Швейцарии через Германию в запломбированном вагоне. Германия ведь была заинтересована в ослаблении России. Эта группа через некоего Парвуса снабжалась большими деньгами, огромными, можно сказать, деньгами. На эти деньги и был совершен государственный переворот. А вот и список лиц, находившихся в запломбированном вагоне: В. И. Ленин с супругой, Г. Сафаров, Гр. Усиевич, Елена Кон, Инесса Арманд, Н. Бойцов, Ф. Гребельская, Е. и М. Мирингоф, Сквонно Абрам, Г. Зиновьев (Апфельбаум) с супругой и сыном, Г. Бриллиант, Моисей Харитонов, Д. Розенблюм, А. Абрамович, Шнейсон, М. Цхакая, М. Гоберман, А. Линде, Айзентук, Сулишвили, Равич, Погосская. Возьми составы первых ВЦИКов, первых Совнаркомов, имена, первых вождей. Сейчас почему-то, хотя бы и к празднику, не принято вспоминать, кто входил в эти составы, и газеты первых лет революции в Ленинской библиотеке получить труднее, чем газеты прошлого века. Но докопаться можно. Поинтересуйся. Там же нет, почти нет русских людей, если раскрыть, конечно, псевдонимы вроде Свердлова, Литвинова, Войкова, Троцкого, Зиновьева, Каменева, за которыми и скрывались первые захватчики власти. Конечно, были на каждые десять человек один-два русских, хотя бы из приличия, хотя бы для вывески, чтобы не так уж сразу бросалось в глаза и било в ноздри. Ну, там Молотов (Скрябин), ну, там Калинин. Но это были, во-первых, жалкие единицы, во-вторых, и роли им отводились тогда вспомогательные, жалкие. Вот именно ради вывески. Напечатают в газете бородатый портрет, напишут под ним — «Всесоюзный староста». Ну, мужики читают, чешут в затылке. Вишь ты, Калинин староста, значит, в обиду не даст. А кто же вершил дела?

Председатель ВЦИКа Свердлов, главнокомандующий армии, второе лицо в государстве Троцкий. Председатели ЧК, последовательно, Урицкий, Дзержинский, Менжинский. Ну, представьте себе: все три основных государственных рычага власти и подавления — ЦК, ЧК и армия — находятся в нерусских руках. Кто же, выходит, захватил власть в стране? А там идут Зиновьев, Каменев, Луначарский, Литвинов (Финкельштейн), Землячка, Володарский, Войков, Мехлис, Ягода, Косиор, Гамарник, Каганович... Я не могу упомянуть всех. Надо просто взять списки руководителей тех времен и внимательно их рассмотреть. Были, правда, и люди вроде Дзержинского, Сталина, Микояна. Но и не русские же, с другой стороны! У поляка Дзержинского были основания не любить Россию и все русское, в том числе и русских людей. Вы думаете, случайно ЧК с первого дня образования возглавляли только нерусские люди? Где-нибудь мог найти себе место и русачок-дурачок, вроде того же Калинина. Но ЧК? Нет! Это дело они передоверить другим не могли и занимались им самолично.

И все эти Розы Люксембурги, Карлы Либкнехты, Клары Цеткины, которые пытались одновременно захватить власть в Германии, Бела Кун, который должен был взять власть в Венгрии... Но там их всех успели скрутить, покидали в пролеты лестниц, а Бела Кун успел убежать к нам.

Знало ли ваше поколение, что ЧК первых лет революции, вся ЧК, кроме, может, рядовых часовых, состояла не из русских людей? Все! Понимаете, для чего это было сделано?

До сих пор ходит еще в ЦДЛ одна старуха, бывшая чекистка. (17) Как напьется, так и хвалится, что особенно любила расстреливать молодых русских девушек — гимназисток и чуть постарше, особенно

красивых. Лично уводила в подвал (хотя, как следователь, могла бы этого и не делать) и лично стреляла. Сам слушал ее. Пьяная, слюни текут из беззубого рта, хвалится: «Помню, красавица девка, коса до пояса. Поставила ее к стенке. Она мне плюнула в лицо, а я ей прямо в рот из нагана...»

Так вот эта старуха хвастается, что собственноручно застрелила 83 (восемьдесят три!) русских молодых красивых женщины. (18)

Стреляли без суда и следствия. Не надо было никакого преступления, чтобы быть пущенным в расход. Русский, университетское образование (не говоря уже о дворянском происхождении) — и разговор окончен. Крупный деятель тех времен Лацис учил своих подчиненных: «Не ищите доказательств того, что подсудимый словом или делом выступил против советской власти. Первым вопросом должно быть, к какому классу он принадлежит. Это должно решить вопрос о его судьбе. Нам нужно не наказание, а уничтожение».

Это не только в Москве на Лубянке. Но во всех городах, губернских и даже уездных. Мы теперь содрогаемся — инквизиция. Инквизиция сожгла за все время своего существования несколько тысяч человек. Да ведь это одно какое-нибудь Иваново-Вознесенское отделение ЧК!

А что творилось на Украине? Там все было отдано в руки молодому злобствующему Блюмкину. Это тот самый Блюмкин, у которого произошел известный инцидент с Мандельштамом.

— Какой инцидент?

— Конечно, ваше поколение не знало... Происходила в Москве пирушка, так сказать, победителей. Это только население сидело на голодном пайке, на вобле и на пшенной каше. А они пировали. Лариса Рейснер, сука, жила в особняке, держала слуг и купалась в шампанском. Значит, происходит очередной шабаш. Целый день убивали, убивали, убивали, надо же разрядиться. На шабаше присутствовал крупный чекист Блюмкин. Там же оказался поэт Мандельштам (кстати, спросим в скобках: каким образом оказался прогрессивный поэт в компании с чекистами? Наверное, Блок, Гумилев, Есенин не могли бы туда попасть?). Говорю — пир победителей. Пьяный Блюмкин расхвастался, вытащил пачку пустых ордеров на расстрел, заранее подписанных Дзержинским, и начал ими размахивать. «Вот здесь вся русская культура. Вот список...» И начал тут же из списка наугад заполнять ордера. Мандельштам будто бы не вытерпел, отнял у него ордера, разорвал и пожаловался Дзержинскому. Факт исторический.

Блюмкин получил нагоняй, но не за то, что пачками, без суда и следствия расстреливал русскую культуру, а за то, что расхвастался не к месту. Впрочем, какой там нагоняй — посмеялись, наверное, в конце концов. Так вот, этому-то Блюмкину отдали на растерзание всю Украину, и в первую очередь Киев.

Короленко сидел в Полтаве. Тихий городок. Вишни, ставочки, гуси на улице. Знает или нет ваше поколение, что существуют письма Короленко к Луначарскому? (19)

Мы сейчас спрашиваем иногда сами себя, как отнеслись бы к революции и к послереволюционным событиям такие подпилители и размыватели России, как Герцен, Чернышевский, Чехов? Не знаем. Вероятно, ужаснулись бы. Нет, знаем. Потому что Короленко успел увидеть и отреагировать. Тоже ведь — царский ссыльный. Борец. Демократ. Достаньте где-нибудь эти письма. Кровь и слезы. Он просит Луначарского остановить террор, прекратить пролитие крови. Какая наивность, какая святая простота. Он пишет, что тюрьмы забиты и что люди исчезают, а родным говорят: «Увезли в Харьков» (Харьков был тогда главным городом Украины). «Но все уже знают, — пишет Короленко, — что значит «увезли в Харьков».

Там шесть писем. Целая книга. И где же все это происходит? В Миргороде. В маленьком тихом городке. Что же происходило в самом Харькове? Что происходило в Астрахани, Саратове, в Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде? Что же происходило, можете вы себе представить, в Петербурге и в Москве?

Мы упомянули про Белу Куна. Герой венгерской революции. Есть книга о нем в серии «Жизнь замечательных людей». Но отчего-то там ничего не написано, что на его совести более семидесяти тысяч русских солдат и офицеров — только в одном Крыму. Правда, орудовал он вместе с Землячкой. Как только врангелевская армия ушла из Крыма, Бела Кун и Землячка оказались там с особой миссией. Многие русские офицеры из любви к России, к родной земле не захотели уезжать за границу. Будь что будет, остались на родине. Вышло предписание крымских революционных властей: «Всем офицерам зарегистрироваться на предмет их трудоустройства». Русские доверчивые дурачки обрадовались, толпами пошли регистрироваться. Их всех собрали и расстреляли. Около семидесяти тысяч. Сразу. Можете себе представить картину? А сделали это Землячка и Бела Кун.

Но, конечно, высшим актом бесчеловечности, жестокости, кровожадности было убийство царской семьи. Об этом кровавом событии написано много книг. Известно, что через неделю после убийства Екатеринбург заняла русская армия. Полковнику Соколову было поручено произвести расследование злодеяния. Существует его подробный отчет (по горячим следам), занимающий объемистый том. Есть воспоминания Жильяра, учителя французского языка, который находился вместе с царской семьей почти до последних дней. Есть множество и других книг, воспроизводящих событие в мельчайших подробностях. Сейчас принято все сваливать на местную парторганизацию, на какого-то Белобородова, не то Беловодова. Будто бы при приближении русской армии местная партийная организация своей властью, не спросив центра (было, де, некогда), решила ликвидировать царскую семью, боясь ее освобождения Колчаком. Это все вздор. Во-первых, ее могли бы из Екатеринбурга увезти в любой другой город России. Но вообще-то, когда семью перевезли из Тобольска в Екатеринбург и поселили в доме Ипатьева, назвав этот дом «Домом особого назначения», ее судьба уже была решена. Заметьте, все у них было «особого назначения». Лагерь особого назначения, дом особого назначения, части особого назначения, то есть ЧОНЫ, карательные латышские отряды. Но всегда за этим словом скрывалось только одно — смерть, кровь, противозаконие, без суда и следствия массовые убийства.

В Екатеринбург из центра были посланы с тайной миссией два отъявленных мерзавца — Юровский и Войков. Им-то и было поручено подготовить, а в удобный момент и осуществить ликвидацию царской семьи. Инструктировал Юровского лично Яков Михайлович Свердлов. (20) Случайно ли, что и город Екатеринбург называется теперь именем этого кровавого палача? Юровский сменил в доме особого назначения всю охрану (еще бы, до его приезда царь с этими солдатами играл в шашки) и поставил свою, конечно, латышей. И в ночь с шестнадцатого на семнадцатое июля 1918 года совершилось кровавое злодеяние.

Их разбудили в два часа и предложили спуститься подвал. Войков начал читать постановление Екатеринбургского губкома, а Юровский, не дождавшись конца чтения, вынул наган и начал стрелять. Впоследствии Войков, пьяненький, кричал, что простить не может Юровскому, что тот не дождался конца чтения документа и не дал возможности ему, Войкову, собственной рукой застрелить русского императора.

Их было там четыре царевны, наследник царевич Алексей, четырнадцатилетний мальчик, царица, приближенные. Их стреляли, докалывали штыками. Увезли на грузовике в лес, в заранее подготовленное место, и там, как мясники, расчленили трупы, жгли их на костре, применяли, кажется, даже и химию. Войков не зря был выбран на это дело. Он кое-что понимал в химии и как специалист мог пригодиться.

Так вот, Владимир Алексеевич, я отвлекусь. Этот Войков, ночной убийца, палач, был потом советским послом в Варшаве. Русские людишки, видимо, знали о причастности его к убийству государя и вскоре там его кокнули. Поделом.

Так кто же написал рыдательные стихи на смерть этого подонка? Ваш любимый поэт Владимир Владимирович Маяковский. «Зажмите горе в зубах тугих, волненье скрутите стойко, сегодня пулей наемной руки убит товарищ Войков».

Вопрос... Мог ли не знать Маяковский о причастности Войкова к убийству? Не мог. Маяковский общался с Бриками, а Ося был следователем ЧК. Значит, он сознательно рыдал по убийце государя, по убийце невинных детей и женщин. Каковы поэтические нравы! Найдем ли мы во всей мировой литературе другой пример, когда поэт (поэт!) воспевал бы убийцу, причем не какого-то там косвенного, нет, прямого, стрелявшего и разрезавшего на куски детей и женщин?

— Но почему разрезали и жгли, чтобы не оставалось даже и пепла?

— Всякое тайное, подлое убийство сопровождается заметанием следов. Кроме того, они боялись народа. Больше объяснить нечем. Они, захватившие власть и организовавшие чудовищный террор, чтобы эту власть удержать, прекрасно чувствовали потенциальную враждебность масс, всей притихшей, огромной, дышащей на них холодом, словно айсберг, России. Иначе чего же они боялись? Ведь и сообщение в газетах опубликовано было не в тот же день. Соображали, как сформулировать, как лучше преподнести, как ввести народ в заблуждение. Знали кошки, чье мясо съели. Я спрашивал, собирал сведения у пожилых людей. Мужики плакали, русские люди в разных городах плакали. Но то, что весь русский народ, понимаете, весь, весь, не поднялся сразу, как один человек, узнав о злодеянии, и хотя бы с вилами и топорами не двинулся на Москву, где заседали преступники оккупанты, это его позор, его предательство, за которое в последующие годы он заплатил десятками миллионов жертв, десятилетиями разнузданного насилия над собой, десятилетиями фактического рабства и унылой, серой, пайковой жизни, которая продолжается и до сих пор. Жестокая формула: «Народ имеет то правительство, которое он заслуживает».

— Ну, хорошо. Свердлов, Зиновьев, Урицкий, Каменев, Дзержинский, Луначарский, Юровский, Войков, Литвинов, Троцкий и прочие. Но Ленин? Ленин же фактически стоял во главе государства! Неужели он не видел, не понимал, не знал?

Кирилл посмотрел на меня странным, как бы оценивающим взглядом. Потом посмотрел на Елизавету Сергеевну, и та неуловимой почти мимикой лица (но все же понял и я) передала ему: «Не знаю, как хочешь, по-моему, можно». Кирилл опять посмотрел на меня, взял у Лизы ретушируемую ею фотографию, посмотрел на нее так и сяк.

— Вот здесь немного перестаралась. Здесь же придется выявить, только не очень грубо... Вы о чем-то спросили меня, Владимир Алексеевич?

— Да, спросил. Допустим, что кому-то, какой-то группе людей в интересах своего народа, будь то евреи или латыши...

— У латышей не было цели захватить Россию и власть. Как максимум у них была цель отделиться от России в самостоятельное государство, что и произошло после революции и продолжалось вплоть до 1940 года. Может быть, даже был тайный сговор с лидерами латышской нации: мы вам независимость, а вы нам отряды надежных карателей. Надо же было на кого-то опираться первое время. Русские матросики ведь, которые поддались соблазну побунтовать, вскоре поняли суть происходящих событий и восстали уже для того, чтобы сбросить большевиков, которым своими же штыками подарили власть. Так называемый кронштадтский мятеж — это те самые «альбатросы революции». Других ведь матросов ниоткуда взяться не могло. Это те же матросы, которые поняли, что же они наделали. Так что в каратели они уже не годились. Их после подавления кронштадтского мятежа просто всех перестреляли. Всех.

— Хорошо, у латышей была своя цель — отделиться от России, у евреев была своя цель. Но Ленин? Ленин же фактически стоял во главе государства. Неужели он не понимал, не видел, не знал...

— Не понимаю... — глядел на меня Кирилл своими голубыми глазами, в которых сквозило искреннее, как будто, недоумение.

— Ну как же? Допустим, что Блюмкину сладострастно было стрелять в русских людей, или той любительнице гимназисток, или Землячке с Белой Куном. Допустим, что Свердлов или поляк Дзержинский с тайным злорадством уничтожали цвет России, цвет русской нации. Я это теперь уже понял. Чем слабее народ, чем он серее, бескровней, бездарнее, глупее (по истреблению мыслящей и образованной части), тем легче потом с ним иметь дело. Но Ленин?!

— Что Ленин? Никак не пойму, что ты о нем спрашиваешь?

— Почему и он?

— Как это почему? По тому же самому.

— Теперь я не понимаю.

Лиза не выдержала нашей игры и лягнула без обиняков:

— Просто Владимир Алексеевич не знает, что в Ленине нет ни капли русской крови.

— Во-первых, — подхватил Кирилл, как бы сглаживая и смягчая потрясающую для меня новость, — Ленин был удобной фигурой. Как бы русский. Ульянов. Даже и дворянин. Больше доверия, больше симпатии, больше терпимости во всей стране. Ну как же? Там ведь Ленин, в обиду не даст. Ильич. А во-вторых, Лисенок права. Отец у Ленина был калмык, а мать... ее девичья фамилия Бланк. Всему миру известно, кроме вашего поколения. Это она. Бланк, натаскивала своих сыновей на революцию, на разложение России. Недаром же Александр Ульянов был террористом и был повешен, как вы думаете? После этого у Владимира Ильича примешалось и личное чувство — месть за брата. Эта

месть руководила им на протяжении всей жизни, это он приказал первым делом разрушить в Кремле памятник Александру II Освободителю и памятник Александру III около храма Христа Спасителя. Откуда бы такая животная ненависть? Это он обрек на разрушение величественный памятник победе над Наполеоном — храм Христа Спасителя, хотя этот ленинский завет, как и многие его заветы (а я бы сказал, этот акт вандализма), осуществлен уже после его смерти.

Ну что же, страна твердо идет по ленинскому пути, по ленинскому курсу.

Неудобно было ставить во главе России сразу Льва Давидовича Троцкого, то есть Бронштейна. Слишком резкий переход. Слишком бы обнажилась сразу суть происходящих событий. Ленин был тем удобнее, что с ним, сыном Бланк, всегда можно было найти общий язык. По той же причине, между прочим, они допустили после 1924 года к власти Сталина. Все же — не русский. А для диктатуры типа Троцкого время еще не пришло. Но со Сталиным они просчитались. До этого мы скоро дойдем... Так что вот ответ на наш прямой вопрос. Это был единый грандиозный интернационалистический заговор, рассчитанный на мировое господство. Недаром мировая революция не сходила с уст тогдашних большевиков. Но для осуществления своих глобальных целей им нужен был плацдарм, база, материальные ресурсы, человеческие резервы. Им нужна была страна, захватив которую, можно было бы распространить свою власть и свое влияние на весь мир. Маркс для этой цели указывал на Германию. Но обстановка впоследствии изменилась, и курс был взят на разложение и захват России. Все это, конечно, хитро прикрывалось фразами, даже как бы учением о мировой революции, о классах, о диктатуре пролетариата. Но подумайте, кто бы за ними пошел, если бы они прямо объявили о своих целях? То, что фактически пролетариат никогда не осуществлял в стране никакой диктатуры и как миленький стоял у станков и печей, об этом мы уже говорили и будем говорить вновь.

— Но нашлись ведь и русские...

— Даже когда страну захватывают открытые и откровенные оккупанты (армия соседней страны), находятся люди, которые начинают сотрудничать с захватчиками. Это происходит в каждой стране. Коллаборационизм. Во Франции были люди, сотрудничавшие с немцами, в Норвегии, в Греции — всюду. С монголами даже сотрудничали русские князья. Что же говорить про завуалированный захват страны? «Мы? Это вы! Это вы сами, трудящиеся, крестьяне, рабочие, захватили власть». Из этой формулы исключили интеллигенцию, ибо ее нужно было уничтожить в первую очередь, сразу. Мозг же! Вдруг догадаются. Так что нет, это вы захватили власть. А то, что мы у вас отбираем весь хлеб по разным там подразверсткам, то, что мы насильственно изымаем у вас золотишко, оставшееся от царского режима, то, что мы насильственно закрываем ваши церкви и насильственно загоняем вас в колхозы, — так это же вы сами делаете. А мы в Кремле только исполнители вашей воли. И лагеря вы организуете сами, и людей арестовываете, и стреляете их. Ну и хохотал же, наверное, Владимир Ильич, заложив свои пальцы за борта жилетки и закинув свою голову! Говорят, он хохотал очень даже весело и заразительно.

Ну вот, многие клюнули на эту формулу: «Вся власть рабочим и крестьянам» и пошли в сотрудники. Кроме того — сразу паек. Сразу — мандат. Сразу — наган. Сразу — привилегированное положение. В многомиллионном народе всегда найдется несколько тысяч, десятков тысяч недовольных, обиженных либо потерявших общественное положение людей, готовых на такое сотрудничество.

Когда выбирали сельского старосту, выбирали самого почтенного, уважаемого, рассудительного мужика. Если же он был и побогаче других, значит, его семья больше работала. А кто шел в эти самые коллаборационисты, в комбеды? Лодыри, пьяницы, которые в нормальной обстановке никогда не могли бы выйти в люди. И были бы обречены на вечное прозябание. Самый последний мужичонка в деревне (а в каждой деревне есть один-два таких мужичонки) становился вдруг самым первым.

Тут возможна и такая аллегорическая картина. Представьте себе, что люди бегут. Неважно, куда и с какой целью. Бегут. Есть лидеры, есть хорошие бегуны, есть и лодыри, инвалиды, неумехи. Вдруг приказ — всем бежать в обратную сторону! Вся толпа повернулась. Самые нерадивые неожиданно стали первыми. Прекрасно. Но ведь хорошие бегуны опять могут сравняться с ними и обогнать. Выход один — обуздать хороших бегунов, подавить их, не давать им забегать вперед. А проще всего — перебить. Лидеров-то не так уж и много. Перебьешь — в толпе никто и не заметит. Середнячки же сами смекнут, что не нужно лезть вперед, и все пойдет как по маслу.

Захватив власть, сразу стали действовать. Быстро, по нескольким направлениям. Одного направления мы уже коснулись — истребление наиболее мыслящих и вообще наиболее крепких русских людей. Тут сразу две цели. Во-первых, подавить, предотвратить возможное сопротивление, во-вторых, ослабить народ. Ведь на этот народ делали ставку в мировой революции, то есть не на сам народ, а на использование его как базы, как материального и людского потенциала. Им этот народ, эта страна нужны были не на два года. Значит, чем он слабее, тем легче будет им управлять, вертеть во все стороны. Ослабление началось истреблением элиты, интеллигенции, дворянства, купечества, духовенства.

— Но может быть, имея в подчинении сильный народ, легче было им осуществить свои глобальные замыслы? Логично ли было его ослаблять, этот народ?

— Дело в том, что им был нужен не НАРОД, а просто население, люди, миллионы людей, население страны и ее богатства. Населением управлять легче, чем народом. Именно народ-то им и надо было сокрушить. Они и начали это делать с первых часов своей диктатуры. Первая заповедь — если ты хочешь ослабить народ, лиши его прошлого, традиций, исторической памяти, преемственности поколений. Начинается массовое переименование городов, площадей, улиц, заводов, театров. Так всегда действуют оккупанты, как только хотят надолго обосноваться на захваченной территории. В первые годы было запрещено слово «Россия». Оно не употреблялось ни в устной речи (открыто, разумеется), ни в печати. Было запрещено слово «Родина». Вспоминаю фразу из статьи Оси Брика, критика и следователя ЧК, о стихах Анатолия Кудрейко. Он написал в двадцатые годы: «Этим стихам для того, чтобы быть полностью белогвардейскими, не хватает одного только слова — Родина». Итак, Родина — белогвардейское слово. России нет и как бы не было.. Родина и народ — слова одного корня, как вы понимаете. Значит, надо отучить от понятий Родины, Отечества, родной истории. Все начинается с 1917 года. До этого была тьма, хаос, невежество. Вообще ничего не было. Ах, как хотелось бы, чтобы ничего не было! Но, к сожалению, было, причем было великое, светлое, славное, которое крепко сидит в памяти народной. Значит, надо его из этой памяти искоренить, выжечь каленым железом, а если не выжигается само по себе, выжечь вместе с людьми.

Поэтому переименовываются города, разрушаются памятники славы, побед, наиболее выдающиеся здания, говорящие о великом наследии прошлого. Народ надо парализовать, превратить его в конце концов в послушное и вот именно парализованное, не способное к самостоятельным действиям население.

— Оса и златка, что ли?

Кирилл, не поняв, посмотрел на Лизу, переспросил:

— Какая златка, какая оса?

— Ну как же. Есть особая порода ос, и есть жужелицы — златки. Оса выбирает себе хорошую, крупную, жирную жужелицу (читай у Фабра) и наносит ей жалом три парализующих удара в три нервных узла. Жужелица лишается движения. Даже усиком не может пошевелить. И надо ее не убить, а только парализовать. Потому что, если убьешь, она моментально протухнет. Там, где водятся эти осы, жаркий климат. Будучи парализованной, она сохраняется свеженькой в течение недели. А это-то и нужно осе. Парализовав жужелицу, оса переворачивает ее на спину и на брюшке ее откладывает яички. Вскоре из них выводятся личинки. Они начинают пожирать жужелицу. Она живая, лежит, но не может пошевелиться, а они ее пожирают, выедают внутренности, чтобы вырасти, набраться сил, стать новыми осами, улететь.

— Гениально! Лисенок, ты слышишь? Это же точная модель! Да, Россия и есть та самая парализованная жужелица, златка, которая и видит, что ее пожирают, истощают, да не может пошевелиться. Парализована в нервные центры!

Да, так вот, пожирание началось сразу же. За тысячелетнюю историю Россией были накоплены сказочные богатства, сокровища. Они находились частью в музеях, но большей частью в монастырях, церквях, в дворянских и купеческих домах и даже в домах так называемых мещан, то есть обыкновенных городских жителей, и даже в домах крестьян. Конечно, несравнимо с богатыми домами, но все же в каждом доме имелись иконы, а среди них могли быть и древние, могли быть и за серебряным окладом, а это уже, согласитесь, ценность. Посмотрим последовательно, как это делалось.

Главные музеи страны, вроде Эрмитажа, Третьяковской галереи. Исторического музея, они на самых ранних порах не трогали, по крайней мере, явно. Фонды, может быть, и пошевелили, но история об этом умалчивает. (22) Но где лежало похуже, брали и музейную старину. Надо было поехать по городам, изучить, расспросить. На один характерный случай я натолкнулся. В Иваново-Вознесенске жил богатый купец Бурылин. Купечество к концу девятнадцатого века тоже перерастало уже в высший культурный слой. Сами знаете, Мамонтов с его Частной оперой, Морозов, Рябушинский с его уникальной коллекцией старообрядческих икон. Национальное самосознание среди русского купечества было развито к этому времени очень сильно. Из купеческого сословия лет через двадцать-тридцать пошли бы ученые, писатели, государственные деятели. Короче говоря, это сословие уже было готово к тому, чтобы питать мозг нации. Да и питало уже. Островский, Третьяков, Михаил Васильевич Нестеров — все из купцов.

Так вот Бурылин. Переписка с Толстым. Посылал ему мануфактуру вагонами. Вся толстовская вотчина была одета в бурылинский ситец. Этот-то Бурылин решил создать для города Иваново-Вознесенска свой музей. У него были редчайшие экспонаты. Системы, конечно, не было. Нечто вроде кунсткамеры, где вместе с русскими иконами — египетские мумии (но подлинные), а вместе с холмогорской резьбой по кости — японские нецке или, скажем, кресло из слоновой кости халифа багдадского. Иконы же русские были все за золотыми и серебряными окладами, украшенные драгоценными камнями. Собрание стоило многие миллионы рублей. Этот музей Бурылин подарил городу Иваново-Вознесенску, построив специально большой красивый дом.

Но вот великие перемены. В Иваново-Вознесенск пришло распоряжение отгрузить все экспонаты в Москву для демонстрации трудящимся столицы. Отгрузили. С тех пор они и исчезли. Я интересовался потом: может, в фондах Исторического музея сохранилось что-нибудь? Ничего. Куда же все делось?

— А там, в Иванове?

— Что ж в Иванове? Там музей в том же доме и даже упоминается, что его организовал Бурылин. Но вместо ценностей, вместо сокровищ выставлены почетные грамоты, да вымпелы соцсоревнования, да фотографии стачек и первых революционных рабочих. Ну, чучела еще птиц и зверей на тему «Природа родного края». Бурылинские же сокровища исчезли бесследно. Не думаю, чтобы это был единственный случай. Не может быть, чтобы не пощекотали фонды всех провинциальных музеев, изъяв из них золото, серебро, антиквариат, предоставив им выставлять кумачовые скатерти с фотокопиями. Или вот еще случай.

В звоннице Ивана Великого в Московском Кремле хранилась как называемая «Патриаршья ризница», то есть все сокровища, которые были накоплены патриархами всея Руси: подарки им, патриархам, за многие века и другими государствами, и русскими царями, монастырями, церквями. Надо полагать, что патриархи всея Руси держали в своей сокровищнице не китайские термосы. Там было и художественное шитье, и древние иконы, а главным образом золото и драгоценные камни в виде иконных окладов, риз, панагий, митр, чаш, крестов. По теперешним понятиям трудно сейчас и вообразить, сколько же стоила в переводе на деньги, не говоря уже о художественной, исторической и научной ценности, эта ризница. Так что же вы думаете? В один прекрасный день появилось в газете маленькое сообщенище, будто ночью вся ризница украдена. Подъехали, де, неизвестные лица на грузовике и все увезли. Это кто же в 1918 году в столичном Кремле, охраняемом латышами и специальными курсантами, мог приехать на грузовике и спокойно увезти патриаршью ризницу? Куда же смотрел «железный Феликс» с его ЧК? И почему же так и кануло все, как в воду, без попыток догнать, найти, раскрыть преступление?

— Но они уже были у власти. Логично ли воровать у самих себя?

— Логично. Полной уверенности, что продержатся долго, у них не было. Ведь была впереди еще вся гражданская война. Надо было успеть. А формула простая и даже благородная: «Если мы не удержимся у власти, то на дальнейшую революционную работу по осуществлению мировой революции нужны будут средства». Не так ли? Значит, надо, пока у власти, как можно больше этих средств запасти. И пошли русские сокровища в швейцарские банки и заграничные тайники.

Для того чтобы ограбить монастыри, был найден благородный предлог: помощь голодающим. Но, во-первых, голод в то время был инспирирован ими самими тем, что весь хлеб из деревень вывезли

насильственным путем. Мы об этом вскоре широко и обстоятельно поговорим. Во-вторых, в Троице-Сергиевой лавре были сосредоточены сокровища, которых было бы достаточно, покупая на них хлеб за границей, три года кормить всю Россию. Кадки жемчуга, бочки рубинов. Выгребли все подчистую. Почему же не прекратился голод? Если хватало одной лавры, чтобы накормить Россию, то куда пошли сокровища из сотен других монастырей? Недавно мне сказали, что из Юрьева монастыря в Новгороде была изъята в числе прочих сокровищ икона Знамения Божьей Матери, вырезанная на огромном изумруде. Где она, хотел бы я знать? Это ведь не иголка, должна же она где-нибудь быть — в Оружейной палате, в Историческом музее, вообще в государственных фондах? Ее нет нигде, исчезла бесследно.

Я думаю, немногим беднее Троице-Сергиевой лавры были те же Соловки, Валаамский монастырь, Киево-Печерская лавра, Оптиная пустынь, Почаевская лавра, Александро-Невская лавра, многочисленные монастыри Москвы.

Ограбленных монастырей были сотни, а ограбленных церковей десятки тысяч. Тот же благовидный предлог: борьба с голодом. Ну какой священник, епископ, митрополит будет возражать против борьбы с голодом? Пожалуйста, говорили, есть деньги, есть золото, пожалуйста. Но приходили в кожаных куртках, сдирали с икон золотые и серебряные ризы, сваливали их в кучу, комкали и уносили. Увозили, вернее, потому что это было тяжело и громоздко.

Существует секретнейшее письмо Ленина Политбюро, выдержки из которого стоит выписать. (23)

Итак, речь идет не о том, чтобы накормить голодающее население, а о том, чтобы воспользоваться инспирированным голодом и ограбить церкви и монастыри, присвоить богатства, накопленные Россией за многие века.

«Именно теперь и только теперь, когда в голодных местах едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем (и поэтому должны) провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной (Не бешеная ли собака это писала? — В. С.) и беспощадной энергией, не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления... Нам во что бы то ни стало необходимо провести изъятие церковных ценностей самым решительным и самым быстрым способом, чем мы можем обеспечить себе фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей (надо вспомнить гигантские богатства некоторых монастырей и лавр)... Взять в свои руки этот фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей (а может быть, и несколько миллиардов) мы должны во что бы то ни стало. А сделать это с успехом можно только теперь. Все соображения указывают на то, что позже сделать это нам не удастся, ибо никакой иной момент, кроме отчаянного голода, не даст нам такого настроения широких крестьянских масс, который бы либо обеспечил нам сочувствие этих масс, либо по крайней мере обеспечил бы нам нейтрализацию этих масс в том смысле, что победа в борьбе с изъятием ценностей останется безусловно и полностью на нашей стороне... Поэтому я прихожу к безусловному выводу, что мы должны именно теперь дать самое решительное и беспощадное сражение черносотенному (24) духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий. Самую кампанию проведения этого плана я представляю следующим образом:

Официально выступать с какими бы то ни было мероприятиями должен только тов. Калинин (Вот зачем понадобился в тогдашнем правительстве не единственный ли дурачок. — В. С.), — никогда и ни в каком случае не должен выступать ни в печати, ни иным образом перед публикой тов. Троцкий.

Посланная уже от имени Политбюро телеграмма о временной приостановке изъятий не должна быть отменяема. Она нам выгодна, ибо посеет у противника представление, будто мы колеблемся, будто ему удалось запугать нас (об этой секретной телеграмме, именно потому, что она секретна, противник, конечно, скоро узнает).

В Шуе (В маленьком городке Шуе верующие воспротивились изъятию церковных ценностей, — В. С.) послать одного из самых энергичных, толковых и распорядительных членов ВЦИК или других представителей центральной власти (лучше одного, чем нескольких), причем дать ему словесную инструкцию через одного из членов Политбюро. Эта инструкция должна сводиться к тому, чтобы он в Шуе арестовал как можно больше, не меньше, чем несколько десятков, представителей местного духовенства, местного мещанства и местной буржуазии по подозрению в прямом или косвенном участии в деле насильственного сопротивления декрету ВЦИК об изъятии церковных ценностей... Политбюро даст детальную директиву судебным властям, тоже устную, чтобы процесс против шуйских мятежников был проведен с максимальной быстротой и закончился не иначе, как расстрелом очень большого числа самых влиятельных и опасных черносотенцев г. Шуи, а по возможности так же и не только этого города, а и Москвы и нескольких других духовных центров... Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь прочесть эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать...»

Таким образом, основное золото России, основное ее серебро, основные ее жемчуга, рубины, бирюза, вообще драгоценные камни, находящиеся не в частных руках, были изъяты уже в первые годы так называемой советской власти. В это же время были вскрыты и распотрошены все царские гробницы. Есть точные сведения, что Свердлов и Луначарский лично присутствовали при вскрытии царских гробниц. Считалось, что с научными целями. Но почему бы не подождать немножко заниматься такой наукой, а заняться ею в более спокойное, мирное время? Нет, и здесь та же алчба, та же ненасытная жажда золота, драгоценных камней, сокровищ.

Досталась в руки богатейшая в мире страна. Мало ли было накоплено на Урале, на Ленских приисках, навезено из Индии, из разных заморских стран. Началось поспешное, жадное, безудержное ограбление.

Драгоценности, находящиеся в частных руках, изымались тремя этапами. Ну, дворянские и купеческие особняки были очищены в порядке насилия, и это было нетрудно сделать. Приходило несколько человек, опять же в кожаных куртках, производили тщательный обыск и все уносили с собой. Можете ли вы себе вообразить, сколько всего им тогда досталось? Потому что если какая-нибудь маленькая Шуя, или Рыбинск, или Владимир (а таких городов тысячи, не говоря уже о городах ранга Нижнего Новгорода, Самары, Костромы, Красноярска, Томска, Пскова, Киева), то в каждой Шуе все равно несколько десятков богатых купеческих особняков. А что такое купеческий особняк с точки зрения его содержания? Ого! Фарфор и картины, дорогая мебель и иконы, золото, драгоценные камни. Теперь прикиньте все это в масштабах страны, в масштабах России, и вы поймете, что это была за



акция, проходящая под официальным ленинским лозунгом: «Грабь награбленное».

Итак, монастыри и церкви, наиболее примечательные особняки и дома были опустошены. Но нельзя было грабить каждый дом, дом среднего достатка, обыкновенный русский дом, где все же по их тонкому чутью оставалось еще и золотишко, и серебро, и бирюза с гранатами, и топазы с аметистами, и бурмитское зерно. Тогда была придумана система «Торгсина». «Торговля с иностранцами» — так называлась эта система. Спрашивается только, кого же надо было считать иностранцами в этой странной торговле? Задача у «Торгсина» была одна — выудить у населения остатки золота и драгоценных камней. Для этого население крупных городов посадили на полуголодный паек во всех отношениях — и еда, и одежда, и какие-нибудь там духи. Карточки и паек. Вобла, колючий хлеб, пшенка. А рядом — пожалуйста. «Торгсин». Человеческая жизнь, как во всем остальном мире. Свежие колбасы, икра, шерстяные ткани, дорогие алкогольные напитки, тончайшая парфюмерия. Но только советские денежки не годятся. Нужно золото и драгоценности. И пошли русские женщины вынимать из своих ушей серьги, снимать с пальцев кольца, обдирать с икон серебряные ризы. Поговори сейчас с любым пожилым человеком — как, мол, было ли что-нибудь в вашем доме?

— Эхе-хе! — сокрушенно вздохнет пожилой человек. — И серебряные подносы, и серебряные кофейные приборы, и жемчужные ожерелья, и серебряные оклады, и гранатовые браслеты, мало ли всего.

Можете ли вы представить себе, сколько было снесено в масштабах страны, в масштабах России? И куда же все делось?

Осталась деревня, где «Торгсины» не действовали. Там этот вопрос решался гораздо проще. При помощи милиции брали мужика, сажали его в тюрьму и держали до тех пор, пока он не рассказывал, где у него спрятаны золотые. Много монет, может быть, и не было, но все же, поскольку золотые деньги свободно обращались в России, оседали они и в избах, ну, хоть по пять кружочков. А у кого и побольше. Находилась на каждую деревню по два-три мужика, у которых этих кружочков было по два, по три десятка. Мелочь, но в масштабах огромной страны?.. Впрочем, согласимся, что это было уже крохоборство. Но не могли, не могли они допустить, чтобы хоть где-нибудь уцелел золотой кружочек не в их руках!

Посмотрите, как быстро сместились все понятия. Черчилль как-то сказал: «Если большевики укрепятся в России, то начнется полоса таких насилий и такого беззакония, которых человечество не знало с начала своей истории». Примерно так. Разве мыслимо было еще несколько лет назад, чтобы в России сажали в тюрьму за то, что у человека есть золотые деньги? И насильно эти деньги отбирали. Не давая за это ни коровы, ни овцы, никакой компенсации. Отбирали так, чтобы человек радовался, что хоть остался жив.

И при чем здесь диктатура пролетариата? И при чем здесь рабоче-крестьянская власть? Ни пролетариат, ни крестьяне это отобранное золото и в глаза не увидели. Пролетариат сам до сих пор получает бумажные деньги, которые только условно называются деньгами. Наши бумажки не котируются, как известно, ни в одной стране мира. Даже и в Москве, проходя мимо магазинов для иностранцев, то есть мимо «Березок», пролетариат должен облизываться на нормальные, соответствующие двадцатому веку товары, которыми пользуется весь мир. Так удивительно ли, что свою жалкую трешку, с которой не сунешься в магазин с хорошими товарами, работяга без жалости пропивает около дверей в другие, невалютные магазины, скинувшись на троих. Вот и вся его диктатура.

Параллельно с изъятием ценностей шло уничтожение художественных, материальных и исторических ценностей уже не с целями грабежа, но просто ради уничтожения. Ради того, чтобы прошлое России, история России не напоминали бы о себе своей красотой, для того, чтобы искусство каменщиков не напоминало о гении народа, а исторические памятники о его славе, о его победах, о его пройденном уже в веках пути. Оголить народ, обезоружить его, ослепить, в конечном счете ограбить его, но уже эстетически, исторически — духовно. Народа быть не должно. Должно быть население. Не должно быть и ничего такого, следовательно, что напоминало бы народу о том, что он народ, да еще великий. Здесь надо оговориться. Процесс, о котором идет речь, перешагнул через 1924 год. Этот процесс продолжался и позже. Все дело в том, что Сталин, захватив власть в стране в свои единоличные руки, первую треть своего правления еще добросовестно и точно исполнял предначертания, которые ему достались от предыдущих правителей, и действовал еще по доставшимся ему планам. В частности, он осуществил план коллективизации, придуманный и разработанный Троцким, но этому свое время. А пока вернемся к тому, что по всей России прокатилась волна неслыханных и невиданных разрушений. Монгольское нашествие — светлый сон по сравнению с тем, что обрушилось на Россию.

Надо наметить несколько линий, по которым шло разрушение. Не по всем же линиям оно шло. Водокачки, например, паровозные депо никто не трогал, равно как и нефтяные вышки, железнодорожные насыпи, мосты через реки, хоть это все и досталось от «проклятого прошлого», было построено царскими инженерами, хоть транссибирскую железнодорожную магистраль закладывал лично Николай Александрович, цесаревич, будущий Николай II, который ездил для этого во Владивосток и вынул там для этого первую лопату грунта.

И пароходов, ледоколов царских не взрывали, а только переименовывали. Например, ледокол «Ермак» (кстати сказать, единственный в мире в то время) становился ледоколом «Красиным». Линкоры «Севастополь», «Гангут» и «Петропавловск» соответственно именовались «Октябрьская революция», «Марат» и «Парижская коммуна». Волжские купеческие пароходы с многочисленными разнообразными названиями превращались преимущественно в «Володарских» и «Урицких». Они шлепали колесами до недавних пор, а может, кое-где по какой-нибудь Печоре шлепают еще и сейчас.

Но вот почти в каждом селе (а уж в пяти-семи километрах друг от друга обязательно) по всей России стояли замечательные усадьбы, красивые, просторные дома, иногда более скромные, но все же с анфиладами комнат, с паркетными, с колоннадами и мезонинами, а часто — дворцы. Если накинуть хотя бы на европейскую часть России сетку с величиной ячейки, ну, пусть хотя бы в десять километров, то сколько же десятков тысяч получится этих усадеб, этих «ампиров», «русских классицизмов» или, может быть, не совсем стильных, но замечательных, красивых и дорогих домов? Тысячи и десятки тысяч. Они, во-первых, были действительно красивы и теперь определяли бы во многом наш пейзаж. Такой дом бывал окружен ухоженными парками, садами, цветниками, оранжереями, системами прудов. Поэтому сама земля производила впечатление (и производила бы

теперь) благоустроенной и ухоженной земли, в то время как сейчас она производит впечатление земли истерзанной и замусоренной.

Во-вторых, если их были десятки тысяч, если каждый дом стоил бы по теперешним ценам, ну, хоть тысяч сто, то получаются уже миллиарды.

В-третьих, в каждом доме стояла дорогая мебель, зеркала, висели люстры, были в обиходе фарфор, фаянс, бронза, старое стекло, изразцы, гобелены, иконы, часы, рояли, арфы. А все это новые миллиарды. (25)

В-четвертых, в этих домах хранились большие ценные библиотеки.

Надо сказать, что с точки зрения исполнительской тут поработали и сами русские мужички. Тут подчас ни латыши, ни евреи, никакие другие интернационалисты не участвовали. Конечно, в стране был создан соответствующий климат для разрушения и ликвидации этих усадеб. И климат этот был распространяем из центра, когда все эти ценности, вся эта красота были поставлены вне закона, так что кому только не лень, тот и мог их громить, грабить и разорять. Но непосредственные руки, которые прикасались к книгам, картинам, скульптурам и роялям, были чаще всего свои же, русские руки.

Не надо думать, что все эти усадьбы смела волна народного гнева, как это теперь хотят изобразить. Эти усадьбы пережили и момент революции, и гражданскую войну. Лишь постепенно дошел до них ряд. В самом деле — стоит на отшибе от деревни большой запертый дом, в который не составляет никакого труда проникнуть, разбив окно, а то и сорвав замок. Да уж найдется какая-нибудь лазейка. Опять же не шли всей деревней, но находилось два-три догадливых мужика, чаще всего лодыря и негодяя, которые делали первый шаг в разгроме усадьбы, воровали оттуда первые вещи. А потом уж начинался процесс, так сказать, выветривания, который продолжался до тех пор, пока не оставался на месте бывшего дома один фундамент.

Не так давно я побывал в Шахматове, бывшем имении Блока около Солнечногорска. Сожжение этой усадьбы с легкой руки Маяковского стало как бы символом революции. Помните, наверное, как Маяковский встретился с Блоком в Петербурге около костра в первые дни революции.

— Ну как? — это Маяковский спрашивает Блока.

— Хорошо, — отвечает Блок, а помолчав, добавил: — У меня библиотеку сожгли в усадьбе.

И в этом, дескать, весь Блок, его раздвоенность, его классовая неполноценность. Вот и выходит, что библиотеку и усадьбе Блока сожгла именно революция, то ли пролетариат, то ли его союзник — крестьянство.

Но я расспросил на месте и узнал, что Шахматово сожгли два брата — ворюги и пьяницы. Всего лишь. Таковые ворюги и пьяницы всегда найдутся поблизости, была бы усадьба, стоящая вне закона. Я заходил в дом этих ворюг (сами они теперь живут где-то в Москве) и обнаружил в их доме топчан, у которого ножки — это ножки бывшего блоковского рояля, а на дворе на стене висит от того же рояля дека. Зачем она понадобилась тем братьям, я не знаю, но висит она до сих пор.

В селе Жерехове близ Ставрова во Владимирской области дом XVII века некоторое время использовался под скотный двор. Во втором этаже в комнатах и залах с лепными потолками держали коров. Но сам дом уцелел, пережил критические годы, и теперь в нем устроили дом отдыха. Вместо коров в комнатах с лепными потолками живут и отдыхают трудящиеся.

В Орловской области, как мне рассказывали очевидцы, в дом с огромными венскими зеркалами затаскивали для потехи быка и располагали его так, чтобы он видел свое отражение в зеркале, а сзади махали красной тряпкой. Бык бросался сам на себя и на красную тряпку. Бесценные венские зеркала разлетались вдребезги к огромному удовольствию тех, опять-таки трех-четырех мужиков, которые захотели потешиться. В Рязанской области мне рассказали, что большую французскую библиотеку из усадьбы вывалили в овраг где она лежала и истлевала многие годы. Сельский учитель (это мне и рассказывал) взял себе два десятка книг и показал их мне. То были Вольтер, Руссо, Дидро, Расин, Мериме, Ламарк в прижизненных изданиях. Значит, если библиотека насчитывала несколько тысяч томов, какие же сокровища были вывалены в овраг?

Тут дело именно в искусственно созданном климате, распространившемся по всей стране и обусловившем уничтожение фантастических ценностей, которые нельзя теперь ни учесть, ни даже вообразить. Ведь владельцы имений никогда не давали отчета, какие картины и какие книги у них хранятся в родовых, с шестнадцатого и с семнадцатого века, имениях, они нигде не регистрировали своих библиотек и своих собраний. Климат обусловил гибель ценностей, где бы они ни находились.

Вот читаем про судьбу библиотеки из Владимирского Рождественского монастыря.

«В наши дни уцелела лишь часть книг этой библиотеки, в том числе и такие шедевры, как Лаврентьевская летопись. Вряд ли мы узнаем когда-нибудь, при каких обстоятельствах эта рукопись попала в далекое алтайское село. Здесь любили и ценили древнюю книгу. Крестьяне собрали большую коллекцию замечательных древних рукописей».

В качестве комментария надо пояснить, что речь идет, конечно, о староверческом селе. Именно староверы становились собирателями древних икон и древних книг. Что касается путей, по которым книги из Рождественского монастыря попали на Алтай, то догадаться нетрудно — монастырь был разорен. Серебро и золото изъято, а на книги и иконы тогда еще не было нынешнего вкуса. Они беспощадно уничтожались. В Нижнем Новгороде, в частности, сожгли несколько вагонов икон, собранных за Волгой — на Керженце и Ветлуге, после того как оттуда насильственным порядком выслали в Сибирь всех старообрядцев-кержаков. Могли, могли попасть книги из Владимира на Алтай. Но мы остановились на том, что крестьяне (крестьяне, а не графы и не князья) собрали большую коллекцию... «Однако острые социальные конфликты нашего века не пощадили уникальную крестьянскую библиотеку, разделенную к тому времени на две части. Сборник с материалами о Максиме Греке попал в ту часть старой библиотеки, из которой чудом уцелело несколько книг: они оказались внизу огромной кучи, лежавшей в сарае без крыши, нижние книги ушли под снег, и их не заметили, когда всю кучу увозили сжигать. Весной одна жительница села заметила оттаявшие книги и спрятала их... Хранительница спасенных книг была уже старухой, правда, обремененной болезнями, но решительной и строгой...»

Это все напечатано в журнале «Знание — сила» за 1975 год в статье кандидата исторических наук Н. Покровского.

Книги оказались бесценными. Но уточним некоторые положения статьи, расшифруем их для не очень догадливых.

Под «острыми конфликтами нашего века, не пощадившими уникальную крестьянскую

библиотеку», надо понимать коллективизацию, раскулачивание и насильственный вывоз старообрядцев из их села. Ничего другого здесь быть не может. Библиотека была разделена на две части. Куда делась одна половина, Покровский не говорит. По всей вероятности, сдана в утильсырье как макулатура. Вторая половина (не поместилась на подводе?) была свалена в сарай без крыши, где ее занесло снегом. Эти книги весной увезли и сожгли. Но несколько книг вмерзло в снег, что их и спасло. Женщина (решительная и строгая) подобрала книги и спрятала их. Теперь она их отдала Н.Покровскому, и они попали в книгохранилище. В каком виде?

«Часть ее листов склеилась в сплошной блок. В иных местах чернила на бумаге были уже почти неразличимы, на одном из листов, к нашей радости, оказалась дата — 1591 год».

Теперь скажите — где свет, где тьма? Кто в этой истории варвар и мракобес — религиозная старуха, подобравшая и сохранившая случайно уцелевшие и оттаявшие книги, или те представители советской власти, которые свалили уникальную библиотеку в сарай без крыши, а потом всю кучу, кроме нескольких книг, вмерзших в снег, увезли и сожгли?

Итак, десятки тысяч замечательных усадеб были уничтожены, а места, на которых они стояли, загажены и замусорены. Если бы мы совсем не имели никакого представления о том, что это были за усадьбы, не так бы, наверное, было жалко их теперь, не столько их самих (они-то бесчувственные дома), но ту страну, которая их потеряла, которую они украшали и облагораживали. Мы знаем о них не только из литературы и живописи, но и по немногим сохранившимся образцам. Ну, во-первых, знаменитые Горки, которыми пользовался, несмотря на ненависть к прошлому России, великий вождь мирового пролетариата.

Или посмотрите имение в Долгопрудном, в котором располагался Лев Давидович Троцкий. Шереметьевский дворец в Останкине или Юсуповский в Архангельском, конечно, выделялись и тогда своим богатством, но такие усадьбы, как, скажем, тютчевское Мураново или тургеневское Спасское-Лутовиново, были не только обыкновенны, но и заурядны. И вот ходим мы по Муранову, восхищаемся паркетом, канделябрами, всей обстановкой, и не спохватываемся, что именно таких усадеб были десятки тысяч.

Кое-где уцелели сами дома. Там устроен в нем санаторий, там детдом, там колония для малолетних преступников, там интернат какой-нибудь — это бывает. Но эти дома не дают уже никакого представления о том, какими они были и что вместе с ними утрачено нашей страной, нашей землей, нашим народом. (26)

Вторая линия — монастыри и бесчисленные церкви. Начнем с Москвы. И сделаем небольшое отступление. Недавно в одном журнале я прочитал любопытную статью о делах и порядках в Конго, в африканском государстве, образовавшемся, как известно, недавно и только еще становящемся на ноги. Как перед каждым новым государством, да к тому еще и африканским, перед Конго стоят разные трудные задачи, и какая же в первую очередь? Оказывается, государство создано, но население его еще не чувствует себя нацией, у него нет еще чувства национального единства, национального самосознания. Хорошо знающий положение в Конго, умный и думающий журналист пишет:

«Сегодня в Африке пытаются создать нацию «сверху», не дожидаясь возникновения объективных условий. Другого пути нет. Иначе можно попасть в заколдованный круг. Чтобы сделать резкий скачок в экономике, покончить с нищетой, голодом, африканским странам необходимы огромные усилия. Это возможно только при общенациональном напряжении сил и таком сплочении людей, которые просто нереальны без наличия нации. В этих попытках ускорить ход событий нет ничего от суетного тщеславия. Это необходимо. Поэтому-то в Африке сейчас заняты поисками любых стимулов, способных помочь единению людей. По-своему важны даже символы, олицетворяющие государство».

Прекрасная и четкая мысль! Чем выше национальное самосознание у народа, то есть чем больше он народ, тем он сильнее. Чтобы стать сильными даже и экономически, в молодом государстве стараются искусственно прививать это самое национальное самосознание, общенародное единство, ищут любые стимулы. Важны даже символы.

А если у народа уже сложилось на протяжении веков национальное самосознание? Если у него есть уже символы, олицетворяющие его единство, его славу, его силу? Что же нужно делать для того, чтобы народ разъединить, разобщить, лишит единства, притупить национальное самосознание и вообще ослабить? Очевидно, нужно ликвидировать как стимулы, так и символы. Значит, все, что национально, скажем еще точнее, все, что ярко национально, все, что есть у этого народа самобытного, непохожего на других, все, что определяет его лицо и лицо земли, которую он населяет, облик его городов и сел, все, чем мог бы он гордиться, все, глядя на что, он мог бы радоваться в сердце своем, что это вот его, кровное, исконное и своеобразное, — все это надо как можно скорее уничтожить, чтобы не напоминало, сделать безликим, ординарным, не говорящим ни уму, а главным образом, ни душе, ни сердцу.

Если в молодом африканском государстве проводится искусственное национализирование населения с целью укрепления государства, то в России началась искусственная денационализация, по прямой логике — с целью ослабления народа.

Самым ярким городом с точки зрения национального своеобразия была Москва. На нее-то и направились главные разрушительные усилия.

Рассказывают, что некий Заславский, назначенный главным архитектором Москвы, ездил в автомобиле с секретарем, колеся по московским улицам наугад, и на все, что ему бросалось в глаза, показывал пальцем, а секретарь, сидящий рядом, помечал в записной книжке. Что же могло бросаться Заславскому в глаза? Церкви, конечно, златоглавые церкви и златоглавые московские монастыри.

— Это. Это. Это. Это. Это! — коротко бросал подонок и гад Заславский, а секретарь помечал. И вот, как по мановению руки этого Заславского, на месте удивительных храмов XVI и XVII веков образовались чахлые скверики и пустые площадки. Сотни (!) взорванных московских церквей, да еще десятки оставленных «на потом», брошенных на произвол судьбы, то есть на медленное разрушение и умирание. (27)

Творящие это прекрасно ведали, что творят. Архитектор Щусев, видимо, уже почувствовав, что грозит Москве, говорил: «Москва — один из красивейших мировых центров, обязана этим преимущественно старине. Отнимите у Москвы старину, и она делается одним из безобразнейших городов».

Большинство памятников старины сносили внезапно, быстро, главным образом ночью. То есть взрывали их ночью, а уж кирпич разбирали потом на глазах у безмолвных, безответных, поруганных и

вот именно парализованных москвичей.

Впрочем, иногда возникали маленькие, жалкие, наивные дискуссии даже и в газетах. Вот образец. «Вечерняя Москва», 23 мая 1927 года.

#### «О КРАСНЫХ ВОРОТАХ»

Московские архитекторы предлагают перепланировать площадь. Что говорят в М.К.Х.?

В субботу в «Рабочей Москве» было напечатано сообщение о том, что группа московских архитекторов разрабатывает вопрос о переносе Красных Ворот на территорию близлежащего Лермонтовского сквера.

Возможен ли этот новый вариант разрешения спора о Красных Воротах?

Один из крупных архитекторов академик А. В. Щусев говорит по этому поводу следующее:

— Я думаю, что проект переноса Красных Ворот в другое место нецелесообразен.

Красные Ворота — несомненно, ценный памятник старины. Они представляют особую ценность именно на своем месте на возвышенной площади. Все же если вопрос будет состоять в том, перенести их в другое место или уничтожить, то, разумеется, придется примириться с тем, что они будут установлены в Лермонтовском сквере.

С другой стороны, я глубоко убежден, что лучшие московские архитекторы согласились бы безвозмездно принять участие в конкурсе на перепланировку площади с сохранением Красных Ворот. Конкурс, несомненно, выявил бы много интересных предложений, которые позволили бы Моссовету оставить Красные Ворота.

Являясь мертвой точкой на площади, Красные Ворота, после перепланировки площади ни в коем случае не будут мешать движению. Зам. зав. М.К.Х. товарищ Домарев также относится отрицательно к переносу Красных Ворот в Лермонтовский сквер.

— У нас, — говорит т. Домарев, — есть уже одно аналогичное предложение. На днях в М.К.Х. поступило письмо нескольких инженеров НКПС, которые в целях освобождения площади предлагают перенести Красные Ворота и здание НКПС, расположенное на углу площади.

Однако ни это предложение, ни то, о котором сообщает «Рабочая Москва», нас не устраивает.

Поскольку есть соответствующее постановление Московского Совета, вопрос можно считать решенным: через несколько дней мы приступим к сносу Красных Ворот».

Обратили ли вы внимание, между прочим, на робкий и заискивающий тон выдающегося русскою архитектора Щусева и на безапелляционный, наглый, диктаторский гон зам. зав. М.К.Х. т. Домарева?

Красные Ворота, Триумфальная арка, Сухарева башня, Страстной монастырь, Симонов монастырь... Четыреста двадцать семь уничтоженных бесценных памятников, из которых каждый, кроме всего прочего, стоил бы теперь (даже если продать на распиловку в Америку) миллионы и миллионы.

Один из воротил тогдашнего архитектурного мира и вообще Страны Советов Н. Гинзбург давал в руки разрушителей национального облика Москвы прекрасный рецепт, поскольку нельзя все же было взорвать половину Москвы. Ну, четыреста памятников куда ни шло. Но ведь задача была стереть с лица Москвы даже признаки национального своеобразия. И вот он, хитрый, но более того, подлый рецепт. Цитирую точно по журналу «Советская архитектура», номер 1 — 2 за 1930 год.

«Мы не должны делать никаких капиталовложений в существующую Москву и терпеливо лишь дожидаться естественного износа старых строений, исполнения амортизационных сроков, после которых разрушение этих домов и кварталов будет безболезненным процессом дезинфекции Москвы».

Дезинфекция от кого, от чего?! — хочется не просто спросить, закричать. От русского духа, от национальных черт, от бесценной исторической старины, от русской славы и красоты. «Москва, Москва, люблю тебя, как сын, как русский, сильно, пламенно и нежно...» «Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось...»

Видно, считал Гинзбург, достаточно будет русскому и звука, то есть одного названия, а саму Москву щадить нечего. Уничтожить прекрасный, единственный в мире, уникальный город, поставив на его месте город средневропейский, без лица, без роду и без племени. Подлая и хитрая «выдумка» с естественным износом и с исполнением амортизационных сроков. Стоит только несколько лет не прикладывать к зданию рук, как оно теряет внешний вид, превращается в обшарпанную, грязную завалюху. Тогда можно подвести хоть кого угодно к этому зданию, показать и спросить: «Это мы должны сохранять? Но это же завалюха! А решение напрашивается само: убрать!»

Так, именно по рецепту Гинзбурга, стояло обреченным и заброшенным все Зарядье — пригоршня жемчугов, рассыпанных на тесном пространстве на берегу Москвы-реки. И никуда это Зарядье не годилось, кроме как на снос. Придумали на его месте построить гостиницу «Россия». По случайности, по недосмотру ли, промыслом ли божьим (да и время немного переменялось) несколько жемчужин, обросших за десятилетия коростой, грязью и пылью, сохранили около гостиницы, отмыли, оттерли, и все ахнули: красота-то какая! Где же раньше она была? Тут же и была. Но только «доходила» по рецепту Н. Гинзбурга до той кондиции, «когда разрушение этих домов и кварталов будет безболезненным процессом дезинфекции Москвы».

Так пусть же знают русские люди, потомки наши, если все еще они будут чувствовать и считать себя русскими людьми, что взрывали в Москве не завалюхи, а несравненные по красоте и своеобразию храмы, точно такие же, как Никола в Хамовниках, как церковка на улице Чехова, как любая уцелевшая церковь. Да еще надо учесть, что Заславский, когда ездил в машине с секретарем и кидал ему через плечо: «Эту. Эту. Эту. Эту. Эту!» — руководствовался точно теми же соображениями, как и садистка ЧК, которая вводила в подвал на Лубянке молодых русских женщин.

Чудом уцелел Василий Блаженный. Когда в Кремле разглядывали макет Москвы и прикидывали, что бы еще сломать, Каганович взял макет собора Василия Блаженного и спрятал его в карман. Сразу все увидели, как свободно стало в конце площади, как удобно и просторно будет трудящимся уходить с демонстрации. Стоило бы Сталину сказать тогда: «А что, товарищи, по-моему, Лазарь Моисеевич прав», — и судьба собора решилась бы тотчас. Но Сталин промолчал. А тем временем Ворошилов толкнул в бок Кагановича: «Поставь, Лазарь, поставь на место». Лазарь и поставил. И спасся чудом этот собор.

Но не спасся другой памятник русской славы и красоты. Ходят слухи, что Лазарь Моисеевич (по

другой версии Хрущев) нажал на рубильник, когда замыкали цепь. Этот храм Россия строила сорок два года. По проселкам ползали телеги, собирая по копейке и по рублю. Не то чтобы у казны, у царя не хватило бы денег построить еще одну церковь в добавление к десяткам тысяч церквей. Но был дополнительный смысл в том, чтобы построен был храм на всеобщие народные деньги. Памятник пожару московскому и изгнанию Наполеона из Москвы. Внутри храма на сценах были выбиты золотом по мрамору имена всех павших во время войны с Наполеоном. Сурикову после окончания академии предложили двухгодичную заграничную стипендию для совершенствования мастерства, но он отказался ради того, чтобы расписывать храм Христа Спасителя. Самое высокое здание в Москве. Колокольня Ивана Великого помещалась бы в его интерьере. Красота, народная память, святость.

Кто же меня убедит в том, что взрывали его будто бы мудрые и культурные люди, заботящиеся о благе народа, страны, а не хулиганы, глумливцы, не бандиты, не варвары, не случайные захватчики власти, ненавидящие захваченную страну и подмявшие под себя одурманенный пустыми лозунгами народ?

Короток, ограничен человеческий век. Не дожить, не увидеть. Но легче было бы умирать, провидя, как на месте омерзительного, пахнущего хлоркой лягушатника, источающего в центре Москвы свои зеленые сернистые пары, рано или поздно опять поднимется сверкающая белизной и золотом громада храма. Что точно так же, как взрыв Храма Спасителя явился апогеем и символом разрушения и насилия, высшей степенью унижения русского народа, точно так же его возрождение на старом месте явится возрождением, воскресением России.

Москвой, конечно, не ограничились. В каждом городе и городке было разрушено большинство церквей. Казань и Каргополь, Самара и Астрахань, Ярославль и Тверь, Воронеж и Тамбов, Торжок и Звенигород, Вологда и Архангельск, Вятка и Царицын, Смоленск и Орел... Не надо перечислять. Всех без исключения городов коснулось каленое железо, выжигающее красоту и силу русского духа. В каждом городе без всякого преувеличения погибли десятки церквей, и пусть — повторим — потомки не верят басням, что взрывали церкви, не имеющие художественной и исторической ценности. Все было наоборот. Достаточно назвать златоверхий Михайловский монастырь в центре Киева с бесценными византийскими мозаиками XIV века, уничтоженный бесследно, до последнего кусочка смальты, до последнего камешка. В какой бы город вы ни приехали, вы увидите, кроме взорванных (которые увидеть, естественно, уже нельзя), обезображенные, грязные, неприглядные, доходящие по рецепту И. Гинзбурга многочисленные храмы, равно как и старинные особняки, памятники архитектуры. Прибавим к городским сотни тысяч уничтоженных сельских церквей и колоколен, тогда картина всероссийского разрушения и поругания несколько прояснится для нас.

Современным коллаборационистам кажется, что они уже не коллаборационисты, а самостоятельные носители своих уже теперь идей и что их правление — самостоятельное, независимое правление, исправляющее некоторые ошибки и перегибы прошлых десятилетий. Но это наивное заблуждение. Идеи 1917 года, привнесенные в Россию извне, продолжают управлять ими, словно марионетками. Процесс разрушения России продолжается. Так, к моменту прихода к власти Хрущева в России оставалась двадцать одна тысяча действующих церквей, к моменту его ухода осталось лишь около семи тысяч. Знаменский собор на Сенной площади в Ленинграде был взорван (главный архитектор Ленинграда Т. Каменский) не в начале 30-х, а в шестидесятые годы! Огромный собор на центральной площади Брянска взорвали в 1969 году. Да вот, не угодно ли, выдержка из заметки саратовской газеты «Коммунист» от 26 декабря 1960 года. Заметка подписана неким Е. Максимовым, заведующим историческим отделом музея краеведения. Не знаю, право, кто этот Е. Максимов — сознательный злоумышленник и продолжатель дела Заславского, Гинзбурга, Кагановича или слепой и наивный коллаборационист. Итак:

«Саратов славится своими церквами, их было около семидесяти... В годы советской власти площадь изменила свой облик. Церкви снесены. На этом месте разбит красивый сквер с фонтаном и детскими площадками, напротив него выстроен большой многоэтажный дом. В перестроенном здании одной из церквей находится Нижневолжская студия кинохроники».

Так вот, заметочка, опубликованная в 1960 году, называется великолепно: «Ничто не напоминает о прошлом». Между прочим, и декорация та же самая. На месте церкви сквер, детская площадка. Будто нет места в Саратове для детских площадок! Знаем мы и по Москве эти чахлые скверы с нерастущими почему-то деревцами, эти детские площадки с кучей притоптанного песка и дешевыми качалками из железа. Но почему же детскую площадку не разбить рядом с прекрасным памятником старины да и просто с красивым сооружением, а обязательно на его месте?

«Ничто не напоминает о прошлом». А ведь народ без прошлого все равно что дерево без корней. О том, что прошлое у народа отнимали вполне сознательно, продуманно и систематически, непонятно только тупицам вроде зав. историческим отделом Саратовского музея Е. Максимова.

Торопились, торопились, конечно, в первую очередь рубить корни у коренного народа в государстве, то есть у русских, имея в уме, что потом дойдет ряд и до остальных. Но все же, походя; не забывали и младших братьев. Отобраны насильственно, являющиеся принадлежностью национального костюма, кинжалы у всех кавказцев — азербайджанцев, дагестанцев, грузин, у народов Северного Кавказа, у кубанских и терских казаков. Ох и боялись же народа, если, имея танки, отбирали даже кинжалы! Воистину знали кошки, чье мясо ели. Сломаны все мечети и минареты. Как-то само собой, в силу общественного климата нарушены национальные одежды всех бывших народов, нивелируются под средний пиджачок, среднюю шляпу и кепку. Создается враждебная атмосфера вокруг обычаев, обрядов и праздников. Национальное остается только в радиопередачах (в малых дозах) да еще в ансамблях песни и пляски. Но ансамбли легко со временем распустить, и останутся одни пиджаки. Таким образом, дезинфекция шла широким фронтом по всей стране. (28)

Отряхнув с дерева плоды и проредив крону до той степени, чтобы дерево жило, но не цвело, надо было подрубить и ослабить корни, ибо известно каждому садоводу, что если крона обеднена или даже совсем растерзана бурей, например, а корней полно и они глубокие, то начинают переть побеги и вскоре на месте одного сломанного дерева зашумит целая роща. Корни — это крестьянство. Особенно для такой обширной хлебопашеской и в то же время преимущественно деревенской страны, как Россия.

Если вам попадется в руки стенограмма XII съезда партии, проходившего в 1921 году, а она была издана отдельной книгой, так что достать ее все-таки можно, то советую вам ее прочитать. Два основных доклада, политический — Ленина, хозяйственный — Троцкого. Троцкий говорил примерно

так: «Кто считает, что социализм и принуждение это разные вещи, тот ничего не понимает в социализме. Со стихийной Русью пора покончить. Мы должны организовать население в трудовые армии, легко мобилизуемые, легко управляемые, легко перебрасываемые с места на место. Эти армии должны работать по методу принуждения. А чтобы принуждение для них не было столь тягостным, мы должны быть хорошими организаторами. Сопротивляющихся принуждению мы должны карать, а подчиняющихся поощрять системой премиальных, дополнительной оплатой, повышенной пайкой хлеба».

Яснее как будто уж и не скажешь. Заметим также, что все это говорилось в присутствии Ленина и, надо полагать, с его ведома. Так что сваливать теперь на позднейшие перегибы по крайней мере наивно.

Эта идея трудовых армий, работающих по принуждению, вскоре обрела две формы: лагерей и колхозов. В самом деле, что же такое были эти лагеря, вмещавшие в себя до двадцати миллионов человек, если не трудовые армии, работавшие по принуждению? И разве два принципа: карать (дополнительным сроком, карцером, смертью) и поощрять (дополнительной пайкой хлеба) не нашли своего там воплощения? Разве не эти многомиллионные армии осуществляли все наиболее важные и трудоемкие стройки страны? Беломорканал, канал Волга — Москва, канал Волга — Дон, город Воркута и его шахты, город Ухта с его нефтепромыслами, Магадан с его рудниками, Караганда, Балхашский медный комбинат, железные дороги и гидростанции, заводы и жилые дома... Не знаю уж сколько, но думаю, что около 90 процентов построенного за годы советской власти построено трудовыми армиями, принявшими форму лагерей, колючей проволоки, бараков, нар, полуголодных паек, жесточайшего режима, нечеловеческого обращения. Мог ли Троцкий желать «стихийную Русь», когда изобретал эти трудармии? Могли ли желать эту Русь впоследствии его наследники, формально вроде бы открестившиеся от него, но фактически продолжающие осуществлять разработанные им планы?

Меня всегда удивляло, когда спрашивали в те времена о том или ином человеке: «За что его посадили?» Господи, да ни за что! Надо было сажать, потому что трудовые армии на безбрежных просторах любимой Родины требовали постоянного пополнения рабочих рук.

Можно вообразить даже такую ситуацию. Снизу, откуда-нибудь с Колымы идет сигнал — не хватает трех гидротехников, двух инженеров-строителей, пятерых сварщиков. Следует приказание Берия — найти и доставить. На другой день в разных городах арестованы три гидротехника, два инженера-строителя, пять сварщиков. А люди недоумевают, за что же их посадили. Недавно А. Волкогонов, имеющий доступ к самым секретным архивам, опубликовал запрос начальника одного строительства к Л. М. Берия. Запрос был приблизительно следующего содержания: в связи с расширением строительства прошу организовать еще один лагерь на пять тысяч человек.

Или такая ситуация. В Ухте закончили постройку драматического театра, а трупы нет. Есть труп, но жиденькая, не соответствующая помпезному зданию. Значит, надо усилить труп...

Вероятно, если речь шла не о редких специальностях, а просто о рабочих руках, и было все равно кого посадить, того или этого, вероятно, имели значение и политический анекдот, и неосторожное словцо, и какой-нибудь факт биографии, дабы одновременно с поставкой рабочих рук в трудармию выполнялась и вторая задача — изъятие инакомыслящих, свободомыслящих, короче говоря, людей с пульсом. Но главная задача была — просто люди, просто руки, рядовые труженики трудармии, называвшиеся в обиходе «зеками».

Если Туполев был сам «зек» и руководил огромным конструкторским бюро по строительству самолетов, где все, как и он, были зеки, и если это бюро начинало вдруг испытывать нужду в специалистах, неужели людей сажали за что-нибудь, а не просто потому, что они были нужны?

Сталкиваясь по случаю с оросительными системами в Киргизии около Пржевальска и на Дону около хутора Веселого, я обратил внимание на странный в то время для меня факт. За поливку земель колхозы должны были платить большие деньги — кому бы вы думали? Министерству внутренних дел. То есть, значит, МВД буднично выступало в роли обычной фирмы, производящей работы и берущей за эту работу деньги.

Градостроительные, дорожностроительные, каналокопающие трудовые армии приняли форму лагерей, действительно легко мобилизуемые, легко управляемые, легко перебрасываемые с места на место, а главное дешевые. Труд в этих трудармиях ценился, конечно, не дороже, чем на проклинаемых в наши дни сахарных и прочих плантациях так называемых колониальных стран.

Но что было делать со стихией крестьянства? Как можно было миллионы мелких, инициативных, самостоятельных, индивидуальных хозяйств превратить если не в легко перебрасываемые (этой не терпит характер земледельческого труда), то, во всяком случае, в легко управляемую трудовую армию, разделенную на мелкие подразделения. Для этого было нужно:

1. Отобрать у крестьян землю из личного пользования,
2. Отобрать у них средства производства, то есть лошадей и весь инвентарь.
3. Лишить их возможности пользоваться результатами своего труда, то есть все выращенные ими продукты труда отбирать, а им выдавать по строгой мерке.
4. Приучить их выходить на работу одновременно, по звонку, и уходить тоже по звонку, точь-в-точь как в лагере или на плантациях, то есть всюду, где труд не свободен, а принудителен.
5. Лишить их всякой инициативы, так чтобы крестьянин не знал даже, что он будет делать завтра, даже после обеда, а делал бы только то, что велит ему бригадир.
6. Максимально затруднить уход колхозников в город и вообще на сторону.

Всем этим требованиям и отвечала форма организации труда под названием колхозы. Эта форма была выдумана Троцким, а осуществлена Сталиным. (29)

В 1929 — 1930 годах, можно сказать, мгновенно все крестьяне России были мобилизованы и объединены в единую огромную трудовую армию, подразделенную на колхозы с централизованным подчинением через МТС, а также через районные и областные партийные организации.

Сотни крестьян подчиняются одному председателю, десятки председателей подчиняются одному секретарю райкома, десять секретарей райкома подчиняются одному секретарю обкома. Секретари обкома подчиняются известно кому... Вниз через эту систему пошли инструкции и указания, как сеять, что сеять, когда сеять, сколько сеять. Вверх по этой системе пошел хлеб и другие сельскохозяйственные продукты.

Но мы говорим сейчас не о производительной стороне колхозной системы, а о том, что и сами-то

колхозы нельзя было бы организовать, не истребив предварительно самую инициативную часть крестьянства, его элиту, выросшую за десятилетия свободного крестьянского труда, если считать с 1861 года. Истребление этой головной, а в ином аспекте корневой части крестьянства совпадало со смежной, а может быть, даже более главной задачей подрубить и ослабить корни народа как такового, о чем у нас, собственно, и идет речь. Отряхнув плоды, проредив крону, пора было приниматься за глубокие корни. Эта задача была решена предельно просто и с жестокостью, на которую способны только вот именно захватчики, расправляющиеся с чужим народом. Шесть миллионов крестьянских семейств было насильственным путем в холодные зимние месяцы изъято из деревни и выброшено на окраины государства, а фактически ликвидировано.

Цифры, страшные сами по себе, часто оставляют нас все же холодными и безучастными, не потрясают нас до глубины души. Однажды в газете «Правда» проскользнула фраза о том, что в стране в таком-то году не реализовано 100 тысяч рационализаторских предложений. Все прочитали и остались равнодушными. Володя Дудинцев взял одно из ста тысяч, раскрыл его в романе, и все содрогнулись.

Шесть миллионов крестьянских семейств много, конечно. Но если бы показать в хроникальном кино историю одной только семьи, только некоторые сцены, которыми сопровождалась ликвидация этих миллионов, то и не надо было бы никаких Шекспиров с их трагедиями.

Увозили из родных изб в метели, с детишками, даже и грудными, на полустанках заставляли сидеть по нескольку дней в ожидании товарных составов, товарные вагоны набивали так, что можно было только стоять, и по сибирским да вологодским морозам везли по многу дней. Многие умирали на этом первом этапе. Концентрировали в закрытых полуразрушенных монастырях, в северных и сибирских городишках. Отделяли крепких мужиков (для Беломорканала и Магнитки) от жен, стариков, детей. Теми, кто дожил до весны, набивали ледяные баржи и по две-три недели сбрасывали вниз по Оби, заворачивали в приток ее Васюган, а там, в тайге (опять же тех, кто выжил в баржах), высаживали, давали один топор на пятьсот человек и оставляли на верную голодную и холодную смерть. Короче говоря — ликвидация.

Устрашенные незаконным выселением по разверстке, которая повторялась несколько раз, так что уж трудно было отбирать для выселения, не к чему уж было и придраться, мужики были загнаны в колхозы, у них действительно отобрали землю, лошадей, орудия труда. Запретили колхозам иметь свои мельницы. Это чтобы не мололи сами муку, а были поставлены в полную зависимость от государства. Лишили колхозников паспортов. Это чтобы не могли убежать. Но когда почувствовали, что наиболее крепкие хлебобобовые места, вроде Украины и Поволжья, еще глухо бродят и смирились не до конца, инспирировали голод в этих местах, нарочно вывезли весь хлеб, а на границах поставили кордоны, чтобы голодающие люди не могли разбрестись по соседним областям. В результате этого инспирированного голода на Украине и в Поволжье вымерло около 12 миллионов человек. Это был уже 33-й год, когда начинали уже звучать песни типа «Жить стало лучше, жить стало веселее». Михаил Алексеев свидетельствует, что у них в большом саратовском селе Монастырском вымерло две трети населения, что мальчишками они то и дело натыкались в траве на неубранные смердящие трупы односельчан. Михаил Алексеев рассказал мне и другой замечательный факт. Одна из их сельчанок, жившая в Ленинграде, стала посылать в свое село отцу с матерью посылки с сухарями. После третьей посылки ее вызвали куда надо:

— Вы почему посылаете в деревню сухари?

— Да говорят, что там с голоду люди умирают.

— Вы что, хотите сказать, что у нас в стране голод?

— Я не знаю, голод ли, но люди с голоду умирают. Сестра уже умерла, сноха умерла, мать уже не встает...

Женщину арестовали и отправили в лагерь. Интересный факт рассказал мне переводчик и поэт Семен Липкин. В то время он ехал на курорт через голодную Украину. Вышел на перрон на какой-то станции. Повсюду лежат голодные люди, некоторые уже и мертвые. По мертвым ползают тощие ребятишки. Мимо всего этого Липкин подошел к витрине с газетой «Правда». В глаза ему бросилась большая статья Максима Горького, правдолюбца и гуманиста. Статья называлась «О характере советской игрушки». (30)

И дело было вовсе не в кулаках, если называть таковыми наиболее крепкие крестьянские хозяйства — основу российского земледелия. В царской России было зарегистрировано около миллиона таких крепких хозяйств, которые можно было назвать кулацкими. Причем первоначально это слово вовсе не носило отрицательного смысла. Кулак — это ударная часть в конструкции человека. Ведь от слова «удар», «ударить» сумели теперь произвести «ударник», «ударный труд» — нечто почетное и достойное. Без всякой натяжки можно сказать, что кулаки были ударной частью крестьянства, это были крестьяне-ударники. (31) Но Бог с ним, с термином, с ярлыком. Повторяю, что в России было около миллиона таких ударных хозяйств. (32) Откуда же взялись еще пять миллионов, подлежащих ликвидации и фактически ликвидированных? Дело было не в кулаках, а в процентах. Высчитали социологи, мыслящие люди, что, чтобы превратить крестьян в бессловесную, покорную массу, в единую трудовую армию, надо уничтожить не менее десяти процентов всех крестьян. Тогда остальные будут легко подчиняемы и мягки как воск. Они будут парализованы, так что можно будет делать с ними все, что захочешь. И пошли вниз разверстка за разверсткой. Столько-то хозяйств на область. Разверстали и вывезли. Спускают еще. Скребут в затылке уполномоченные вместе с местными коллаборационистами, кого бы еще наметить. Ходят по списку карандашами, сверху вниз и снизу вверх. Наконец ставят галочку напротив какой-нибудь фамилии. И вот фамилии уже нет. Сани, метель, полустанок, товарный вагон, Сибирь, гибель...

Эта волна прокатилась по всей стране. Некоторые районы были опустошены и разорены, как стихийным бедствием, но только невиданным и неслыханным. Не угодно ли один документик, на который случайно упал взгляд в московском «толстом» журнале. Письмо пламенного большевика, верного сына партии Александра Александровича Фадеева.

«В бюро Дальневосточного крайкома ВКП(б).

Дорогие товарищи! Во время поездки по краю (речь идет о поездке А. А. Фадеева по дальневосточному краю, которую он совершил в августе 1933 года) мне удалось посетить Улахинскую долину (ту ее часть, которая входит в Яковлевский (33) район).

Эта долина (села Чугуевка, Соколовка, Санлагоу, Бреевка, Извилинка, Архиповка, Каменка, Кошкарровка, Угорка, Антоновка, Саратовка, Жилоньевка, Окраинка) сейчас находится в чрезвычайно заброшенном состоянии в смысле внимания к ней со стороны партийных, советских и хозяйственных организаций. Между тем Улахинская долина, особенно село Чугуевка, являются центрами партизанского движения в Приморье... Эта долина в течении трех лет кормила почти все партизанские отряды Приморья, которые проходили через нее и неделями, месяцами жили в ее селах.

Вместе с тем благодаря наличию в Улахинской долине значительных слоев староверов, стодесятников, которые и настоящее время оттуда удалены, но корни их остались там, классовая борьба в период коллективизации носила особенно ожесточенный характер, и остатки классово враждебных сил, пытающихся влиять на население, имеются там и до сих пор.

Исходя из этого, я ходатайствую перед крайкомом и крайисполкомом о проведении ряда мероприятий по улучшению культурного положения в долине.

1. Необходимо учредить в Улахинской долине МТС, ибо в тех селах, где жили староверы, до сих пор пустует около двух тысяч гектаров прекрасной земли, а в сущности говоря, Улахинская долина является долиной очень плодородной.
2. Необходимо учредить Чугуевский медпункт, который был там до революции, а сейчас нет.
3. Построить в Чугуевке школу-семилетку, так как старая дореволюционная школа сгорела и ребята учатся по хатам.
4. Послать в долину хорошего радиста и комплект радиоприемников, так как во всей долине нет радио.
5. Если не предполагается в связи с льготами, предоставляемыми населению ДВК, разрешить колхозам более отдаленных местностей иметь свои мельницы, то необходимо где-то в районе Бреевки или Извилинки поставить еще одну государственную мельницу, иначе крестьяне более дальних деревень в верховьях реки Улахэ должны везти хлеб за пятьдесят и более верст по отвратительным дорогам, убивая лошадей и время.
6. Провести новую дорогу от районного центра (село Яковлевка) до Чугуевки. Старая дорога пришла в невероятный упадок. Ежегодно на ней гибнет масса лошадей. Из-за этой дороги сельпо сидит без товаров. Если посчитать средства, ежегодно затрачиваемые на ремонт этой дороги, то должен сказать, что гораздо выгоднее построить новую, тем более что большое количество мостов для предполагающейся новой дороги уже сделано, но потом работа по неизвестным причинам прекратилась, и мосты зря гниют.

С коммунистическим приветом член Далькрайкома А. Фадеев».

Значит, вот ведь какое дело. Долина могла три года кормить партизанские отряды, проходящие через лес и месяцами жившие в ее селах, — такова была степень зажиточности этих крестьян. А довели ее до такого состояния, что даже у железного большевика Фадеева дрогнуло сердце. Фадеев употребил, конечно, деликатное слово «удалены», конечно, нет и тени возмущения по случаю запрещения иметь колхозникам свои мельницы, конечно, естественное и, может быть, даже инстинктивное сопротивление заводу в трудовую армию названо ожесточенной классовой борьбой (отбирают хлеб, выгоняют из родного дома, вывозят из родного села, и не могли еще выразить недовольство по этому поводу), но даже через этот, большевиком написанный документ, встает ужасная картина опустошения и разорения крестьянства, а по сути дела, продуманной и хладнокровной расправы с ним.

Все делалось под видом блага для народа. Но какое уж тут благо, как мы видим, если — разорение и оскудение. Сельское хозяйство и до сих пор не может оправиться от тех лет. Земля наша запущена, замусорена, заросла сорняками, родит мало, деревни расточаются и исчезают с лица земли. И все это для блага народа?

Или возьмите купечество и полную его ликвидацию. Какой, спрашивается, вред народу в целом могло приносить купечество? Оно торговало, снабжало народ рыбой, говядиной, тканями, обувью, раками, икрой, всеми без исключения товарами, которые продавались в бесчисленных магазинах и лавках, в трактирах и ресторанах, на многочисленных ярмарках. Причем снабжали в изобилии, по доступным и дешевым, как известно, ценам, ибо цены дореволюционной России, равно как и разнообразие товаров, кажутся теперь баснословными.

Так какой же от купца был вред народу, если ради блага народа всех купцов им надо было ликвидировать? Дело в том, что купечество мешало не народу, а им, захватившим власть. Купечество никак не вписывалось в железную схему придуманного ими государства. А раз не вписывается — значит, убрать. В самом деле — при наличии купечества нельзя ни посадить народ на паек на многие десятилетия, ни инспирировать голодовку где-нибудь на Украине, чтобы только самим распорядиться этими рублями. И в трудовые армии тоже не вписывались купцы.

— Но все же, как же, почему же им удалось? Огромная страна. Много народу. В чем же была их сила, если не опора на самые широкие массы и на самые разные слои населения? Их главная сила была, как ни странно, в наглости. Может быть, слово это покажется грубоватым, но попробую прояснить самую мысль. Если хотите, их сила была, как ни странно, в презрении к тем самым широким массам и вообще к захваченной стране и ее народу. Когда Горький стал заступаться за интеллигенцию и сказал Ленину, что это все-таки мозг нации, Ленин рассмеялся и ответил, что это не мозг, а «говно» (буквально) и что «пора бы вам понять, дорогой Алексей Максимович, что политика вообще дело грязное и кровавое». (34)

А сила их с самого начала оказалась вот в чем. Как ни странно, опять-таки у всех людей, кроме них, осталось понятие о некоторых правилах игры. Мы уже говорили о том, что стрелявшую в Трепова, в начальника МВД, Веру Засулич оправдали присяжные заседатели. Враг номер один Ульянов-Ленин ссылается в Шушенское, где живет в теплой, чистой избе, обложенный книгами, прекрасно питается и, по свидетельству многих ленинцев, укрепил свое здоровье как никогда в жизни. (35) Сталин ссылается много раз. Но режим ссыльной жизни таков, что он, имеет возможность пять раз бежать из ссылки. Временное правительство развело такую демократию, что большевики получили возможность содержать в Петрограде свой собственный пулеметный полк и другие войска. Когда Колчаку объявили, что его сейчас расстреляют, он недоуменно воскликнул: «Как, без суда?»

В людях, привыкших к режиму дореволюционной России, жило убеждение, что если они ни в чем не виноваты, не преступили закона, то и сделать с ними ничего не могут и не имеют права. Никому не



пришло бы в голову, что можно всех бывших министров погрузить на пароходишко и затопить посредине Невы. Что можно войти в дом и на глазах у хозяев все из него унести, а самих хозяев выгнать, а то и убить.

Сила их состояла в резком, внезапном и вот именно в наглom нарушении, так сказать, всех правил игры, рассчитанных на гуманных, доверчивых, верующих в справедливость, правосудие, законность людей. Можно назвать это внезапным попранием законности, которого нельзя было ожидать в дореволюционном обществе.

Первые дни никто всерьез не воспринял шайку, захватившую власть и называвшую себя большевиками. Шептались, отсиживались по домам с одним расчетом: «Посмотрим, что будет дальше». А дальше немедленно, через полчаса после захвата власти, начали убивать, но убивать массово, поражать в нервные центры, парализовать. Это все равно, как если бы два человека, пусть даже и враги друг другу, сели бы играть в шахматы, один размышлял бы над ходом, а другой взял бы и шарахнул своего противника бутылкой по голове. Вот и выиграл. Очень легко и просто. Сошлемся опять-таки на Ленина: «Понятие диктатуры означает не что иное, как ничем не ограниченную, никакими законами, никакими абсолютно правилами не стесненную, непосредственно на насилие опирающуюся власть» (т. XXV, стр. 441).

Надежда Яковлевна Мандельштам, женщина умная и думающая, сожалея о множестве посаженных в лагеря и репрессированных тоже без суда и следствия евреев, правильно сообразила и говорит: «Кто же знал, что, отменяя всякую законность в первые годы революции, мы отменили ее и для себя».

— Однако потом ведь спохватились людишки. Завязалась гражданская война, и ведь победили же большевики в этой войне. Значит, была на их стороне реальная сила?

— Гражданская война! Разберемся по порядку в причинах поражения Белой Добровольческой армии.

Во-первых, опомнились уже тогда, когда все жизненные центры, а самое главное — власть находились в руках большевиков. Все склады боеприпасов, оружие, бронепоезда, главные оружейные заводы были у них.

— Но снабжала Антанта.

— Антанта делала вид, что снабжает. Сейчас в учебниках принято хвастаться, что четырнадцать государств шли и не победили. Как не понять, что это липа, липа — все эти четырнадцать государств. Эти государства, когда захотели, разбили перед этим Германию, железную армию кайзера Вильгельма, а несколько позже они же сокрушили могущественную военную машину Адольфа Гитлера. А тут представьте себе: Америка, Англия, Франция и еще каких-то там одиннадцать государств, я уж не знаю, не могли справиться с республикой, охваченной, как любят подчеркивать сами большевики, разрухой и голодом!

Эти страны играли двоякую, по сути дела, предательскую роль. Перед лицом общественного мнения им нельзя было совсем уж не пошевелить пальцем, но они как огня боялись восстановления прежней России, главного их конкурента на земном шаре. В их интересах было продление по возможности гражданской войны. Поэтому они и подкидывали в нее поленца в виде помощи. Ибо чем дольше длится война русских между собой, чем больше они друг друга перебьют, тем слабее окажется в конце концов этот народ. Пусть победят большевики. Можно было предвидеть годы разрухи, годы восстановления, годы голода, годы насилия, годы самоизоляции нового государства, десятилетия бесхозяйственности и неразберихи. Одним словом, они добились своего: Россия, как главный их конкурент на мировом рынке в промышленности, в сельском хозяйстве, в экономике, вообще была разгромлена, ослаблена, устранена всерьез и надолго.

Мережковский подметил и в одном письме написал о том, что как только положение большевиков становилось критическим, словно невидимая рука протягивалась откуда-то из Европы, а может быть, из-за океана, и спасала их в самое последнее мгновение. (36)

Не исключено и то, что поскольку власть, как мы говорили, была хоть и большевистской, но, по сути дела, интернационалистической, а ворон ворону глаз не выклюнет, а влияние Интернационала на мировую политику огромно во всех странах, не исключено, что поддержка большевистского режима шла и по этой линии.

Во-вторых, нельзя забывать, что белая русская армия была добровольческой, а красная большевистская армия создавалась в результате массовой, жестокой мобилизации на всех территориях, подвластных большевикам, то есть попросту она была более многочисленной, она превосходила белую армию по численности во много раз. Дивизия против полка — примерно таким было соотношение сил, а то и более резким. Сейчас уже доподлинно известно, что дисциплина в Красной Армии времен гражданской войны держалась на беспощадных расстрелах, на заложничестве (не будешь воевать — убьют твою семью) и даже на заградотрядах. Позади фронта чоновцы (латыши) с пулеметами. Говорят, такие заградотряды существовали и в прославленной, легендарной чапаевской дивизии. А соотношение численного состава Белой Добровольческой армии и Красной Армии было 1:25.

Можно задавать вопрос теперь, почему же недостаточно пошло добровольцев в белую армию? Но ведь если бы знали люди, что ждет их во все последующие годы, обо всех пайках, голодовках, коллективизациях, массовых арестах, лагерях, то, наверное, встали бы все как один.

Я этим вовсе не оправдываю тех, кто не встал и не пошел в Белую Добровольческую армию, то есть фактически народ, который должен бы был подняться. Напротив, я вижу в этом политическую инфантильность, если хотите, измену Отчеству, подлинному Отчеству, сложившемуся за тысячелетия, а не искусственно навязанному людьми, случайно захватившими власть. Все считали, что моя хата с краю. Вот и дождались, пока каждого в отдельности не стало припекать. Спыхватились потом, в виде Колпинского, Ижевского, Кронштадтского, Ярославского, Астраханского, Тамбовского, сибирского восстаний, но было уже поздно. Все это было одновременно и разобщено, без единого центра и подавлялось с жестокостью. (37) А тем временем концентрация давала свои плоды. Наиболее крепкие люди исчезали незаметно, сепаратизировались, как сливки из молока, и выплескивались в землю, в грязные, хлюпающие, наскоро вырытые ямы.

В-третьих, надо назвать и один моральный, политический, впрочем, скорее психологический фактор.

В каждом человеке живет подспудная жажда перемен. Лозунги были такими (и в этом Ленин

действительно гениален), что широкие, наименее мыслящие, наиболее темные, то есть наиболее многочисленные массы клюнули на эти лозунги. Да кое-кто клюнул даже из интеллигенции. Сами посудите: «Вся власть — вам, мировое братство, светлое будущее. Как только окончится война — сразу и рай». Помните, даже Чапаев говорит Петьке (это не в анекдоте про Чапаева и Петьку, а в кинофильме):

« — Вот кончится война, Петька, жизнь будет...

— Какая, Василий Иванович?

— Такая жизнь — помирать не надо». (38)

Так что с точки зрения психологической, да и политической, защищавшие старую Россию уже точно знали, что они защищают. Стиль и уклад жизни в России привычен и знаком до мелочей, с ее трактирами, земствами, купцами, ярмарками, престольными праздниками, крестными ходами, деревенскими сходками, масленицами, пасхами, песенными покосами, с непрерывно вертящимися водяными и ветряными мельницами, златоглавыми городами, вечерними звонами... То есть защищали они свои собственные, обыкновенные будни. Отвоевывавшие же новую жизнь боролись за нечто незнакомое, невиданное и неслыханное, за что-то радужно-светлое, невообразимое, за какую-то небывалую жизнь. Ну и шли за нее, рвали глотки, рубили и секли из пулеметов своих же братьев, своих же единокровных русских. Дрались они только за лозунги, ничего ведь не было тогда, кроме лозунгов, а что за ними потом окажется — откуда же им было знать. Ведь это теперь, если из действительности этих «осуществившихся» лозунгов взглянуть туда, назад, в те русские масленицы, хороводы, ярмарки, трактиры, вечерние звоны, нарядные сарафаны и рубахи, — это теперь мы видим, что там была светлая-то жизнь, а вовсе не здесь, где занюханые агитпункты и клубы, магазины с примитивными ассортиментами и чудовищными ценами на все. Но тогда мирная, благодатная человеческая жизнь казалась привычной и, возможно, поднадоевшей, будущее же казалось фантастическим и райским. Ну что же, как говорится — за что боролись, на то и напоролись.

В-четвертых, победа произошла еще и потому, что тоже ведь, кроме большей части командиров и почти всех комиссаров, солдатики-то, то бишь бойцы, были русские. Воевать русские умеют, это известно всем издавна. Самоедства тоже у нас всегда хватало, как у всякого многочисленного народа. Давай! Чего там? Милльон туда, милльон сюда, подумашь, нас много, не сосчитать, кроши, руби, строчи. Четыре года продолжалась вакханалия крови к вящей радости «странников», потирающих руки от удовольствия.

— Но Чапаев, Буденный, Фурманов, Анка-пулеметчица?

— Многие клюнули на фиктивные лозунги. Вообразим: в регулярной русской армии, в той же Белой Добровольческой армии, Чапаев или Буденный не скоро могли бы стать кем-нибудь, кроме того, кем они были на самом деле. Унтер-офицерами или фельдфебелями. Да, у Буденного за личную храбрость был полный ряд Георгиевских крестов, ну, стал бы он офицером по законам России, вот и все. А тут, пожалуйста, тебе — армия. Чапаеву — дивизия. Однако фактическими командирами этих дивизий были, как вам известно, комиссары. Чапаев без Фурманова и пальцем не мог пошевелить. Чапаевы были нужны. Вот она — новая-то власть: унтер-офицер — и вдруг командир дивизии! Ну и скачет на лихом коне храбрый унтер-офицер. А командует им, извините, все-таки Фурманов.

— Русский же.

— Не знаю его происхождения, хоть и есть довольно распространенная фамилия Фурман. Попадались, наверное, и русские комиссары, не без того. Несколько процентов, возможно, было и русских. Анка же пулеметчица... ее настоящая фамилия Бельц. Жалко ли ей было расстреливать из-под куста русских интеллигентов?

— Как интеллигентов? Офицеров!

— Ну да. А офицеры разве не интеллигенты? Помните, наверное, реплику из того же фильма? «Красиво идут!» — говорит боец, сидящий в окопе, про Каппелевский офицерский полк. «Тили-генция!» — отвечает ему другой. Вот, значит, и ответ на то, кого расстреливала из пулемета Анна Бельц.

Да, может быть, и не все комиссары были нерусскими. Были и коллаборационисты, то есть сотрудники, введенные в заблуждение несбыточными лозунгами и надеждами, но все же нерусских среди комиссаров было большинство. Не забывайте, что главнокомандующим был Лев Давидович Бронштейн. (39) Ну а бойцы-молодцы, русачки, это уж точно — ура! Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет.

— Но красивые песни о гражданской войне? Значит, была у них какая-то красота.

— Песни о гражданской войне, а не песни гражданской войны. Ведь все эти «Каховки», «Гренады», «Дан приказ ему на запад», «В степи под Херсоном высокие травы», «Тачанки», «Марши Буденного» или «По военной дороге шел в борьбе и тревоге боевой восемнадцатый год», или «Подари мне, сокол, на прощанье саблю» — все эти песни написаны уже потом, в тридцатые годы, поэтами-профессионалами Светловым, Голодным, Островым, Исаковским, Асеевым, Сурковым. Это была целенаправленная, сверху заказанная оромантизация задним числом братоубийственной, безобразнейшей бойни. Там были тиф и бред, расстрелы и грабежи, пожары, муки и стоны, хриплые «ура» с обеих сторон и кровь, кровь, кровь, русская кровушка. Красивые песни, равно как и романы и повести, сочинялись потом.

— А как же понять следующий казус? Сталин после смерти Ленина продолжал осуществлять предначертанные и уже частично разработанные планы. Коллективизация, разрушение Москвы, сбрасывание колоколов, закрытие церквей, образование трудовых армий. Почему же его теперь так ненавидят евреи, и почему же он в конце жизни готовил грандиозные антиеврейские акции? Как же все это произошло?

— Сначала посмотрим, что произошло еще при Ленине, в первые годы после гражданской войны, так называемые 20-е годы, которые многим сейчас вспоминаются как золотой век революции, ленинизма, справедливости. Все двадцатые годы, а не самое начало двадцатых годов, потому что в первые три-четыре года сталинской власти продолжалась еще инерция, и все главное в государстве оставалось на досталинских местах.

— Кстати, от чего точно умер Ленин? Не помог ли ему Иосиф Виссарионович, чтобы побыстрее придти к власти?

— Вы что, серьезно не знаете, отчего умер Ленин?

— Ну... Кровоизлияние в мозг — официальная версия. По-теперешнему, инсульт. Перенапряжение великой ленинской мысли. Для мыслителя и титана революции самая красивая и благородная

смерть.

— Разыгрываете вы меня, Владимир Алексеевич. Дожить до зрелого возраста и не знать, отчего умер Ленин, когда весь мир до последнего парижского или копенгагенского парикмахера это знает... Впрочем, что взять с вашего поколения!

— Но все-таки отчего? Я интуитивно всегда чувствовал в этой смерти какую-то тайну и начал думать, не Сталин ли приложил руку. Помните, как вы сами меня учили: «Ищи, кому это выгодно».

— Сталин здесь ни при чем. Ленин умер от вульгарного сифилиса.

— Вздор, клевета, не может быть! Святая святых!..

— Точнее говоря, — продолжал невозмутимо Кирилл, — от прогрессирующего паралича мозга на базе застарелого, незалеченного сифилиса. Сухотка мозга. Распад. Когда вскрыли — то одно полушарие мозга было нормальной величины, а другое — с грецкий орех.

— Но ведь не сразу же оно стало таким. Требовались годы. Значит, что же, оно ссыхалось, а он в это время руководил?

— Да, оно ссыхалось и разлагалось, а он в это время руководил. Но мы отвлеклись. В конце концов неприятно, конечно, но он же не виноват. Учился в Казани. А там сифилис среди женщин легкого поведения не был редкостью даже и в публичных домах. Ну и подцепил еще в студенческие годы. А может, где за границей во время эмигрантских скитаний. Но он любил это дело, что правда, то правда. Ведь даже и псевдоним его в честь одной петербургской не то балериночки, в которую он был влюблен, не то проституточки Лены, а вовсе не в честь великой сибирской реки, Ленских приисков и Ленского расстрела, как теперь нам это преподносят. Красивая версия, но не больше. От реки, кстати, по законам русского языка будет не Ленин, а Ленский, как и прииски, не Ленины, а Ленские. Производное Ленин в русском языке может быть только от женского имени. Но это так себе, мелочи. Вернемся в двадцатые годы.

Одна часть русской интеллигенции, равно купечества, деловых и государственных людей, уехала за границу, эмигрировала. Другая ее часть погибла на фронтах гражданской войны. Третья ее часть пошла через лагеря особого назначения, через Лубянку, через губернские отделы ЧК, то есть, короче, была истреблена здесь, на месте. Четвертая ее часть — уцелевшие, недорезанные — перекаленились в бухгалтеров, счетоводов, в медицинских сестер, нянек, в пишбарышень (то есть в машинисток), ну и в подобные профессии. При желании можно провести социологическое исследование. Короче говоря, русская интеллигенция, сложившаяся, откристиализовавшаяся за несколько столетий, интеллигенция, говорившая на нескольких языках, интеллигенция, родящая, что ни год, из недр своих Блоков, Шаляпиных, Станиславских, Менделеевых, Гумилевых, создававшая Третьяковские галереи и Румянцевские музеи, строящая дворцы и храмы, — эта интеллигенция была фактически уничтожена, развеяна по ветру, и на ее месте образовался вакуум. Этот вакуум должен был засосать в себя, дабы заполниться, новых людей, которые могли бы хоть как-нибудь исполнять роль интеллигенции, а потом и подменить ее.

Кого же этот вакуум мог засосать? Чапаевы и Петьки, крестьяне от плуга, рабочие от станка, грузчики, каменщики, столяры и плотники не были тогда готовы к роли интеллигенции, хотя бы и полуфабрикатной кондиции. А вот кто был готов и кто заполнил образовавшийся вакуум?

С захватом власти силами Интернационала, почувствовав, что настал их час, из многочисленных мест и местечек хлынули в столицу и другие крупные города периферийные массы. Периферия-то она периферия, но все же чем они занимались на периферии? Не плотничали, не крестьянствовали, не были шахтерами и ткачами. Это были часовщики, ювелиры, фотографы, газетные репортершики, парикмахеры, музыканты из мелких провинциальных оркестров... Согласитесь, что поднаторевший фотограф и репортер, часовщик и флейтист более готов к роли интеллигента, нежели каменщик, пахарь, шахтер и ткач. Вся эта провинциальная масса и заполнила собой вакуум, образовавшийся на месте развеянной по ветру русской интеллигенции.

Тогда-то и начались в Москве знаменитые самоуплотнения, уплотнения, перенаселенные коммуналки. В 1921 году насчитывалось в Москве двести тысяч пустых квартир. Спрашивается, куда делись их жильцы и кто эти квартиры заполнил? В квартиру, где жила одна семья, вселялось восемь семейств, домик, занимаемый одной семьей, набивался битком — сколько комнат, столько и семей. Тогда-то и закоптили на кухнях десятки керосинок, зашипели примуса, и пошли все эти коммунальные, анекдотические распри и склоки с киданием в суп соседке обгоревших спичек, с многочисленными кнопками звонков у входных дверей (звонить три раза, звонить семь раз), тогда-то и исчезли цветы и коврики с лестниц жилых московских домов. Тут уж не до подъезда, не до лестницы, не до коммунального даже коридора. И все можно стерпеть. Главное — зацепиться, получить ордерок хотя бы на десять метров, встать одной ногой. Потом вживемся, разберемся, потесним кого надо, переедем в благоустроенные квартиры, настроим кооперативных домов, главное — зацепиться за Москву. А зацепиться им было нетрудно, потому что инстанции, ведавшие ордерами, контролировались своими людьми. Заселение Москвы периферией было сознательной политикой этих людей. В крайнем случае, можно и арестовать какого-нибудь русачка-дурачка, дабы освободилась его комната. Квартир в Москве в двадцатых годах (свидетельство Булгакова) практически не было. Были только комнаты в коммунальных клоповниках.

Нет, ну, конечно, у Луначарского была квартира, у Бриков была квартира, а у Ларисы Рейснер был даже и особняк. Горький тоже получил особняк Рябушинского, когда решил вернуться в Советский Союз. У крупных писателей, у видных хирургов, у ответственных руководителей были квартиры. Но в принципе их не было, ибо тогда-то, в двадцатые годы, и произошла фактическая оккупация Москвы периферийными массами. Этот процесс коснулся, конечно, и других городов, но чем мельче город, тем меньше коснулся. Москва же, как известно, — столица.

Между прочим, и ради того, чтобы приспособить захваченную Москву к своим вкусам, уничтожалась в ней русская старина, а также решено было сбросить колокола.

Да, Геннадий Фиш, когда мы с ним оказались в совместной поездке в Данию и когда зашел разговор, близкий к этой теме, без всякого стеснения мне сказал:

— Но они нам мешали, эти колокола. Как вы не понимаете, что колокольный звон был нам неприятен!

Известные периферийные массы, заселившие Москву, не могли, разумеется, сидеть сложа руки по своим квартирам и комнаткам. На Трехгорку они шли мало и неохотно, на завод «Серп и молот» тоже. Они молниеносно разбежались по разным учреждениям, наркоматам, главкам, канцеляриям. Но

прежде всего по редакциям газет, журналов. по издательствам, музыкальным школам, училищам, консерваториям, по театрам, москонцертам и филармониям. Они заполнили разные отделы и ассоциации художников, кино, писателей, архитекторов, композиторов, рекламные агентства, радио. Ну а также и медицину.

Это было опять-таки им очень нетрудно сделать, потому что был, как мы видели, вакуум и потому что во главе каждой буквально газеты, каждого буквально журнала, каждого издательства — всюду были расставлены свои люди, которые всячески поощряли процесс уже не внедрения, это словечко было бы слабовато, но захватывания всех видов искусств и всех средств массовой информации, то есть всех средств влияния на население страны, столь неожиданно доставшейся им в безраздельное владение.

— О том, как поощрялся процесс внедрения и заполнения, мне рассказывал некто по фамилии Богорад. Когда я пришел работать в «Огонек» в 1951 году, там дорабатывали еще до пенсии остатки прежних, со времен Евгения Петрова (то есть с тех времен, когда Евгений Петров был редактором «Огонька») кадров вроде Ступникова, Фанштейна и этого Богорада. Богорад-то мне и рассказал, как начиналась его журналистская карьера. Он приехал в Москву по известной нам схеме и сразу пошел в газету, сейчас уж, право, не помню, в какую, «Гудок» или «Труд», где и заявил, что он хочет работать в газете. Этого было достаточно, чтобы его зачислили в штат. Но так как он ничего тогда не умел, ему поручили ежедневно писать сводку погоды. Четыре строчки. Этим он занимался несколько месяцев, пока не пообтерся, не поднаторел и не стал выходить на полосу с маленькими хроникальными заметками. Положим, он многого не достиг ввиду полной своей бездарности и окончил трудовой путь заведующим отделом писем в «Огоньке». Но все же проскрипел же всю жизнь заведующим отделом одного из главных журналов страны!

Если же обнаруживалась хоть какая-нибудь бойкость пера, не говоря уж о некоторых способностях, то тут сразу — взлет, громкое имя, гений, вроде Михаила Кольцова, возведенного чуть ли не в ранг первого журналиста Страны Советов, тогда как на этом уровне мог писать любой дореволюционный газетчик и журналист. Когда происходит частичное внедрение, приходится приспособливаться к среде, в которую внедряешься, когда же происходит заполнение и захват, надо приспособливаться к себе захваченную среду.

В журналистике и административных сферах это было менее необходимо, ибо захватчики сами уже оказывались средой. Но с искусством дело получалось сложнее. Одно дело написать сводку погоды или даже статью, другое дело написать картину, поэму, роман, стихотворение. Тут средой оказывается не только сегодняшний день, но вся русская культура, вся литература, вся музыка, вся живопись, с Мусоргским и Пушкиным, Чайковским и Блоком, с Некрасовым и Достоевским, с Рерихом и Врубелем, Станиславским и Чеховым, Левитаном и Антокольским...

Какова же была мощь русской культуры в конце девятнадцатого — начале двадцатого века, если она подвергла мирной ассимиляции неразстворимые, неподдающиеся воздействию никаких кислот души! Да, Левитан и Серов — великие русские художники. То же самое можно сказать про скульптора Антокольского или про Рубинштейна. То же самое можно сказать про художников-переходников, то есть про тех, кто закваску принял еще от России, а жил и творил уже в советское время. Сюда можно отнести Пастернака, Чуковского, Мандельштама...

Итак, когда Левитан творил в окружении Чехова, Кустодиева, Нестерова, Рахманинова, Скрябина, Шаляпина, десятков, десятков других носителей национального русского духа, он становится русским художником. Там, как, впрочем, и для всех русских художников, шел процесс, похожий на естественный отбор. Но когда в двадцатые годы в Москву хлынули десятки тысяч жадных, экспансивных молодых людей и каждому хотелось стать художником, поэтом, музыкантом, и формально они сами стали средой, но объективно оказывались в компании Пушкина и Чайковского, Достоевского и Чехова (далее — все имена великих деятелей русской культуры), то необходимо было либо приспособиться к этой среде, либо приспособить ее к себе. Другого выхода у них не было.

Приспособление среды (сознательное или инстинктивное, пусть разбираются историки) шло по двум направлениям. Во-первых, создавалось общественное мнение, что все, что было «до», — никуда не годится. Пушкина — с корабля современности! Очистить все музеи от старых картин и создавать новые музеи, с картинам, начиная с семнадцатого года.

Вот, не угодно ли, декларация Малевича по поводу старого и нового искусства:

«Мы предсказали в своих выступлениях свержение всего академического (40) хлама и плюнули на алтарь его святыни.

Но чтобы осуществить факты наших революционных поступей, необходимо создание революционного коллектива по проведению новых реформ в стране.

При такой организации является чистая кристаллизация идеи и полная очистка площадей от всякого мусора прошлого.

Нужно поступить со старым — больше чем навсегда похоронить его на кладбище, необходимо очистить их сходство с лица своего».

Журнал «Искусство», 1 — 2 (сдвоенный), 1919 год.

Тут не всегда даже дело шло по линии охаивания качества, художественной ценности. Было бы все же трудно совсем зачеркнуть художественную ценность Толстого и Лермонтова. А совсем не переиздавать хотя бы и приспособленные к новому времени тексты было тоже нельзя. Тут достаточно было создать вокруг старого искусства атмосферу, что оно вот именно старое, отжившее и незачем по нему равняться. Начнем сначала.

Таким образом создавалась нулевая отметка, начало шкалы, по которой можно было отмерять новых поэтов и художников.

Родоначалниками советской поэзии стали считать, скажем, Казина, Жарова и Безыменского. Если бы эти поэты шли сразу вслед за Гумилевым, Блоком, Цветаевой и Ахматовой, то, во-первых, никто бы их не заметил, а во-вторых, если бы сказали, что Казин, Жаров и Безыменский и есть уровень современной поэзии, то все увидели бы, что русская поэзия гибнет, переживает чудовищный спад. Ибо поставить Казина, Жарова и Безыменского рядом с Блоком и Гумилевым все равно, что поставить спичечный коробок рядом с десятиэтажным домом. Если же спичечный коробок поставить на пустой стол, то он будет все же предметом, стоящим на столе, будет возвышаться,

организовывать, так сказать, ландшафт стола, отбрасывать тень и вообще смотреться. Когда же люди привыкнут, что Казин, Жаров и Безыменский есть нормальный уровень современной поэзии, когда после этого появятся люди с проблесками одаренности, вроде Сельвинского, то этих поэтов легко будет провозгласить крупнейшими, если не гениями. Действительно, разве не гений Сельвинский по сравнению с Казиним, Жаровым и Безыменским? Но по сравнению с Блоком? Только забыв о том, что были «Скифы» и «Незнакомка», «Девушка пела в церковном хоре», весь цикл «Родина», «Сон», то есть только забыв о стихах Блока, можно всерьез восхищаться «Гренадой» или «Рабфаковкой», да и всей поэзией Светлова. Хотя, конечно, если забыть о Блоке, с десятков стихотворений Светлова производят впечатление стихов.

Однажды был случайно проведен выразительный эксперимент. Сидели писатели на террасе Дома творчества в Малеевке, говорили о стихах. Немного спорили, стали читать Светлова, Гудзенко, Межирова, Алигер, Смелякова, Асеева, Уткина. Звучали профессиональные, крепко сколоченные строфы, исторгая у слушателей разные степени одобрения и восторга. Причем, как это бывает, когда стихи знают и могут читать все собеседники, шла своеобразная эстафета. Едва затихала строфа одного поэта, прочитанная одним чтецом, другой подхватывал, из того ли, из другого ли поэта, и поэзия продолжала звучать. Надо полагать, что читались лучшие стихи и лучшие строфы.

\* \* \*

Они улеглись у костра своего,  
Бессильно раскинув тела,  
И пуля, пройдя сквозь висок одного,  
В затылок другому вошла.

\* \* \*

В двадцать пять с небольшим свечей  
Электрическая лампадка.  
Ты склонилась сестры родней  
Над исписанною тетрадкой.

\* \* \*

Ночь надвинулась на забой,  
Перемешиваясь с водой.  
Ветер мокрый и черный весь  
Погружается в эту смесь.

\* \* \*

Но "Яблочко"-песню  
Играл эскадрон  
Смычками страданий  
На скрипках времен.

\* \* \*

Я не знаю, где граница  
Между севером и югом,  
Я не знаю, где граница  
Меж товарищем и другом.

\* \* \*

Ах, шоферня, пути перепутаны  
Где позиция? Где санбат?  
К ней пристроились на попутную  
Из разведки десять ребят.

\* \* \*

Сосчитали штандарты побитых держав.  
Тыщи тысяч плотин возвели на реках.  
Целину поднимали, штурвалы зажав  
В заскорузлых, тяжелых, рабочих руках.

\* \* \*

Можно написать: "Тропа вела  
Не то на небеса, не то на Елань".  
Мы ж хотим без выдумок,  
Что нам жизнь дала,  
Рассказать о видимых  
Людах и делах.

\* \* \*

Катя Соломатина кончала  
Первый медицинский институт...

На этом месте чтец замолчал на минуту, забыв, наверное, очередную строку, а я воспользовался паузой и потихонечку начал читать:

Похоронят, зароят глубоко,  
Бедный холмик травой зарастет,  
И услышим — далеко, высоко,  
На земле где-то дождик идет.  
Ни о чем уж мы больше не спросим,  
Пробудясь от ленивого сна.  
Знаем, если негромко, — там осень,  
Если бурно — там, значит, весна.

С чем можно было сравнить впечатление? Как если бы среди погремушек запела скрипка. Как если бы среди гомона и дурно, хором исполнявшейся за столом песни прозвучал сильный голос певицы — драматическое сопрано. Надо еще иметь в виду, что они читали, выбирая лучшее из разных поэтов, я же прочитал самый рядовой, самый незаметный, проходной стишок Блока. Но вот все, что читалось, чудесным образом померкло, сникло и уничтожилось, словно электрическая лампочка, забытая с вечера, когда в окно уже ударило настоящее солнце.

Мишура, латунная фольга по сравнению с полноценным, глубоко мерцающим золотом. После этих строк эстафета чтения, естественно, прекратилась, и они стали просить меня, чтобы я прочитаю еще. Я прочитал теперь уже лучшие блоковские стихи, и мы разошлись тихие, очарованные ими, не вспоминая больше ни Светлова, ни Асеева, ни Уткина, ни Гудзенко...

Итак, один путь был прост и понятен. Отрезать, отделить все, что было, расчистить стол, превратить русскую поэзию в белый лист бумаги и от нулевой отметки начать сначала. Новая шкала, новые критерии, новый масштаб, вот в чем дело. Все дело в масштабе.

Но все же из нахлынувших «золотоискателей» не каждый умел писать даже так, как Безыменский и Жаров. А хотелось занять свое место под небом и вращаться в искусство, в идеологические сферы, в интеллигенцию, желательную творческую. Во-первых, больше платят. Во-вторых, почетнее. В-третьих, меньше труда. Богораду, желающему стать журналистом, позволили в течение нескольких месяцев писать сводку погоды. Но что с такими же способностями делать в поэзии или живописи?

Тогда эти молодые, полные сил, энергии и, прямо скажем, наглости периферийцы, наводнившие Москву, начали производить так называемое новое, левое, сверхновое и сверхлевое искусство. Крученых пишет: «Дыр бул щир убещур...» и заявляет, что в этой его строке больше народного, национального, чем во всем Пушкине. «Больше, больше! — подхватывает хор. — Долой Пушкина, да здравствует «дыр бул щир убещур»!» В живописи рисуют на холсте квадраты, треугольники, и это определяется новаторским путем изобразительного искусства. Долой Нестерова, долой Врубеля, долой Сурикова и Рериха, да здравствуют Малевичи и Кандинские! В архитектуре вместо красивых зданий строятся кубики, в лучшем случае — нагромождение пересекающихся кубиков, и это объявляется завтрашним днем в архитектуре. Вернемся к декларации Малевича, на этот раз о поэзии.

«Самыми высшими считаю моменты служения духа и поэта, говор без слов, когда через рот бегут безумные слова, безумные, ни умом, ни разумом не постигаемы. Здесь ни мастерство, ни художество не может быть, ибо тяжело земельно загромождено другими ощущениями и целями.

Улэ Эле Ли Кон Си Ан  
Онон Кори Ри Коасамби Моена Леж  
Сабно Одадт Тулож Коалиби Блесторе  
Тиво Ореан Алиж.

Вот в чем исчерпал свое высокое действие поэт, и эти слова нельзя набрать и никто не сможет подражать ему». (Там же.)

Но ведь если золотую поэтическую строку под стать лучшим образцам поэзии сумеет написать только талантливый человек, только поэт, то «оуэ», «ауа», согласитесь, может написать каждый. Если создать молитвенный нестеровский пейзаж или передать живописью вечерний звон над плесом могут только гениальные художники, то нарисовать черный квадрат на белом фоне, или два пересекающихся квадрата, или два разноцветных квадрата, согласитесь, доступно каждому. Нотр Дам или храм Христа Спасителя под силу только могучему таланту, а новые здания в виде простого прямоугольника доступны и архитектурному Богораду.

А теперь представьте себе сборище людей, занимающихся псевдоискусством и заботящихся о том, чтобы их искусство утвердилось. Иначе ведь все лопнет, как мыльный пузырь. Могут ли они допустить, чтобы рядом с ними зазвучала настоящая поэзия, писались настоящие картины (41), строились настоящие красивые здания? Куда же тогда деваться им? Так вот, представьте себе сборище этих людей, их смех и ненависть, их улюлюканье, если бы вдруг встал бы там, среди сброда, золотоголовый человек и начал читать громким и звонким голосом:

Несказанное, синее, нежное,  
Тих мой край после бурь, после гроз,  
И душа моя - поле безбрежное,  
Дышит запахом меда и роз.  
Я утих. Годы сделали дело,  
Но того, что прошло, не кляню.  
Словно тройка коней оголтелая  
Прокатилась во всю страну.  
Напылили кругом. Накопытили.  
И пропали под дьявольский свист.  
А теперь вот в лесной обители  
Даже слышно, как падает лист...

Таким сборищем, таким Клондайком от искусства и была Москва двадцатых годов. Поддерживалось во всех этих «Стойлах Пегасов», ЛЕФах, «Ничевоках», во всех этих поэтических тавернах либо то, что открывает широкие возможности для несусветной халтуры, либо посредственное, вроде Казина и Безыменского с Жаровым, конкуренции которых можно было не опасаться.

Теперь представьте, как могли себя чувствовать среди этого сброда истинно талантливые люди вроде Есенина.

Пути борьбы с ними могли быть разными. Булгаков получил триста восемьдесят ругательных, оплевывающих статей в разных газетах и журналах.

Маяковский, приспособивший свой талант к обстановке и вообще приспособившийся к среде, даже вросши в нее через Бриков, призывает сажать в зрительный зал МХАТа своих людей в количестве человек двухсот, которые нарочно освистывали бы спектакли по пьесам Булгакова.

Из Есенина путем сплетен и анекдотов создали образ хулигана и алкоголика.

Судьба Есенина, конечно, оказалась вдвойне и втройне трагичной. Взглянем на это чуть-чуть повнимательней.

Что такое был Есенин, когда он впервые появился на поэтическом горизонте и когда его, как неожиданно засверкавший самородок, представляли царской семье и самому государю? Это был светлый отрок с певучими светлыми стихами. Его образовала рязанская природа, русский деревенский быт и во многих степени странствия вместе с любящей его бабкой по российским монастырям. Недаром нельзя почти найти стихотворения у Есенина, в котором не встретилось бы хоть одно слово из религиозного, церковного, монастырского обихода:

«И березы стоят как большие свечи...»  
 «И под плач панихид, под кадильный канон...»  
 «Церквей у прясел рыжие стога...»  
 «У церквей перед притворами древними  
 Поклонялись Пречистому Спасу...»  
 «Пели стих о сладчайшем Иисусе...»  
 «Не заутренние звоны, а венчальный переклик...»  
 «Матушка в Купальницу по лесу ходила...»  
 «Ходит милостник Никола  
 Мимо сел и деревень...»  
 «Он идет, поет негромко иорданские псалмы...»  
 «Колокол дремавший разбудил поля...»  
 «Собирал святой Егорий белых волков...»  
 «На краю деревни старая избушка,  
 Там перед иконой молится старушка...»

Не надо думать, что эта, так сказать, религиозная терминология свойственна только ранним, юношеским стихам Есенина. Открываем том второй. Первая же строка:

«Господи, я верую,  
 Но введи в свой рай...»  
 «Он придет бродягой подзаборным,  
 Нерушимый Спас...»  
 «О Мать Божия,  
 Пади звездой...»  
 «И пас со мной Исая  
 Моих златых коров...»  
 «Вечер синею свечкой звезду  
 Над дорогой моей засветил...»  
 «Заря молитвенником красным  
 Пророчит благостную песнь...»

И это не говоря уже о целых поэмах и стихах: «Иония» «Преображение», «Пантократор», «Сорокоуст», «Иорданская голубица», «Сельский часослов».

Берем, наконец, самые далекие, казалось бы, от всего этого стихи его наиболее зрелого периода, тех самых двадцатых годов.

«Душа грустит о небесах...»  
 «За прощальной стою обедней  
 Кадящих листвой берез...»  
 «Словно хочет кого придушить  
 Руками крестов погост...»  
 «Словно мельник, несет колоколя  
 Медные мешки колоколов...»  
 «Твой иконный и строгий лик  
 По часовням висел в Рязанях...»  
 «И молиться не учи меня, не надо...»  
 «На церкви комиссар снял крест,  
 Теперь и богу негде помолиться...»  
 «Стыдно мне, что я в бога не верил,  
 Горько мне, что не верю теперь...»  
 «Чтоб за все за грехи мои тяжкие,  
 За неверие в благодать  
 Положили меня в русской рубашке  
 Под иконами умирать».

Как и всюду в этих записках, как на каждой их странице, оставим читателю возможность самому искать и находить примеры, факты и документы, подтверждающие правильность нашей мысли. Берите любой томик Есенина, всюду вы будете находить слова «панихида, свеча, паперть, молитва, икона, церковь, часовня, благовест, крест. Божья Матерь...».

И вот этот-то, не побоюсь повторить еще раз, отрок светлый, пришедший от росы, от цветов, от колоколен, выглядывающих из ржаных полей, от добра, оказался вдруг (опять же повторяю) в Клондайке от искусства, в Москве двадцатых годов, из которой Давид Бурлюк шлет телеграммы своим друзьям в Одессу: «Приезжайте, можно сделаться знаменитыми».

Белый голубь среди воронья. Попытался приспособиться. Несколько человек объявили себя имажинистами — в духе времени. Видно, вне группы тогда совсем нельзя было существовать. «Ничевоки», «Лэфовцы», «Собачий ящик», «Конструктивисты». Придумали и эти себе отличительную мету — самодовлеющий образ. Но никакого имажинизма, конечно, не было. Был только поэт Сергей Есенин, пытавшийся инстинктивно приспособиться к духу времени.

И еще одна форма его реакции на окружающую обстановку. Белый голубь нарочно начинает пачкать и чернить свое белоснежное оперение, а то и выщипывать его, чтобы стать похожим на всех. Он чувствовал, что тут не просто пьяные поэтические таверны, развивающие дух стяжательства, конкуренции, не просто вакханалия дорвавшихся до жирного пирога бродяг, но что тут за всем этим организованная и злая сила, против которой даже не знаешь, как стоять, ибо ее вроде нет, но она есть. Ее вроде не увидишь, не почувствуешь, не материализуешь в единый образ, но она всюду, в каждой газетной строке, в каждой реплике, в каждом злорадном смехе. Тогда так. Вы такие, а мы тоже такие! А вы пить, как я, умеете? И на чем хлеб родится, знаете? Вы жрете его, а мы ведь его того-с, навозом-с. Вас Троцкий с Зиновьевым поддерживают, а меня московские урки любят! Ты меня в газетной заметке уязвишь, а я тебе в морду дам!

Разве не пьянствовал Михаил Светлов? Ежедневно, до самой больницы пил Ярослав Смеляков. Пила Ольга Берггольц, пил Василий Федоров, мертвую пил Панферов...

Я вам назову сейчас десятки своих собратьев-писателей, которые пьют (не исключая и себя, грешного, разумеется), но ведь нет же, не было славы, что Светлов — алкоголик, хотя напивался ежедневно. А про Есенина подхватили: алкоголик, да еще хулиган.

Но все это преувеличение и вздор. Это ведь делается очень и очень просто. Свалился в конце вечера Светлов в ЦДЛ, уснул в кресле в фойе, а ЦДЛ пора закрывать. Сейчас Роза Яковлевна или Эстезия Петровна звонят и вызывают такси. Бережно усаживают Светлова, говорят водителю адрес, либо вызывают по телефону жену, сына, а то и сами проводят домой. Шито-крыто.

Уснул в таком же положении Вася Федоров, а ЦДЛ пора закрывать. Куда звонят Роза Яковлевна и Эстезия Петровна? Может быть, жене Васи Федорова Ларе? О, нет. Они звонят в вытрезвитель. А в вытрезвителе Вася Федоров очнется, будет противодействовать, выкрикивать разные слова, ему там наподдадут, а он даст сдачи. И вот Светлов — скромный поэт, певец гражданской войны, а Вася Федоров — пьяница и буян.

Тогда же не было ЦДЛ и вытрезвителей. Но разве, идучи подвыпившей компанией по Тверскому бульвару, долго спровоцировать уличный скандал, после которого Есенин проснулся бы в участке? Между прочим, есть знаменательная поговорка в стихах Маяковского, там, где он впервые увидел Терек:

...Шумит, как Есенин в участке,  
Как будто Терек соорганизовал  
Проездом в Боржом Луначарский.

Словечко «соорганизовал», мне кажется, стоит очень на месте.

Есть свидетельство, что Есенин каждый вечер на ночь (каждый вечер!) мыл голову, любя свои волосы и ухаживая за ними. Скажите, способен ли спивающийся алкоголик на подобные действия? Но главный аргумент — количество написанного как раз в те годы, в которые — считается — Есенин спивался и пропадал. В эти годы Есениным написано фактически все, что составляет Есенина как поэта. Он писал ежегодно столько, сколько советским поэтам не успеть за всю жизнь, не то что с похмелья, но в благоустроенных домах творчества, питаюсь творогом и кефиром.

Теперь о том, что Есенин был хулиганом. Пусть поговорят сначала его стихи.

Ветры, ветры, о снежные ветры,  
Заметите мою прошлую жизнь.  
Я хочу быть отроком светлым  
Иль цветком с луговой межи.  
\* \* \*

Русь моя, деревянная Русь!  
Я один твой певец и глашатай.  
Звериных стихов моих грусть  
Я кормил резедой и мятой.  
\* \* \*

Я все такой же, сердцем я все такой же,  
Как васильки во ржи, цветут в лице глаза.  
\* \* \*

Будь же ты вовек благословенно,  
Что пришло процвествь и умереть.  
\* \* \*

Вот так же отцветем и мы  
И отшумим, как гости сада...  
\* \* \*

Счастлив тем, что целовал я женщин,  
Мял цветы, валялся на траве  
И зверье, как братьев наших меньших,

Никогда не бил по голове.



\* \* \*

Но и все же, новью той теснимый,  
Я могу прочувственно пропеть:  
Лайте мне на родине любимой,  
Все любя, спокойно умереть!

Выписывать можно без конца. Но можно ли предположить, что все эти стихи, полные грусти, нежности, света и добра, написаны хулиганом? Уж до того он был, видимо, доведен, что хоть умереть дайте спокойно, черт вас всех побери! Нет, не дали спокойно и умереть, довели до веревки, до петли! Впрочем, обстоятельства смерти Есенина не ясны. Как известно, петли не было, веревка была просто замотана вокруг шеи. И была рана на виске. И сестра свидетельствует, что уезжал он в Ленинград в хорошем рабочем настроении.

Могут сказать, что мы сгущаем краски, рисуя обстановку в искусстве в двадцатых годах. Мало ли что Авербах держал в своих руках все литературоведение, Малевич и Штеренберг командовали в живописи, а Мейерхольд разрушал русский театр, глумясь над Островским и Гоголем. Это ведь все субъективно, это ведь все говорится из любви к России, из приверженности к ее прошлому величию, предвзято и тенденциозно.

Но можно в этом случае позвать в свидетели не кого другого, как Маяковского. Уж на что он там был в своей стихии, сам участвовал в создании нарочитого хаоса, в котором могли бы плавать и приспособливаться будущие интеллигенты. Но и его допекло, и его наконец прорвало:

Явившись в ЦКК грядущих светлых лет,  
Над бандой поэтических рвачей и выжиг  
Я подниму, как большевистский партбилет,  
Все сто томов моих партийных книжек.

Слово произнесено. Банда. Банда поэтических рвачей и выжиг. Вот обстановка тех лет в литературе, в литературоведении, в театре, живописи, во всех видах искусства.

При всем том важно было не забыть, что вся эта сумятица должна быть направлена на денационализацию, на разрушение народных ценностей, на выхолащивание патриотизма из русских сердец. Троцкий в одной из своих вдохновенных речей воскликнул: «Будь проклят патриотизм!» О том, как выразился Ося Брик о стихах Кудрейко, напомним: «Этим стихам до полностью белогвардейских не хватает одного только слова — Родина!»

Литератор Н. И. Жаркова свидетельствует, что у нее из какого-то очередного рассказа выбросили слово «Родина» даже применительно к Америке: «Как, вы хотите, чтобы мы учили наших детей слову «Родина»?» Это услышано от нее, как говорится, «из первых рук».

Кроме того, нависала ликвидация крестьянства и превращение его в огромнейшую трудовую армию. Мог ли такой поэт, как Есенин, вписаться в эту грядущую обстановку, в эту, короче говоря, систему? Чуть позже Маяковский и тот понял, что не вписывается. Все яркое должно было уступить место среднему.

Только напрасно думать, заметим вроде бы в скобках, что Есенин ушел как поэт советский. Есенин был последний чисто русский поэт, русский поэт в точном смысле этого слова. Потом уж пошли — советские. Прочитаем, чтобы уж закончить о Есенине, его стихотворение, относящееся к 1922 году, которое не оставляет никаких сомнений о позициях Есенина в той буче, в которой, прямо скажем, нелегко было разобраться, и многое путалось, и были все эти «Песни о 26-ти», но сердце в конце концов не выдерживало, кричало:

Мир таинственный, мир мой древний,  
Ты, как ветер, затих и присел.  
Вот сдавили за шею деревню  
Каменные руки шоссе.  
Так испуганно в снежную выбель  
Заметалась звенящая жуть.  
Здравствуй, ты, моя черная гибель,  
Я навстречу к тебе выхожу!  
Город, город! Ты в схватке жестокой  
Окрестил нас как падаль и мразь.  
Стынет поле в тоске волоокой,  
Телеграфными столбами давясь.  
Жилист мускул у дьявольской выи,  
И легка ей чугунная гать.  
Ну, да что же? Ведь нам не впервые  
И расшатываться и пропадать.  
Пусть для сердца тягуче колка  
Эта песня звериных трав!..  
...Так охотники травят волка,  
Зажимая в тиски облав.  
Зверь припал... и из пасмурных недр  
Кто-то спустит сейчас курки...  
Вдруг прыжок... и двуногого недруга  
Раздирают ни части клыки.  
О, привет тебе, зверь мой любимый!  
Ты не даром даешься ножу.  
Как и ты — я, отвсюду гонимый,  
Средь железных врагов прохожу.  
Как и ты — я всегда наготове,  
И хоть слышу победный рожок,

Но

отпробует

вражеской

кри

Мой последний смертельный прыжок.  
И пускай я на рыхлую выбель  
Упаду и зарюсь в снегу...  
Все же песню отмщенья за гибель  
Пропоют мне на том берегу.

Но далеконок мы ушли в сторону. Вопрос, помнится, был поставлен об историческом казусе. Как же произошло, что Сталин, продолжая осуществлять предначертания и планы, уже разработанные до него, и разрабатывая новые планы глобальной революции, то есть интернациональные, антироссийские идеи, заслужил в конце концов не благодарность, а ненависть людей, произведших революцию или, во всяком случае, воспользовавшихся ее плодами. Что же произошло после смерти Ленина?

К моменту смерти Ленина все было сделано, все расставлено по местам. Основные государственные органы подавления, руководства, власти находились в руках Интернационала. ЧК (в дальнейшем ОГПУ, НКВД, КГБ), армию и ЦК возглавляли и не только возглавляли, но и контролировали на всех средних инстанциях интернационалисты. К моменту смерти Ленина в этих трех основных государственных институтах в центре, то есть собственно в ЦК, ЧК и генеральном штабе, на уровне высшего руководства, средних руководителей, а равно и на местах, в губерниях, позднее в областях, равно и в военных округах, все руководящие нити находились, мягко сказать, не в русских руках. В тех же самых руках и все средства массовой информации, все газеты, журналы, книжные издательства, от главного редактора до заведующего хозяйственной частью, от Мехлисов, Авербахов, Кольцовых, Стекловых до Богорадов вся пресса, литературная критика, радио, все второстепенные государственные институты вроде профсоюзов, министерств, главков, трестов, торговли, медицины, педагогики — все было нанято и захвачено, все было пронизано, все крепко держалось в руках.

Сразу же можно сказать, что к моменту смерти Сталина (тридцать лет власти) по крайней мере в КГБ, ЦК и армии не осталось практически ни одного интернационалиста. То есть, может быть, были один-другой, даже и больше, но — это было уже не принципиально. Принципиально их не было. Не знаю уж, какими соображениями руководствовался Сталин, отбирая революцию из рук Интернационала и пытаясь сделать ее явлением национальным. Им Россия нужна была лишь как средство, для него она стала самоцелью.

Да, они сами сделали его вождем после смерти Ленина. Может быть, в двадцать четвертом году все еще преждевременным они считали для себя сбросить всякую маску и открыто встать во главе диктатуры. Но и русского ставить не хотелось. Грузин — это было то, что надо. А то, что он будет таким же послушным орудием в их руках, как и его предшественник, — в этом они не сомневались. Ведь предстояли в ближайшее время весьма неприглядные и кровавые акции, вроде истребления остатков русской интеллигенции, создания этих самых трудовых армий, коллективизации, закрытия церквей, сбрасывания колоколов, разрушения национальной архитектуры, изъятия остатков золота у населения. Эту черную работу революции лучше было сделать чужими руками, оставаясь как бы на вторых ролях и обладая фактической полнотой власти на местах, в губерниях, в уездах, в больших и маленьких городах России. А потом хорошо будет оправдываться в глазах коренного населения: «Колокола? Церкви? Колхозы? Лагеря? Так это же — усатый грузин!»

Но Сталин оказался своеобразным орешком, и вскоре об него начали ломаться зубы. Огромным событием было отстранение Троцкого от командования Красной Армией. Для людей, не знавших тайны времени, это было просто новое назначение. Подумаешь, один большевик сменил другого большевика. Но люди, посвященные в тайну времени, сразу же могли бы понять все значение этой будничной акции. Недаром В. Маяковский, во многом — рупор Бриков, если понимать Бриков и в буквальном, и в широком смысле этого слова, тотчас разразился эпиграммой:

Горелкой Бунзена  
Не заменить ОСРАМ.  
Вместо Троцкого Фрунзе?  
Просто срам. (42)

Но и Фрунзе, как приверженец мировой революции, мог быть только переходящим звеном. Поскольку была задача отобрать революцию из рук Интернационала и — как лозунг — передать ее в национальные руки, а фактически целиком держать все в своих руках. Сталин, видимо, понимал, что пока революция интернациональна и существуют все эти Коминтерны, то есть высшие революционные органы, с точки зрения которых СССР есть лишь сектор, часть и звено, до тех пор он, Сталин, будет лишь исполнителем чужой воли и чужих замыслов, игрушкой, марионеткой в руках этого самого Интернационала. И что лишь отмежевавшись от пропагандистского мифа о мировой революции и захватив революцию, а вместе с ней и единоличную власть в пределах одной страны, он может стать истинным хозяином положения. Но для этого надо давить и истреблять уже не национальные силы, как это делалось до сих пор, а те самые интернациональные, которые захватили власть в России. Короче говоря, Сталин понял, что он должен захватить власть у захватчиков. В общем-то, почти наполеоновский вариант, только тот ликвидировал республику и превратил ее снова в империю, имея в руках армию, а этот к той же цели шел изнутри, исподволь, расставляя всюду свои кадры и ликвидируя противников.

В первые годы игра была двойной. Одной рукой он отбирал власть у Троцкого, Каменева, Бухарина, Ягоды, Гамарника и т.д., отдавая эту власть Ворошилову, Тимошенко, Жданову, Щербакову, Маленкову, Абакумову, с другой стороны — взрывал храм Христа Спасителя (чего уж не сделал бы десять лет спустя, когда укрепился у власти как следует), проводил коллективизацию, создавал трудовые армии — лагеря.

Но целенаправленность была очевидной, и только тот, кто не понимал тайны времени, не видел внутренней логики в цепи событий. Ворошилов, в конечном счете, вместо Троцкого. Статья в «Правде» («Ответ товарищу Иванову о возможности построения социализма в одной стране»). Роспуск Коминтерна. Попытка из населения снова создать народ, объединяя его вокруг своего собственного имени.

В середине тридцатых годов он почувствовал свое положение настолько прочным, что можно уже было приступить к массовой ликвидации интернационалистов, то есть тех, кто захватил власть и страну в 1917 году.

Когда говорят о репрессиях, сразу называют тридцать седьмой год. А собственно, почему? Чем тридцать седьмой хуже (или лучше, не знаю уж, как сказать), скажем, года 1919-го? Думаете, в тридцать седьмом году уничтожено больше людей, нежели в девятнадцатом? Или думаете, в период коллективизации меньше уничтожено людей, чем в тридцать седьмом году? Потому же никто не твердит нам про страшные 1918, 1919, 1920, 1921 и т.д. годы, а все твердят про тридцать седьмой? Потому что в 1937 году Сталин сажал носителей власти, нанося последний, решительный удар силам Интернационала и окончательно отбирая у них власть в захваченной и оккупированной ими стране.

Конечно, как и всякие революционные действия, это действие было внешне замаскировано. Процветал в правительстве Каганович, как выразительная и удобная вывеска; пел всюду свои одесские песни Утесов; зубоскалил Хенкин, лепетала Рина Зеленая; но за этим внешним благополучием шел активный процесс очищения основных государственных учреждений, основных рычагов власти от евреев, и они это прекрасно знали.

Именно про этот год и сказала Надежда Яковлевна Мандельштам в своих воспоминаниях в том смысле, что, мол, «могли ли мы знать, отменяя всякую законность в 1917 году, что мы отменяем ее и для себя». Да, им начинало отмеряться той же мерой. Начали отливаться кошке мышкены слезки. (43)

Логично, что Сталин начал заигрывать с религией, открывать церкви, снова учредил патриарха Всея Руси, открыл Троице-Сергиеву лавру, поднимал тосты за великий русский народ, возродил погоны, звания офицеров, генералов, министров, солдат, генералиссимуса, реабилитировал слова «Россия» и «Родина». Я думаю, проживи он еще лет десять-пятнадцать, не исключена возможность, что он провозгласил бы себя императором. Я сам видел еще во время войны, как откуда-то привезли в Кремль огромных двуглавых орлов, которые находились раньше на шпилях кремлевских башен.

К 1953 году власть у Интернационала была отобрана по всем линиям и во всех инстанциях. Но ниже власти — в газетах, журналах, телевидении, кино, музыке, театрах, живописи, здравоохранении, (филармониях, Союзе писателей, торговле, педагогике — вся их укоренившаяся и разветвленная масса оставалась, по сути, на местах. Мы видели, как в свое время периферийные массы заполнили вакуум, образовавшийся на месте уничтоженной коренной российской интеллигенции. Произошла подмена. Затем эта новоявленная интеллигенция стала порождать интеллигенцию, ибо, конечно, в консерваторию, в разные театральные, полиграфические, художественные институты легче поступить юноше-москвичу, нежели юноше из какого-нибудь райцентра, из села, из маленькой деревеньки. Провинциальные техникумы и ремесленные училища сделали делом широких масс русской молодежи Костромы и Саратова, Ярославля и Рязани, Пскова и Новгорода, Чернигова, Полтавы, Барановичей, Чебоксар, Казани, а привилегированные высшие учебные заведения, ВГИК и ГИТИС, консерватория и филологические факультеты продолжали долгое время оставаться верными вотчинами московской, ленинградской, новой советской интеллигенции. Конечно, второе и третье поколение этой интеллигенции были уже не сынки и дочери ювелиров, скорняков, фотографов и портных. Это были уже дети Светловых, Литвиновых, Катаевых, Горбатовых, Дунаевских, Покрасов, то есть дети поэтов и композиторов, художников и дирижеров, скрипачей и хирургов, командиров Красной Армии и разных руководящих работников.

Отобрав у Интернационала власть и очистив от него основные государственные органы, Сталин понимал, что надо ему приниматься и за следующий слой, находящийся ниже власти, но являющийся фактически ее опорой. Эта акция у него была запланирована на лето 1953 года, когда предполагалось массовое, поголовное выселение евреев из всех основных городов страны на восток, в Биробиджан, а там в лагеря, для постепенного и полного их уничтожения. Но эту акцию, как известно, он осуществить не успел. С тех пор стабилизировалось и сохраняется в стране ложное, я бы сказал, положение. Оккупация сохранилась, а власти нет. (44) Обычно это внешне выражается так: глава учреждения, как правило, русский, сотрудники же в большинстве своем евреи. Это касается особенно учреждений, связанных с печатью, массовой информацией, разными видами искусства, идеологии, научно-исследовательских институтов, академгородков, клиник.

Скажем так. Московское отделение Союза писателей СССР. Всего членов московской организации примерно 1800 человек. Евреев до 85 процентов. (45) Но первый секретарь, председатель организации, обязательно русский: Щипачев, Михалков, Наровчатов, Смирнов С. С., Луконин...

Мосфильм. Генеральный директор Сурин, или Сизов, русак дальше некуда, весь же остальной состав Мосфильма на те же 80 процентов...

Главный редактор газеты, журнала, директор консерватории, директор Большого театра, министр культуры — обязательно русские (в соблюдение сталинской традиции), а все то, что лежит ниже формальной власти, увы, захвачено. Нетрудно догадаться, кто кем руководит. Наровчатов полтора тысячами человек или полторы тысячи человек одним Наровчатовым. Сизов Мосфильмом или Мосфильм Николаем Трофимовичем Сизовым. На вид подчиняются, но делают, что хотят. Фурцева насмерть стояла, чтобы не дать роль Анны Карениной Самойловой. И не давала долгое время. Но шла подспудная обработка, создавалось общественное мнение, а тут приехали еще из Парижа Арагон и Эльза Троиоле (родная сестра Лили Брик), и дернуло Фурцеву спросить у Арагона (французского еврея), нет ли у него каких-нибудь пожеланий и просьб. И что же пожелал Арагон? Вот мы слышали, что Самойлова хотела бы сыграть... Нельзя ли... Французские коммунисты не поймут вашего строгого отношения к ней...

Сколько угодно может первый секретарь Союза писателей Георгий Мокеевич Марков желать, чтобы в международных связях писателей участвовали истинные венгры, поляки, немцы, чехи, словаки, югославы, румыны, с одной стороны, и русские — с другой стороны. Но конкретные списки делегаций составляются рядовыми сотрудниками как в Москве, так и в Будапеште (Варшаве, Бухаресте, Праге), списки рекомендуемых к переводу книг по обе стороны составляются опять же рядовыми сотрудниками. И все знать нельзя. И за всем не уследишь. И получается, что начальство сидит само по себе, а жизнь за их спинами течет сама по себе.

Но начальник может дать указание. Все приготовлено к той или иной маленькой акции, будь то съемка фильма или телепередача, вечер в Колонном зале, заграничная поездка, издание книги, назначение желаемого человека на пост, скажем, редактора журнала (в сферах юриспруденции,

здравоохранения, дипломатии — свои акции), но вдруг поступает указание, и акции пресекаются. Просто с общественным мнением бороться, создавая свое общественное мнение, в стадии уговора и воздействия. Но когда поступило твердое указание — ничего уже сделать нельзя. Поэтому главная критика, главный сатирический огонь (а он весь, целиком в их руках) ведется по начальникам и их указаниям. Это главное бельмо на глазу, которое досадно мешает. Прислушайтесь к болтовне Аркадия Райкина, и тотчас вы услышите, что начальники дураки и что указания они дают дурацкие. Два слова — дурак и указание — самые популярные слова у сатириков.

Может быть, и правда начальники дураки. Более того, они очевидные дураки. И все же они образуют тот барьер, который мешает определенным массам, рассыпанным кишачим слоем ниже власти, эту власть опять захватить. То, что было одним махом захвачено в 1917 году и что потом отобрал Сталин, оттеснив их на запасные позиции, надо теперь завоевывать медленно, путем постепенного проникновения, занимая местечко за местечком, должность за должностью. Происходит, так сказать, диффузия из нижних слоев в верхний с одновременным разъединением и расшатыванием устоев власти и государства, чтобы, расшатав окончательно, вернуть себе позиции, занимаемые в двадцатых годах и столь горестно и внезапно утраченные. Идет повседневная, кропотливая работа по подпиливанию устоев государственной власти, по ее разложению, потому что потеряна формальная власть и потому что ее необходимо вернуть. (46)

Начальники же сверху донизу — очевидные дураки, потому что, с одной стороны, сдерживают евреев и очень часто являются откровенными антисемитами, а с другой стороны, продолжают нести вперед и осуществлять их лозунги, их идеи по денационализации России, привнесенные в Россию и провозглашенные в 1917 году.

Я не могу сейчас сказать, за какое количество наших бесед с Кириллом и Елизаветой Сергеевной, вернее, за какое количество бесед со мной они прокрутили всю эту схему. Приходится еще раз сказать, что разговоры наши не имели (ей стройности и последовательности, которую я пытаюсь придать им здесь, на бумаге, ради компактности и удобства читателей, хотя я и не уверен, что эти записки кто-нибудь когда-нибудь прочтает. Разговоры велись отрывками, изо дня в день, между делом. Вклинивались поездки по Москве, посетители, да и просто шла повседневная жизнь. Но в конце концов возникла стройная и логическая схема, которая здесь, может быть, не очень удачно изложена.

Именно — схема. Я видел, что если захочу, могу любой ее пункт, любое ее звеньшко насытить конкретным жизненным материалом, почерпнутым из книг, из документов, из разговоров с очевидцами и участниками событий, из окружающей нас действительности.

Между прочим, то же самое может сделать и предполагаемый читатель. Ибо если бы каждое звеньшко этой схемы насыщать цифрами и фактами, то получилось бы многотомное историко-социологическое исследование.

Например, я привел процент евреев в Московской писательской организации. Читатель может поинтересоваться в дополнение к этому, каков этот процент в Союзе журналистов, в Союзе композиторов, у кинематографистов, в Москонцерте, в Союзе художников, в Госфилармонии, в Союзе архитекторов, на телевидении... Некогда проверять, но где-то кто-то обмолвился, что если взять всю, так сказать, творческую интеллигенцию Москвы: эстраду, филармонию, Москонцерт, театры, кинематограф, телевидение, радио, живопись, музыку. Союз журналистов, редакции газет и журналов, то не евреев получится всего лишь около четырех процентов.

Например, упомянуто только об одном способе ликвидации русских крестьян, а именно об увозе их на баржах в низовья Оби, на Васюган, и о высадке там на верную гибель. Но можно ведь было нарисовать согни и сотни картин.

Приезжайте в любой городишко, поговорите там, добившись откровенности, с любым пожилым человеком, расспросите его, что в городе взорвано и разрушено, как все это происходило и как было до этого, и вы увидите, что схема зашевелилась, оживает, замкнувшись на живую действительность.

Если я скажу, что я не был потрясен тем, что узнал и передумал за очень, в общем-то, короткое время, то я еще не скажу ничего. Как нетрудно догадаться, я пришел в мастерскую Кирилла Буренина одним человеком, а ушел другим. Если искать точности, я пришел слепым, а ушел зрячим. И теперь уж всюду, на что бы ни упал мой взгляд, я видел то, чего не видел по странной слепоте. Я познал тайну времени. Не до конца пока что, как потом оказалось, не до последней ее глубины и точки, но все же завеса приоткрылась, и я, до сих пор видевший лишь циферблат и слепо веривший в непогрешимость движения стрелок, увидел еще и весь внутренний механизм часов, внутреннюю пружину,

Но внешне жизнь моя не могла измениться, по крайней мере, столь быстро. Мое ежедневное, в том числе и писательское, поведение не могло соответствовать, по крайней мере полностью, моим теперешним мыслям и чувствам. Это было бы не столь важно при какой-нибудь другой, нейтральной профессии. Скажем, токарь или инженер-строитель мостов. Думай себе, что хочешь, а дело делай, мосты строй. Но высказывать свои мысли и передавать другим свои чувства — это и есть моя профессия, единственное дело, которое я умею и обязан делать. Можно легко понять сложность и двойственность положения, в котором я очутился, и все духовные муки, которые ждали меня теперь.

Простенькое, уже однажды употребленное где-то мной в романе сравнение с загадочной картинкой из старинного журнала. Ну, скажем, «Нива». Нарисованы лес, переплетенья деревьев, сучьев, мелких ветвей. Спрашивается, где охотник и где белка? Фигуры охотника и белки образованы теми же линиями, которыми изображены деревья и ветки. Вертишь картинку так и сяк и ничего не видишь, кроме ветвей. И вдруг — вот оно! Вот беличий хвост, вот ее ушки, вот ее мордочка, вот ствол ружья, борода, сапоги, патронташ. Теперь сколько уж ни хитри, сколько ни отводи глаза, сколько ни взглядывай на картинку как-нибудь так, чтобы не увидеть охотника с белкой, — ничего не получится. Процесс необратимый. Если увидел, то будешь видеть и будешь удивляться тому, что несколько минут назад эта картинка существовала для тебя без охотника и без белки, без загадки, без тайны, заключенной в ней художником. Будешь удивляться своей недавней слепоте, а также и слепоте своих сверстников, которые при тебе вертят картинку так и сяк и не видят ничего, кроме деревьев, и даже яростно спорят, что, кроме деревьев, ничего здесь больше не изображено, что есть же у них глаза, не слепые же они, не дураки же они, что не видят, если картинка у них перед глазами!

Нет, друзья мои, изображено, изображено. И белка есть, и охотник. И я их вижу. Вы не дураки и не слепые, вообще-то говоря. Но вы не проникли в секрет, в загадку, в тайну картинки. Если же взять за

картинку всю нашу действительность, — в тайну времени. (47)

ОТЧЕТ  
о поездке в Польшу делегации советских писателей  
в мае 1961 года

Состав делегации: Солоухин В. А.  
Бондарев Ю. В.  
Винокуров Е. М.  
Кузнецов Ф. Ф.

Делегация выезжала в Польшу по приглашению о-ва Польско-Советской дружбы 11 мая 1961 года. Когда мы приехали в Варшаву, нам предложили проект программы, рассчитанный на 15 дней. Тщательно ознакомившись с ним и посоветовавшись с советским посольством, мы приняли предложенную программу с незначительными коррективами.

В программе был сделан акцент на встречи нас, советских писателей, с читателями Польши. В то время в Польше проходил месячник книги, в связи с которым нам и было прислано приглашение.

Во время месячника в городах Польши устраиваются большие книжные ярмарки в воскресные дни. Эти книжные ярмарки превращаются в настоящие праздники для горожан. Горожане приходят сюда целыми семьями, с детьми, как на гулянье. Во множестве красиво оформленных киосков среди парковой зелени продаются книги, альбомы репродукций, пластинки. Тут же писатели ставят свои автографы на купленных книгах.

Мы по предложению и настоянию пригласивших нас польских товарищей были разделены на две группы. Одна (Солоухин и Бондарев) выехала в города — Лодзь, Вроцлав, Ополе, Еленина Гора, Торошев, Катовицы, Краков; другая (Ф. Кузнецов и Е. Винокуров) по маршруту Познань, Гданьск, Гдыня, Краков.

В общей сложности мы провели тридцать четыре встречи, охватившие более 10 тыс. человек. На каждой встрече присутствовало по несколько сот человек, а сама встреча продолжалась от двух до трех с половиной часов. Встречи проходили, как правило, в клубах международной книги и в высших учебных заведениях.

Главным образом, это были вопросы и ответы, а потом чтение стихов. По вопросам было видно, как велик интерес у польских читателей к Советскому Союзу, а также к советской литературе. Видно было, что очень часто польские читатели либо знают обо всем этом мало, либо имеют превратные представления. Так, например, частенько нас спрашивали: запрещен ли у нас Сергей Есенин? Можно ли у нас писать стихи о любви или только о производстве? Можно ли у нас высказывать свое мнение о вещах? И т.п.

Но большинство вопросов касалось серьезных проблем искусства, и беседа была каждый раз по-новому интересной. Иногда вопрос касался абстрактного искусства либо молодой польской поэзии. Нужно и важно отметить, что во время этих дискуссий аудитория реагировала бурно, доброжелательно и, как правило, поддерживала нашу точку зрения.

Наши стихи принимались польской аудиторией очень хорошо.

Случалось, что вначале аудитория принимала нас настороженно, а провожала горячо и дружески. Многие люди подходили к нам после встречи и говорили, что во многом думали о Советском Союзе неправильно, превратно.

Хотя времени оставалось очень мало, мы каждую минуту тратили на знакомство с польским искусством, осматривали выставки живописи, посещали театр, знакомились с польскими поэтами и писателями. Для нас устраивались специальные просмотры польских художественных и документальных фильмов.

Кроме того, были встречи другого характера — за столом, за чашкой кофе. Иногда это мог быть либо ужин, либо обед.

Однажды нам был дан ужин польскими крупнейшими писателями: Броневским и Добровольским. На одной из встреч присутствовал член ЦК ПОПР т. Красько.

Такие встречи также проводились в Союзе писателей, в редакции газеты «Нове культура», в редакции журнала «Творчество», где нас принимал главный редактор журнала — председатель Союза писателей Польши — Ярослав Ивашкевич, в редакции журнала «Пшиязнь» и т.д.

Накануне нашего отъезда была устроена пресс-конференция, на которой мы сделали заявление о нашем пребывании в Польше, а также ответили на многочисленные вопросы.

Руководители общества Польско-Советской дружбы высоко оценили значение нашей поездки. Они заявили, что «мы помогли им найти дорогу к широким молодежным аудиториям».

Очень положительно оценили нашу работу также в советском посольстве в Варшаве.

Глава делегации советских писателей в Польшу  
В.Солоухин.

Сочинив этот документ и перепечатав его на машинке, я переоделся, чтобы тотчас отвезти его в Иностранную комиссию Союза советских писателей. Но невольная грусть овладела мною. Тут-то я почувствовал вдруг, что переступил в своей жизни незримую, но явственную черту. Поездка в Польшу была все еще там, в прошлом, когда я многого не понимал, если не сказать, что был слеп. Но зато — глава делегации. Зато — обед с Броневским и Добровольским. Зато — беседа с членом ЦК польской партии тов. Красько. Правда, пульс у меня был уже и тогда (недаром же и нацелился на меня Кирилл Буренин), потому что вспоминаю, как тому же т. Красько в присутствии других журналистов и всей нашей делегации я задал, мягко выражаясь, нарочитый вопрос.

— Товарищ Красько, — спросил я, — Польша — социалистическая страна, но вы распустили кооперативы, то есть колхозы. Допустим, что был такой момент, когда это нужно было сделать. Но теперь момент прошел. Не собираетесь ли вы вновь постепенно объединить крестьян в кооперативы?

Я не ждал какого-нибудь вразумительного ответа, мне хотелось только вслух произнести фразу о том, что распущены колхозы. И живут же люди. Не гибнут, не хиреют, и оказался возможным обратный процесс, в то время как мы говорим о необратимости некоторых исторических процессов. Но ответ т. Красько превзошел все мои ожидания:

— Да, надо бы... Надо бы снова кооперативы, — как-то даже очень оживившись, ответил член ЦК.

— Но мы сейчас не можем позволить себе этой роскоши.

— Почему?

— Извините, но нам нужны продукты. Пожалев, что этот эпизод нельзя вставить ни в объяснительную записку, ни в какую-нибудь статью, я положил бумагу в портфель и отправился в Союз писателей, намереваясь сначала зайти в ЦДЛ и там пообедать.

Вот оно, наполнение схемы жизнью. То есть, если принять формулу, что произошла оккупация страны, и уж, во всяком случае, ее культуры и ее идеологических центров, и если вообразить бы, что все захватчики оделись в какую-нибудь свою особенную форму, то, пожалуй, москвичи, выйдя утром на улицу, увидели бы, что живут и впрямь в оккупированном городе. В двадцатые годы непременно увидели бы. Невозможно ведь было зайти ни в одно ответственное учреждение, где вас за столом не встретил бы человек в предполагаемой форме. Ни одной важной бумаги и справки, ни одного разрешения на что бы то ни было (а главным образом, на паек), ни одного ордера, начиная с жилплощади и кончая меховой шапкой, невозможно было бы получить, кроме как из рук человека в форме. Если бы они все сразу ее надели.

Теперь, когда, как уже было выяснено, из верхнего этажа, то есть из этажа формальной власти, их попросили и они отошли на запасные позиции, рябило бы в глазах от униформы, не в Моссовете или райкомах и райисполкомах, но в клиниках, редакциях, издательствах и учреждениях, подобных нашему ЦДЛ.

Я нарочно напряг воображение и надел на них всех форму, мундиры, и получилось сразу, что я тут абориген, туземец, пришедший в привилегированный офицерский клуб, где, как могут, развлекаются господа офицеры из оккупационного корпуса, которые, правда, оказались вдруг временно как бы в отставке, не у власти, но все они тут, и боеспособны, и ждут, возможно, задуманного часа, сигнала или, как они сами называют, «назначенный день».

Я в этом привилегированном клубе завсегдатай и свой человек. Еще бы, я с 1946 года хожу сюда. Но главное, потому что лоялен к хозяевам клуба и в антисемитах не числюсь. Поэтому если не любят, то всячески привечают. Не успел я пройти мимо двух привратниц (в форме) и отдать плащ Афоне-гардеробщику (наш человек, из аборигенов), кивнуть дежурной по Дому, сидящей у телефона за столиком (в форме), как в фойе меня изловила Роза Яковлевна. Офицер, никак уж не ниже майора, заведует тут культурно-массовой работой, ведет также Университет культуры, на занятия которого приглашаются москвичи и москвички. Черпать культуру и приобщаться. На сцене 7 — 10 человек писателей, которые будут выступать. Пропорция такова: из 10 человек — семеро в форме. И так, не успел я войти в фойе, как меня изловила за руку Роза Яковлевна:

— Владимир Алексеевич, голубчик, выручайте. Вы ведь мой должник. Прошлый раз подвели, не выступили.

— Когда же теперь?

— Сегодня, Володечка, сегодня.

— А о чем?

— Язык русской прозы.

— Кто же будет учить их вместе со мной языку русской прозы?

Этот вопрос, в общем-то обычный (я хотел ведь спросить лишь, с кем вместе придется мне выступать), прозвучал неожиданно резко и оголенно. Роза Яковлевна вспыхнула, но сдержалась, ответила спокойно, вежливо;

— Обещали прийти Юрий Нагибин и Юрий Яковлев. Может, придет Рекемчук.

«Так, еще три мундира», — это я про себя, конечно, а вслух отказался наотрез, не потому, что — мундиры (все это мои добрые знакомые, а Саша Рекемчук, можно сказать, очень хороший знакомый, если не друг, с тридцатилетним почти стажем знакомства), но просто сегодня вечером я никак не мог выступать, ибо обещал быть у Кирилла.

— Ну, очень жаль, — обиделась Роза Яковлевна. И вдруг добавила: — От вас я этого не ожидала.

И было понятно мне, что последнее относится не к моему отказу, а к моей грубоватой фразе, прозвучавшей не то чтобы двусмысленно, но с намеком. Но, значит, она поняла этот намек. Значит, она все понимает и знает. Это я только вчера прикоснулся к тайне времени, а оно — вон оно что!

Не успел я отойти от Розы Яковлевны, как пришлось здороваться с профессором Металловым. Этому полагался бы генеральский мундир. Металлов, конечно, псевдоним, настоящая его фамилия неизвестна. В первые годы советской власти он возглавлял ЧК в Воронеже. Эх, и попил же русской кровушки! Когда я учился в Литературном институте, он был уже у нас профессором) читал спецкурс по Гейне. Теперь вот одряхлел, в полной отставке, часто бывает в ЦДЛ, только по крепости характера не хвастается вроде той чекистки, сколько и как было отправлено в воронежский чернозем. А так все мирно, с улыбочкой, с доброжелательностью: «Владимир Алексеевич, как живете? Здравствуйте, здравствуйте».

Посреди фойе за большим столом играли в шахматы на трех досках шесть мундиров, а еще пять мундиров смотрели на игру, если не считать Алешу Смольникова, который стоял тут же, посасывая сигарету в мундштуке, и который, если бы моя условная игра превратилась в действительность, тоже надел бы оккупационный коллаборационистский мундир, хотя и русачок, откуда-то с Камы, но настолько верно и примерно с ними якшается.

А вот и буфет. Буфетчица Анна Ивановна наша, своя. Очередь за кофе: из восьмерых стоящих — семеро в форме. Пройдя мимо них, я вошел в ресторанный зал.

Надо оговориться, что я искренне не чувствовал неприязни ни к Розе Яковлевне, которая по своему мне симпатична, ни к этим играющим в шахматы, ни к стоящим в очереди за кофе. Во-первых, привык за столько-то лет, во-вторых, никто из них конкретно мне ничего плохого не сделал, и не за что мне их ненавидеть или, скажем помягче, относиться к ним с неприязнью. Но все же меня одолела некоторая растерянность, когда я мысленно одел их всех в униформу и оказался теперь в кофейном зале ЦДЛ не в единственном ли числе.

Входя в ресторанный зал, обычно окидываешь взглядом все столики, ища глазами не столько свободное место, сколько знакомых, чтобы не обедать в угрюмом одиночестве. Ресторан небольшой, столов пятнадцать всего, человек, значит, на 70 — 80. Но обычно не занято и половины, как говорится, посадочных мест, и выбираешь обычно не стол, а официантку, которых мы все знаем по именам: Таня, Клава, Зина, Валечка, Рита, Аня... В большинстве аборигенки, сфера обслуживания.

На этот раз я, как вошел, сразу и увидел, что под антресолями, около камина, сдвинул два стола,

сидят русачки, человек десять. Редкий случай, чтобы так-то вот собрались вместе, за один стол, да еще в Доме литераторов. Это бывает обычно после какого-нибудь совещания, где все равно уж все собрались, так не пойти ли вместе и пообедать? Таким образом возник островок в ресторане, оазис, явление, повторяю, довольно редкое. По памяти назову, кто был: Вася Федоров, Миша Алексеев, Володя Чивилихин, Грибачев, Фирсов, Егор Исаев, Михаил Бубеннов, Иван Стаднюк...

Однако, как бы в компенсацию, справа и слева от них, тоже соединившись, гулял левый фланг — сразу мундиров двадцать. Ловлю себя на том, что слово «еврей» и словосочетание «еврейские столы» писать не привычно, и рука как бы тормозит и отказывается, словно пишу нечто запрещенное, нецензурное и недостойное писательского пера. Вот ведь как внушено и введено в кровь и в мозг. Допустим, обедали бы рядом грузины: Абашидзе, Нонешвили, Карло Каладзе, Отар Челидзе... Разве трудно было бы мне написать про них, что это был чисто грузинский стол. Грузинский написать легко, а еврейский никак не пишется. Не привыкли ни бумага, ни перо, ни сама рука. Приучены не употреблять слово «еврей», кроме как в разговоре, да и то понижая голос. Создано общественное мнение, что одно только упоминание слова «еврей» и есть уже проявление антисемитизма, а это, разумеется, некрасиво, неинтеллигентно и недостойно. Но я ведь не жидами их ругаю (такого слова нет в моем лексиконе), но просто говорю, что за большими сдвинутыми столами сидели шумные, подвыпившие еврейские компании, и между ними — стол с русачками-правачками: Алексеев, Грибачев, Фирсов, Чивилихин, Иван Стаднюк, Егор Исаев, Михаил Бубеннов.

Гораздо позже, когда я оказался в Париже и встречался с русскими эмигрантами, никак не могли понять оторвавшиеся от советской действительности люди, кого же мы здесь у нас называем левыми, а кого называем правыми? И как это все перевернулось? Поскольку придется, наверное, и впредь оперировать этими понятиями, то не лучше ли сразу объясниться.

Эмигрантам непонятно было вот что. У нас государство революционное, левое по самой своей сути. Правыми были Государь, Столыпин и вся, так сказать, реакция. А левыми были революционеры. Самыми же левыми, крайними, были большевики. Порядок ясен: чем ближе к царю, Столыпину, вообще к государственной власти, тем правее. Чем враждебной царю и вообще власти, тем левее. Ленин — крайняя левая точка. СССР — самое левое государство на земном шаре.

Но затем что-то незаметно перевернулось. И теперь людей, защищающих существующий в нашей стране режим, стоящих за него грудью, стали называть правыми. А людей, занимающих критические позиции, подпильщиков, разлагателей, расшатывателей существующего режима стали называть левыми. Даже и в искусстве: соцреализм — правое, абстракционизм — левое. Кочетов, Грибачев, Налбандян, Бубеннов — правые; Евтушенко, Вознесенский, Эрнст Неизвестный — левые.

В этой путанице действительно нелегко разобраться. Я им пытался там, в Париже, втолковать, что, по-видимому, правыми должны при всех обстоятельствах называться те, кто стоит на страже существующего режима. Левыми же должны называться те, кто идет против существующего режима, стараясь его всячески уязвлять и расшатывать. Столыпин стоял на страже и назывался правым. Кочетов с Грибачевым стоят на страже и называются правыми. Революционеры расшатывали, значит, левые. Современные евреи расшатывают — значит, левые.

— Но поймите, — говорила опять Софья Михайловна. — Государство у вас левое, революционное, большевистское, почему же люди, стоящие за него, — правые, а люди, идущие против него, — левые?

Действительно, поди разберись! Но факт остается фактом. По существующей теперь терминологии и градации, за средним столом сидели русачки-правачки, «гужееды», как их еще называют по существующей в писательской среде терминологии, а по бокам за двумя столами сидели так называемые интеллектуалы, леваки: Нагибин, Беллочка Ахмадулина, Булат Окуджава, Женя Винокуров, Лев Гинзбург, Женя Евтушенко, Поженян, Вася Аксенов, Юнна Мориц, ну, и еще там... я уж теперь не помню.

Как только я остановился среди зала, оглядывая столики, сразу жестами и кивками поздоровались со мной Евтушенко и Нагибин, Булат и Беллочка, но сразу же горячо и восторженно замахали руками Чивилихин, Алексеев, Егор и Фирсов, приветливо заулыбались Стаднюк и Федоров:

— К нам иди, к нам.

И уже задвигались, освобождая место еще для одного стула, и уже Тамара ставила чистый прибор и рюмку, а в рюмку уже Стаднюк, сидевший неподалеку, наливал мне коньяк.

Конечно, если бы не сидела уже сложившаяся компания, я бы уселся за столиком один. Мог бы сесть в другой обстановке к Евтушенко и Нагибину, как они могли бы сесть ко мне. В равной степени мог бы объединиться для обеда с Алексеевым и Стаднюком, как и они со мной. Не было бы тут никаких проблем. Но в данном случае зал был явственно разделен на два фланга, и я механически, самой стихией текущей действительности был немедленно присоединен к русскому, правофланговому, по своей политической сути, к правому столику.

И правда, ведь все друзья. С Мишей Алексеевым я ездил в его село Саратовской области, у Чивилихина бывал в гостях, в шахматы играем. С Бубенновым я мало знаком, а Грибачева откровенно не люблю, но в большой компании это не имело значения. Я ведь не обязан объясняться им в своих чувствах. Единственная неудача, что Бубеннов ходит в отъявленных антисемитах и ненавидим леваками, и создана вокруг него такая обструкция, что даже если рядом посидишь, то можно измазаться. И мог ли я с теперешними моими, прочищенными Кириллом Бурениным мозгами найти какой-нибудь общий язык с Грибачевым и Бубенновым, не легче ли (парадоксально, но факт) я нашел бы его . за соседним столом?

Как же мог я, с другой стороны, найти его за соседним столом, если уж я мысленно одел их всех в униформу и почувствовал бы себя аборигеном среди офицеров оккупационного корпуса?

Абориген потянулся к аборигенам, и я уселся между двумя Михаилами — Алексеевым и Бубенновым: такое уж мне при двигании стульев определилось место. Миша Алексеев сидел ко мне глуховатым своим ухом (у него одно ухо плохо слышит), и с ним трудно было бы говорить. Таким образом, собеседником у меня оказался Бубеннов, с которым прежде мне разговаривать как-то не приходилось.

О чем бы мы говорили с ним, если бы я был таким, каким был до встречи с Кириллом Бурениным? Нашлось бы много общих приятных тем. Могли бы вспомнить деревню и крестьянство, каким мы оба знали его в нашем детстве и ранней юности, умиленно вспоминали бы все мелочи крестьянского быта, все крестьянские работы, и может быть, слеза навернулась бы даже на суровые очи Бубеннова,

но в нашем мозгу не проскочило бы ни одной искры, связующей факты. Нам не пришло бы в голову размышлять, а что же произошло с крестьянством? Во что оно превратилось теперь? И как это, и почему, и зачем с ним так поступили? Мы знали бы каждый про себя, что в колхозах у нас повсюду беспорядок, урожаишки низкие, коров кормят зимой древесными ветками (веточный корм), коровы по колени тонут в навозной грязи, люди бегут в города, а те, что не бегут, спиваются на месте, — мы все это знали бы про себя, но противопоставления той деревни, которую мы еще успели увидеть, у нас в разговоре не появилось бы. Мы не стали бы докапываться до причин — а почему же деревня стала такой? А если бы кто-нибудь и ударился в мрачные тона, тотчас бы ему дали отпор телевизорами и мотоциклами, которых, и правда, много теперь развелось в деревне, словно в телевизорах и мотоциклах все радости жизни, вся глубина ее духовного содержания, все душевные радости, все благосостояние и все будущее.

Нет, разговор соскакивал обычно на рыбалку, на женщин (на баб) и на евреев опять же без связи с глубинными процессами, происшедшими и происходящими в государстве. Но вот, де, много их развелось, мы нацменьшинство в русской литературе, критика у них в руках, не пускают, зажимают, процветают, делают, что хотят. Вот при Сталине...

Но я уже не мог поддерживать такого разговора и вскоре (не помню уж теперь самого перехода) доверительно и задушевно высказал Бубеннову один свой заповедный тезис. Наверное, мною руководила надежда, что не может же быть совсем слепым известный и пожилой писатель, который на протяжении десятилетий наблюдает жизнь вокруг себя. Россию любит. «Белую березу» написал. Неужели же ничего не понимает?

Вот теперь вспомнил и переход. Кто-то рассказал модный анекдот про Василия Ивановича и Петьку. Один из сотен, ходящих теперь. Что-то вроде: «Лежат Чапаев и Петька на берегу реки. Чапаев говорит: «Вот, Петька, война кончится, на том берегу консерваторию построим». — «Зачем, Василий Иванович?» — «А пуцай народ ходит и бесплатно консервы ест». Кстати, постепенная и сознательная деромантизация гражданской войны — это подпиливание одного из устоев. Может быть, я даже сказал об этом своему собеседнику, чем, несомненно, заслужил бурное одобрение и озлобленное шипение в их адрес:

— Гады, гниды, все святое готовы с дерьмом смешать. Конечно, им что! Они в кожаных куртках ходили, а кровь-то русские мужики проливали. Ой, много крови...

Смог ли я удержаться после этих проникновенных слов и не подхватить, не продолжить мысль:

— К сожалению, не одни мужики. Вот знаешь — замечательный фильм «Чапаев». Но у меня было два периода его восприятия. Помнишь, когда идет в наступление офицерский Каппелевский полк, а под кустом Анка-пулеметчица. Так вот, когда она начала строчить и ряд за рядом стали валиться белые офицеры, а потом и повернули в конце концов, я, бывало, улюлюкал вместе со всем зрительным залом:

— Давай, Анка, строчи, бей беляков! Строчи, кроши!

— Ну? Правильно! — не понял, к чему я клоню, русский писатель-антисемит.

— Ну а потом я пришел к другому состоянию. Недавно пересмотрел фильм и плачу на этом месте. Да это же она русских, русских строчит, офицеров, интеллигенцию берет на прицел, Гумилевых, Лермонтовых, Раевских, Одоевских, Чаадаевых, Куприных, Толстых, будущих Суворовых. Ведь все они тоже офицерами были. Господи, думаю, «своя своих не познаша, своя своих побивахом». Стравили нас, как дурачков, а мы и рады стараться. Кроши, Анка, строчи, кроши!.. И вот я плачу, глядя на эту сцену, а было время — аплодировал, улюлюкал.

— Так ты что, за беляков, что ли? — тупо уставился на меня русский писатель-антисемит.

— Я за русский народ, за Россию.

— Как же ты за Россию, если за беляков? Подлец ты после этого...

Возможно ли было ему доказывать теперь, что Россию строили, собирали не одни мужики, что было уж для меня очевидным и ясным. Может быть, я и постарался бы кое-как ему доказать, но слово было произнесено. Мы ведь теперь безответственно бросаемся словами вроде «дурак, гад, подлец, сволочь, наглец, паразит...». Лезет человек без очереди, ему говорят «наглец», а он только ухмыляется, словно его самым красивым словом назвали. Мы как бы даже не слышим этих слов, ставим их вровень с остальными словами. Лишнее подтверждение этому то, что, когда потом разбирали этот инцидент за этим столом (как мне рассказывал Чивилихин), никто не мог понять, чем же я оскорбился. Разговор о Чапаеве слышали, а слово «подлец» не слышали. Поразительный и поучительный факт. И реакция была мгновенной. Я врезал Бубеннову звонкую двойную пощечину — ладонью и тыльной ее стороной при обратном движении руки, сказал, что жду его в фойе для дальнейших разговоров, если есть такое желание, и быстро вышел.

Вместо Бубеннова выскочил в фойе Юрий Нагибин, пировавший, как помним, за соседним столом.

— Володя, молодец! Наш стол в восторге. Мы все видели. Это такая гадина! Молодец, от имени стола дай пожму твою руку!

Значит, что же произошло? Ненавидящий евреев русский писатель Михаил Бубеннов грудью встал на защиту еврейской идеи, евреями спровоцированной и руководимой гражданской войны. Другого русского писателя, ополчившегося на еврейскую идею, он назвал подлецом. Получил за это пощечину к восторгу евреев, несмотря на то, что он защищал их идею. Строго говоря, разыгралась маленькая гражданская война к вящей радости и потиранию рук наблюдателей за соседним столом. То-то сладостно, когда один русачок бьет другого русачка. Но странным образом симпатии наблюдателей оказались не на стороне революционера Бубеннова, потому что он был «правее» меня, то есть ближе к формальной власти, которая ушла у них из рук. А я пока со своими взглядами годился уж и в подпилывальщики. Как же было не пожать мне руки, не одобрить пощечину, которую я влепил ярому защитнику власти? Компас Кирилла все показывал очень точно.

...На Пасху решено было пойти в церковь, в Елоховский собор. В пасхальную ночь около церкви всегда столпотворение вавилонское: ограждения из автобусов, оцепление милиции, комсомольские дружины, патрули — для того, чтобы по возможности помешать проникновению в церковь молодежи. А вокруг каждой церкви толпа, которую не вместило бы и десять таких соборов. Разве что все взорванные четыреста московских церквей, включая и огромный храм Христа Спасителя, включая и обезглавленные, обескрещенные, переделанные под склады да разные мастерские или просто так запущенные московские церквушки, иногда только приведенные во внешний порядок, вроде как у гостиницы «Россия»; включая и бездействующие, спящие в летаргии, хотя и не взорванные, но



закрытые, немые, холодные, мертвые в эту пасхальную ночь соборы Московского Кремля.

Тогда распределились бы верующие равномерно, и всюду звонили бы колокола, и пылали свечи, и шла бы нормальная жизнь, нормальная пасхальная ночь.

— Ну вот, наглядное пособие для изучения истории СССР, — не упускал секунды Кирилл. — Съехались иностранцы, смотри, сколько машин. «Мерседесы», «ситроены», «кадиллаки», фоторепортеры и журналисты. Русские туземцы, аборигены празднуют пасху в условиях сурового оккупационного режима. Оккупационные власти идут на маленькие уступки, оставили несколько церквей, чтобы продемонстрировать перед иностранцами свободу вероисповедания. Но какая же это свобода, если она не обеспечена возможностью войти в храм? Это не свобода, а особая, изощренная форма издевательства. Колокола звонят шепотом, в храме жарко. Духота, давка, невозможно пошевелиться. Где там молитвенное настроение, религиозное состояние...

Я заранее удивлялся, как же мы сумеем пройти через эти кордоны, через толпу, но Кирилл, увлекая меня за собой, обошел столпотворение. Через калиточку в железной ограде мы попали в тихий, безлюдный двор, где стояла только одна черная «Чайка» и прогуливались три молодца, наверное, владеющие приемами самбо.

— К Владыке, по договоренности, — обронил им Кирилл, и они тотчас, не сомневаясь и не проверяя у нас документов, пропустили нас дальше. Двор образовывался с одной стороны — стеной собора с дополнительным служебным ходом в него, а с другой стороны — одноэтажной постройкой со многими дверями, вроде как кельями. В одну дверь мы вошли. Тут тишина. В полумраке — лампы перед образами, женщины в черном и черных платках (прислужницы, «матушки») и монах в черной рясе, молодой, рослый, с рыжеватой бородкой. Этот уж вроде личного секретаря или, скажем, помощника у Владыки, а уж как он там называется по-церковному, служка или келейник, не все ли равно.

— К Владыке.

Монах узнал Кирилла, и они обменялись даже легонькими понимающими усмешками.

— Пожалуйте, пожалуйста, — торжественно пригласил нас монах.

Владыка сидел и поднялся нам навстречу. Это был настоятель Елоховского собора архиепископ Леонид. Кирилл учил меня заранее, как надо подходить под благословение к Владыке (или к патриарху, если бы привелось), но что-то отчаянно сопротивлялось во мне, никак я не мог переломить себя и сложить ладони ковчезком и склонить голову, которую Владыка сверху Перекрестил бы.

Владыка Леонид почувствовал мое замешательство и первый протянул мне руку. Мы поздоровались обычным светским рукопожатием. Нам хоть и предложили сесть, но на долгий разговор никто не настраивался. Кирилл только представил, привнося как можно больше информации обеим сторонам в столь короткое время:

— Вот. Один из крупнейших иерархов, замечательный русский интеллигент, в прошлом врач, а теперь рыцарь русской православной церкви... Вот. Писатель, разрабатывает тему... Заступается... Очень рад. Пасхальная ночь. Такое знакомство... Владыка сказал мне какие-то слова о какой-то из моих книжек, все это заняло две-три минуты, и категорически произнес:

— Ну, ступайте, ступайте. Я перед службой, мне одному побыть надо.

Теперь уж, не выходя за пределы двора к толпе и милиции, мы обошли собор с другой стороны и оказались перед боковыми дверями. Пока огибали, Кирилл не переставал внушать:

— Русский интеллигент. В прошлом врач. Чудо! Вот где настоящее русское мужество. Какое отношение к священникам? На них смотрят как на выродков или как на чокнутых. В лучшем случае, как на хитрых карьеристов. Они у нас — отверженные. Изгои. Предмет насмешек. Быть священником в нашей стране — подвиг, настоящий подвиг. И ведь идут люди, и молодежь идет. Вот где настоящая жертвенная часть русской интеллигенции. Свет во тьме светит, и тьма его не объяла!

Как-то необыкновенно было это все в той же Москве. И тот же я. И холодное около сердца чувство, что шаг за шагом куда-то ведут, ведут меня, уводят, и вот состояние тревожного чувства в груди, там, где сердце. Но что-то тут было и от восторженного холода. Владыка, особый двор, особые двери, стучимся. Двери тяжелые, железные, приотворяются. В щелочку — но и глаз. Вместе с тем там, в узкой щели, словно плавится золото, тогда как у нас здесь тьма и мороз.

— Владыка благословил, — сообщает в щелочку Кирилл, и мы сразу из холодной, мерзкой московской улицы, с гамом и свистом за нашими спинами, с автобусами, поставленными в виде ограждения, с милицией и терпеливой, послушной толпой вокруг собора, оказываемся в жарком, трепещущем тысячами огоньков кафедральном соборе, главным на сегодняшний день (пока бездействует Успенский Собор Кремля) соборе Всея Руси.

Мы оказываемся не в общем пространстве церкви, набитом людьми так, что и руку нельзя поднять, чтобы перекреститься, но сбоку и на некотором возвышении, огражденном медной, начищенной до золотого блеска решеткой. Наше возвышение примыкает прямо к иконостасу. Если бы кто смотрел на нас из самой церкви, мы оказались бы для смотрящего справа от царских врат. Но и здесь, в особой загородке, тоже тесно. Здесь дипломаты, прошедшие по специальным пропускам, а если наши, русские, то тоже по специальным пропускам или, как мы, с благословения Владыки. Сюда, говорят, ходит и Павел Дмитриевич Корин, советский, верующий в Бога художник. Не далее как сегодня я в разговоре восторженно отозвался о его работах и о нем самом, а Кирилл резко напал:

— Интеллигентный хлюпик и трус.

— За что же ты его так?

— У него выставка «Русь уходящая», и должен приехать на эту выставку Патриарх. Так он пошел к своему начальству, к Серову, спрашивать: можно ли подойти к Патриарху под благословение или здороваться светским образом? Ты верующий, в церковь ходишь, твоя выставка. Тебе уже семьдесят. Чего ты боишься? Если боишься, не подходи под благословение, твое дело. Но к Серову-то за разрешением идти — позор!

Кирилл произносил «Серов» (с ударением на первый слог) не то для того, чтобы не совпадало с однофамильцем, не то просто так, из озорства и пренебрежения.

Но Корина не было здесь, в загородке. Многие оборачивались и кивали Кириллу, улыбались, узнавали его как старые знакомые.

Мне часто приходилось разные концерты и большие литературные вечера смотреть и слушать из-за кулис. Пока ждешь своего выхода к рампе (хоть бы и в Колонном зале), торчишь за кулисами, но хочется и послушать. И вот — внимательного слушания сбоку и сзади не получается. На всякое

театральное действие надо смотреть из зала.

Теперь у меня возникло сходное неудобство. Но хор гремел, дьякон провозглашал ектиньи, в пылании свечей, в певческих голосах, в единодушном крещении молящихся нарастали ликование и торжество, и когда Владыка начал осенять строеными свечами народ и говорить всем на три стороны: «Христос Воскресе!», когда весь народ выдыхал ему навстречу: «Воистину воскресе!», я опять поймал себя на том, что не могу открыть рта и присоединиться к народу. Я был тут зритель, а не молящийся, и лежала во мне черта, которой я не мог переступить, между тем как Кирилл специально поглядывал на меня: говорю я вместе со всеми «Воистину воскресе», крещусь или стою истуканом.

Я стоял истуканом. Впрочем, сам Кирилл не крестился тоже. И что бы, казалось, трудного, если к тебе обращаются и по ритуалу полагается ответить. Тебе «здравствуйте», и ты «здравствуйте». Тебе «приятного аппетита», а ты «спасибо». Естественно, натурально. И здесь тоже ведь ритуал. «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!» Но никак не мог я переступить черту внутри себя, отделяющую меня как зрителя от меня как простого православного человека.

При выходе на улицу, уже выйдя из собора, знакомые, только кивавшие друг другу издалека, тотчас находили друг друга, христосовались, лобызались трижды. Кирилл и тут не преминул:

— Владимир Алексеевич, познакомьтесь. Замечательная семья. Старинные русские интеллигенты, — и немного потише, словно бы только для меня, но и тем слышно, — из недорезанных. А это писатель... Единственный... Гигант... Наверное, читали.

Передо мной оказалась действительно семья — профессор консерватории, полная, полнощекая супруга его, Татьяна Петровна, учительница французского языка, румяный черноглазый юноша Петя и молоденькая девушка Маша.

— По одной линии Голенищевы-Кутузовы, по другой — Шаховские, — не терял зря времени Кирилл. — Русские люди должны знать друг друга.

— Поедемте к нам разговляться, — неожиданно просто предложила Татьяна Петровна.

В просторную трехкомнатную квартиру в хорошем «сталинском» доме вошли уже в начале четвертого. Стол, накрытый с вечера, пестрел яркими крашеными яйцами, куличом, графинчиками трех разных цветов, серебряными чарочками, зеленым хрусталем, бутылками вина, розовой ветчиной, солеными помидорами и множеством других всевозможных закусок.

В комнате, где был накрыт стол, немного говорило об особенностях этой семьи. Мало ли что — живописные портреты восемнадцатого века? Предки. Но, может быть, ведь и просто картины, купленные в комиссионном магазине на Арбате. Старинное серебро и хрусталь.

Но в соседней комнате, куда разрешили войти нам, угол мерцал серебряными окладами и темными ликами. Лампады перед иконами. Другой мир. Это еще, можно сказать, открыто и смело. В другом доме мне предстояло потом увидеть интересную конспирацию. Открывается платяной шкаф, а в шкафу как бы иконостас. И тоже лампады. В праздник открывают дверцу шкафа или утром для одинокой молитвы. Помолимся, и шкаф на ключик. Оккупационный режим. А в комнате — портрет Хемингуэя, репродукции Пикассо. Хозяин шкафа — известный писатель и депутат.

— Смотри, какой юноша, — между тем говорил мне Кирилл над плечом. — Петя Ростов! Чем не Петя Ростов? Был корнетом, гусаром, генералом. А Машенька? Так и светится изнутри. Локоны, пальчики по клавишам — романс Чайковского. Вот они, русские-то лица. Недорезаны. Чудом уцелело процента три настоящей русской интеллигенции.

— А я?

— Ну и что? И Шаляпин мужик, и Есенин, и Суриков, и Сперанский, и Ломоносов, и Воронихин. Я считаю, что ты тоже из недорезанных. Признайся, в двадцать девятом году должны были вырезать вашу семью? Случайно не вырезали?

Я промолчал.

— Признайся, должны были вырезать? Не ошибся я? Случайно не вырезали?

— Случайно.

— Я так и знал, — облегченно вздохнул Кирилл.

За столом же — разговоры, как разговоры. Только первую выпили с праздничком, а в остальном, если забыть, конечно, про убранство стола, словно собрались по любому поводу. Словно не четыре часа утра и не спят все нормальные советские семьи, в том числе и мои друзья, все Сурковы, Михалковы, Алексеевы и Стаднюки.

С Алексеевым и Стаднюком у меня прекрасные, если не дружеские, отношения. Но все равно в самом, казалось бы, откровенном разговоре — один пишем, два в уме. Есть направление разговоров, в которых возможна полная откровенность, вроде рыбалки, но попробовал ведь я однажды насчет Чапаева поговорить с Бубенновым. Ничего не говорю, Алексеев, Стаднюк — это не Бубеннов. Допустим, и можно с ними насчет Чапаева. А если подальше чуть-чуть, поглубже?

— Ты, Володя, говори, о чем хочешь, а советскую власть не тронь!

Алексеев один раз при многих слушателях, так что, может быть, и для раскрытого чьего-нибудь уха, задал прямой вопрос:

— Подумай, кем бы ты был сейчас, если бы не советская власть?

Это любимый конек каждого ортодокса. Кем бы ты был, кем бы мы были? Какой была бы Россия? А один еще прямее ляпнул:

— Ходил бы ты сейчас в лаптях да землю ковырял бы сохой.

— Это почему же я ходил бы в лаптях? Есенин, как видим на фотографиях, нашивал и цилиндр с бабочкой. А Шаляпин шубу, не знаю уж на каком меху, в которой его Кустодиев изобразил. Да и у нас в селе никто уж не носил лаптей. Сапоги, в праздник хромовые, поддевки из тонкого сукна, а женщины в сапожках с высокой шнуровкой, в которых кадрили отплясывали. И сох уже не было. Были плуги, конные молотилки, триеры, веялки... Да если бы даже допустишь, что Россия до 17-го года ходила в лаптях (чего не было), то что же, она за эти десятилетия никуда не ушла бы? Вон, одна губерния не вошла в состав СССР — Финляндия, — так что же, она сейчас в лаптях ходит? Сравните-ка с Финляндией соседнюю Карелию, да даже и Ленинградскую область... А еще я так спрашивал у своего друга: будто дано нам знать, какой была бы Россия теперь, при шестидесятилетнем спокойном развитии и при условии, что не вырезано до 70 миллионов лучших русских людей? Возможно ли вообразить, какой была бы Россия и кем были бы мы в этой невообразимой России?

— Так что же, ты думаешь, я поэт и писатель потому, что советская власть?

—

Почему

же

— Во всем нашем селе, во всем нашем Ставровском районе — советская власть. Отчего же не вырастают там больше писатели и поэты? Шестьдесят лет советской власти, а ни одного писателя больше не выросло...

Шутки шутками, но и с самыми близкими друзьями разговаривая, и шутя, рыбака и сидя на собраниях, прогуливаясь по лесу, я в разговорах тотчас натываюсь и начинаю ощущать бетонную стену, барьер, на котором кончается наше взаимопонимание. По деликатности редко доводишь разговор до утыкания в эту стену. Друзья, но не единомышленники. Кое в чем единомышленники, но не до конца, не без оговорок, не на полное открытое сердце.

Впервые с Кириллом и Лизой, а теперь вот и в более обширном кружке (все же семь человек — не трое), я ощутил, что нахожусь среди полных единомышленников, и оттого, может быть, впервые в жизни было радостно на душе полной открытой радостью.

Разговоры между тем шли вовсе не заговорщические и не проблемные. Если люди поняли друг друга как единомышленники, то что же им обсуждать? Говорили о Пушкине, о Булахове, об именитых предках этой семьи. Кирилл сумел-таки вытянуть из Татьяны Петровны, и она долго рассказывала, как их «недорезали». Но все это уж как история, едва ли не в смешных и комических тонах. Где-то они прятались в Загорске, кто-то их предал, а кто-то предупредил. Уходили ночью, ползли через картофельное поле, снова прятались, побывали и в лагерях, но уже не в Соловках первых лет (откуда не возвратились бы), а в более стабильные времена. Да я и не запомнил всей подробной истории. И не это важно было для меня, а то было важно, что вот наконец — единомышленники. Е-ди-но-мыш-лен-ни-ки.

— Христос Воскресе! — подняла первую чарочку Татьяна Петровна.

— Воистину воскресе! — дружно подхватили мы все, и хотя как бы со стороны, но услышал я в общем хоре и свой голос: «Воистину воскресе!»

Неужели воскреснет? Не Христос, а Россия? Неужели воскреснет? Вдруг остро и явственно почувствовал про себя: если бы колокольня Ивана Великого и надо прыгнуть с нее с тем, чтобы в момент моего шлепка о землю сразу зазвонили бы все сброшенные на всех церквях колокола и встали бы сразу все семьдесят миллионов сознательно убитых, замученных, уморенных голодом, то есть если бы вот именно в момент моего шлепка о брусчатку Кремлевской площади воскресла бы Россия, не колебался бы ни доли секунды. Шлепок — и по всей России колокола...

На третий день Пасхи Кирилл повез меня в Загорск, то есть в Троице-Сергиеву лавру, причем загадочно обещал познакомить с каким-то очень уж, по его словам, интересным человеком.

Я приноравливался поставить машину на площади перед лаврой, но Кирилл велел ехать прямо в ворота (правее главных) под выразительный, запрещающий мне ехать «кирпич». Проехав и повернув уже на территории лавры, мы уперлись в шлагбаум. Тут на высокое каменное крыльцо вышел священник в черном, с окладистой черной (но вблизи потом оказалось темно-коричневой) бородой, с большим позолоченным крестом на животе. Он сделал рукой какой-то разрешающий жест, и шлагбаум сразу поднялся.

И опять, и опять, родившееся еще около собора и в соборе в пасхальную ночь, зашевелилось во мне сомнение. Как же так? Не другое же здесь государство? Не волшебная же палочка перенесла нас незримо для других, посторонних глаз в чудесное царство с приметамы прежней, опустившейся под свинцовые воды истории, прекрасной нашей страны? Те же молодцы, которые паслись там около «Чайки», на другой же день и настучали небось где полагается, что известный писатель приходил к Владыке и имел с ним беседу.

А здесь? Этот сторож, поднимающий и опускающий шлагбаум? Неужели он не запишет номер машины? И не донесет, что мы въехали как к себе домой на закрытую территорию духовной академии и целый день провели вместе с ее ученым секретарем, профессором богословия?

Приезжая, бывало, в Загорск (48), ходили тут от собора к собору в числе других бродящих туристов и любопытных зевак. Зайдешь в один собор, в другой, постоишь, послушаешь. На монахов же и на священников, когда мимо пройдут, смотришь как на выходцев из другого мира. Знаешь умом, что тут где-то духовная академия, где-то и Патриарх, но все это за семью печатями для нас, обыкновенных туристов. Скрыто и недоступно.

Но вот поднимается шлагбаум, и мы попадаем в другое измерение, в другую среду, в другую сферу. А еще вернее, как если бы подойти к озеру Светлояру, произнести заклинание и оказаться в подводном Китеже, где, по легенде, все-все сохранилось от древних веков — и колокола, и одежда, и церковное пение, и длинные бороды, и русская речь сама.

Говорят, что если и попадешь в Китеж, то обратной дороги нет. А откуда? Шлагбаум-то, конечно, поднимут, и уедешь на машине в Москву. Но приедешь ли? Вернешься ли самим собой, каким ты был до въезда сюда, до того, как побывал в другом измерении, вдохнул и увидел?

Вот даже за стол садимся, и перед тем, как есть, отец Алексей читает молитву вслух, повернувшись к образам, озаренным лампадой, и трижды осеняет крестным знаменем все, что стоит на столе, благословляя «яства и питие». А ты стоишь в это время, не зная, как себя вести, что делать? Бежать ли отсюда скорее, пока не поздно, или тоже перекреститься, садясь за стол. Но ты не бежишь и не крестишься, а, простояв смиренно, пока читалась молитва и благословлялась еда, садишься за стол вместе со всеми.

Не еда, а вот именно — яства. Во всем так, во всем островок, во всем — оазис. Икра черная зернистая, черная паюсная, красная, отборная, как горох. Балыки и нежно-соленая семга, разварная осетрина и домашние соленья, язык и подовые пироги, квасы, квасы монастырские! Только ведь у Мельникова-Печерского где-нибудь или у Лескова читали, а тут в натуре. И протоиерей во главе стола по всей форме. Куда-то в чеховские, в лесковские перенеслись времена, тем более, что в разговоре, когда зашла речь о кустодиевском портрете последнего царя, зазвучало словечко «государь», как будто — самое обиходное и повседневное словечко. А тут еще в большой колокол зазвонили на главной звоннице. Про весь этот день было четкое ощущение, что на пресловутой машине времени перенесся на несколько часов в Россию из страны под названием СССР. И только одно мешало полной иллюзии: ныло около сердца. Ах, настучат, ох, донесут. Тем более, что перед тем как сесть за стол, осмотрели всю духовную академию, церковно-археологический кабинет, побывали в покоях Патриарха. Сколькими же глазами мы были увидены, словно сфотографированы. То там, то тут на коридорном повороте попадались нам навстречу монахи и смиренно склонялись перед секретарем академии, протоиереем и приближенным к Патриарху человеком, просили благословения, а глазами

зырк-зырк по нам.

Потом отряхнешься, одумаешься: да нет, не может быть! Уж если здесь?.. А где же, если не здесь? Но постепенно тупеет игла, уколывая сердце, — а, будь что будет!

Да, прежде чем сесть за стол, ходили и осматривали и тоже все — зеленой улицей, особыми дверями, с почтением, с низкими поклонами встречающих монахов и священников.

Троицкий собор — душа и сердце лавры. Если Троице-Сергиева лавра действительно самое святое место в России, а Троицкий собор в лавре, как сердце в сердце, то в самом соборе есть уж воистину святая святых — мерцающая серебром, окруженная жарким пыланием лампад рака с мощами преподобного Сергия. И всегда к ней с семи утра до десяти вечера, ежедневно, в праздники и в будние дни, непрерывный людской ручеек в один ряд. Подойти, поклониться, поцеловать стекло над ракой, перекреститься и отойти. А следующий уже склоняется, целует и крестится. Так идут и идут от семи утра до десяти вечера. Остальные, находящиеся в храме, конечно, непрерывно поют. Тут не служба какая-нибудь, а повторение одной только фразы, растянутой в песнопении, положенной на красивую мелодию. «Преподобный отче Сергие, моли Бога о нас». И так часами, часами, и чем больше слушаешь, тем больше ложится на сердце незамысловатая молитва, и то, что поют ее сами молящиеся, сами, приехавшие и прилетевшие на поклон к преподобному Сергию с разных концов страны, от Карпат до Камчатки. И это не красное словцо. Я осмелился, не в этот раз, конечно, и спрашивал по произвольному выбору, откуда приехали к Сергию, и получал ответы: Ташкент, Гомель, Самбор, Псков, Барнаул, Торжок, Тюмень, Кисловодск, Баку (русские, конечно, как и в случае с Ташкентом), Киев, Кишинев, Челябинск, Оренбург, Серпухов, Павлодар, Чита...

Редкими капельками точится огромная, истерзанная, замороженная, анестезированная, продезинфицированная, обездушенная страна. Редкие капельки сливаются здесь в одном месте в этот тонкий, в один ряд, но непрерывный все-таки ручеек. Поклониться, приложиться, перекреститься и отойти.

— А нет очереди через всю лавру, как в Мавзолей, через всю Красную площадь,— нарочно сопоставил я при отце Алексее.

— Еще бы. Там же очень наглядно. Труп. Ну или там папье-маше. Еще интереснее, как похоже! А у нас здесь дух один. Глазеть-то ведь не на что. А духом к духу прикоснуться дано не каждому из широких масс. Дух — он либо есть, либо нет.

— Нет, отец Алексей, — вступился в своей излюбленной интонации Кирилл, — не труп, а вечно живой, потому и движутся широкие массы. Вечно живой и всегда с нами!

— Что ж, приходилось вам самому видеть мощи преподобного Сергия? — обратился я опять к отцу Алексею.

Понизив голос (не как понижают, боясь сказать громко, а как понижают его, скорбя), отец Алексей ответил:

— Вы, наверное, знаете, что лавра после революции была разорена и на многие годы закрыта. Все сокровища вывезли. В мощах преподобного Сергия тоже копались. Мародеры и трупоеды! Хорошо хоть не выбросили. Когда церковь вернули в лавру... Кучка разворошенных костей... Все осквернено, наплевано в самую душу. Но святость и чистоту испачкать нельзя. Вся скверна возвращается в конце концов на тех, кто пытался осквернить...

В академии отец Алексей показал нам и свой кабинет, и актовый зал, и академическую церковь, и прекрасный «Елизаветинский зал» с живописью по потолку. Когда лавра была закрыта, тут прозябал самодеятельный городской театришко, живопись же была попросту заштукатурена. Ведь как это наглядно может быть, если вдруг сопоставить! Вот зал XVIII века, сверкающий паркет, лепной расписной потолок, соответствующая мебель, бронзовые часы, канделябры, люстры. Зал, кроме красоты, имеет и памятное значение. Остановивались, приезжая в лавру, Елизавета, Екатерина, Александр, Николай. И вот вижу я, как наяву, эту дешевую пупырчатую штукатурку, этот замызганный, грязный пол, эти ряды безобразных фанерных стульев и эти лозунги по стенам: «Искусство принадлежит народу», «Из всех искусств важнейшим для нас является кино». Да еще плакаты о надоях молока и носке яиц.

Несколько лет спустя Софья Михайловна Зернова, когда я буду ей показывать в Архангельском дворец Юсупова и дом отдыха в нем, скажет мягко, щадя мои советские патриотические чувства:

— Я понимаю, что дом отдыха нужен. Пусть он будет. Но вместе, Владимир Алексеевич, вместе, а не вместо. Почему у вас сразу все обязательно «вместо»?

Напрасно осторожничала тогда Софья Михайловна. Задолго до ее проникновенного восклицания я в Елизаветинском зале духовной академии в Троице-Сергиевой лавре понял, что действительно должно быть «вместе», а не «вместо». Построили в конце концов Загорску Дворец культуры, где, не знаю уж как там, но развивается самодеятельность и читаются разные лекции. Слава Богу. Елизаветинский же зал, стоящий по своей исторической и художественной ценности всех Дворцов культуры, вместе взятых, расштукатурен, отреставрирован и блистает теперь в первоизданном виде. Так ведь повезло же ему! Решил Сталин для послабления церкви восстановить патриархию и отдал лавру назад церковникам под резиденцию Патриарха Всея Руси. Но не повезло пока ни сотням монастырей, ни тысячам дворянских усадеб, княжеских да купеческих особняков, просто русских церквей, большей частью уже уничтоженных, а другой частью превращенных в гаражи, склады, кинотеатры, учреждения. Далеко ли ходить? В Москве известные фирмы «Диафильм», «Мультфильм», «Мелодия» расположены в бывших костелах, кирхах, церквах. Наверное, ведь и там приходилось что-нибудь заштукатуривать или отмывать и сдирать купоросом. Я вспомнил сейчас эти три фирмы, с которыми мне приходилось иметь дело. Если же специально поискать... Случайно показали мне особнячок на Полянке, из которого только что выехал детсад. Именно особнячок, общей площадью метров двести квадратных, разделенный теперь на фанерные клетушки. И вот главный зал в этом особнячке — весь дубовый, резной, и потолок, и стены. Да не просто резьба, а какой-то известный немецкий резчик семнадцатого века. Тут же дивные изразцы на нескольких печках, некоторые из них тоже замазаны побелкой. Действительно, почему же «вместо», а не «вместе»? Или уж так бедно государство, что не могло построить детского сада? Думается, что тех ценностей, что были изъяты из этого маленького купеческого особняка, хватило бы на два, на три детских сада. Да и сейчас, если оценить только дубовый зал и изразцы... Так нет же — разгородить на фанерные клетушки, забелить, заштукатурить, загадить. Из многих тысяч, если брать только особняки, повезло лишь тем десяткам, в которых размещены посольства разных стран. Да вот повезло еще Троице-

Сергиевой лавре, открыли вновь и разрешили привести в порядок, вернуть былой вид, а во многом и атмосферу.

Церковно-археологический кабинет отец Алексей показывал нам с особенной затаенной гордостью, ибо весь этот так называемый кабинет, а фактически музей, был собран и организован стараниями (усердием, правильнее было бы здесь сказать) отца Алексея. Ничего не нужно было ему усиленно искать, собирать, выторговывать. Лавра есть лавра, несут и несут. Осталась после родителей икона в дорогом окладе, куда ее деть? Да снеси ты ее в патриархию, они купят. Но многие и денег не хотят, жертвуют. Несут и несут, только успевай отбирать ценное — исторически, художественно и материально — от неценного. Не только иконы несут, но и книги, картины, разные предметы старины, ларцы, вазы, лампы, самовары, лампы, бронзу и серебро во всех видах, памятные медали, старые ордена, нумизматику и всю старину вплоть до мебели. Была дана отцу Алексею власть тотчас и выложить, выдвинув ящик стола, необходимые деньги. Таким образом при строгом отборе он создал за несколько лет уникальный церковно-археологический музей, с древними иконами, дорогими окладами, наперсными крестами, с церковными чашами, эмалями и мелким литьем, с резьбой по дереву, жемчугом и бисером, с дарохранительницами и лампадами, с ростовской финифтью, самоцветами, картинами на религиозные темы вплоть до Сурикова, Нестерова, Васнецова, Боровиковского и крупных западных мастеров. (49)

Особым разделом в музее были выставлены подарки Патриарху, многочисленные и разнообразные подарки от разных церквей из разных стран.

О Патриархе вообще много говорилось, пока мы ходили по лавре. Была показана, в частности, комната-келья, в которой Патриарх жил когда-то очень давно, задолго еще до революции, будучи слушателем академии.

В этой комнате развешаны многие фотографии, показывающие весь жизненный путь Патриарха, с младенческих лет и до сегодняшней высоты, выше которой расти уж практически некуда. Так все сходилась в наших разговорах о Патриархе, что оставалось мне только быть представленным ему, что и совершилось на самом деле, но только в другой наш приезд. Вернее, мой приезд, потому что я приехал в тот раз без Кирилла, но со своими обеими дочками.

Теперь же, после нашей экскурсии по лавре, мы возвратились к столу, который одним видом своим убеждал нас в хлебосольстве хозяев.

— Пшено-с, — с доброжелательной язвительностью (если можно соединить эти два понятия) сделал свое заключение Кирилл, окинув взглядом яства, расставленные на столе.

— Все, наверное, с чистых полей.

— Что такое «пшено» и что такое «чистые поля»? — спросил отец Алексей.

— Ну, «пшено» — это просто. Это особое снабжение руководящих партийных работников. А чистые поля... А чистые поля — это особое снабжение высокопоставленных партийных работников. Кремлевский стол. Все продукты: колбаса, яйца, молоко во всех видах, сыры, мясо, хлеб, все овощи и все фрукты — выращиваются для них на особых полях, без применения химических удобрений. Навозец-с, чистейший натуральный навозец-с, и никакой химии, ни грамма. Вот: что такое чистые поля.

— Народ и партия едины, — мгновенно подытожил отец Алексей сообщение Кирилла. — Ну, давайте и мы чем Бог послал. Может, и это с чистых полей, нам неведомо. Может государство прокормить одного Патриарха или не может?

— Если этот Патриарх государству зачем-то нужен. Тихона, как рассказывают, кормили иначе. (50)

Отсюда мог бы обостриться разговор, но настолько они понимали друг друга, настолько были единомышленниками, что само обострение было бы лишь словесной игрой. Может статься, Кирилл и шпильку свою вставил в разговор ради меня, третьего и еще малосведущего собеседника, чтобы тотчас просветить и прояснить отношение РПЦ с государством, а заодно рассказать и о подвиге Тихона.

При всем том, на что же наталкивалась мысль ли, скажем, ощущение? В доме, где мы разговлялись, — чистейшая русская семья, да вот теперь здесь. Да еще в трех домах побывали мы (всего не опишешь, и незачем), да русская точка в том дипломатическом доме, где мы ужинали однажды, да один хороший ленинградец, да одна ленинградка, да в мастерской у Кирилла постоянно толкуются и протекают через нее многочисленные людишки (санпропускник-с, Владимир Алексеевич, санпропускник-с, отделяем овнов от козлиц), и получается уже несколько разрозненных пока, но многих точек. И вот как бы сама собой постепенно созревает мысль — почему бы эти точки как-нибудь не связать, не объединить, не превратить сначала в линию, потом в пучкообразное соединение линий, потом в сетку, а из сетки потом — фронт! Разговоров об этом не было, но не мог я не почувствовать, что всей логикой событий и слов Кирилл старается подтолкнуть меня именно на эту дорожку.

Но пока что мы условились за столом, как только просохнут проселки, я повезу их, отца Алексея, Кирилла и Елизавету Сергеевну, в свое родное село. Непосредственным предлогом была кладбищенская церковь в соседнем селе, уже давным-давно разоренная, но все же хранящая кое-что в виде разбросанного на полу хлама, а также и наша сельская церковь, закрытая незадолго перед этим и отданная колхозу под склад. Все это мы собирались посмотреть, но вместе с тем «пообщаться», что в общем-то никогда не вредно. Тем более, что Кирилл всячески старался активизировать мое общение с теми людьми, с которыми он успел меня познакомить. Знакомит, сведет и тотчас скороговоркой: «Обменивайтесь телефонами, звоните, общайтесь! Русские люди должны знать друг друга. Свет во тьме... Если не мы, то кто же?..»

Выехали на двух машинах. Поместились бы и в одной, но задумано было, что после Алепина мы с Кириллом и Лизой продолжим наше путешествие по Руси, а отец Алексей возвратится обратно в лавру. Для того сзади и ехала порожняком черная «Волга», а мы все четверо тряслись в моем «газике».

Пока что я им рассказывал про нашу церковь и про то, как ее закрывали.

— Деревянную церковь только некоторые старики помнят. Та стояла, говорят, четыреста лет, значит, с шестнадцатого века. Ну а эта, кирпичная, в прошлом веке... Ничего особенного не представляет из себя, но ведь издалека еще увидишь колоколенку под купами лип, и совершенно другой пейзаж. Да... Вокруг церкви липы посажены, теперь уж столетние. А все это охвачено красивой кирпичной оградой. То есть угловые башни, ворота и сама ограда и столбики на ней кирпичные, побеленные, теперь от времени розоватые. А решетки между столбиками железные, кованые. Не то,

чтобы «оград узор чугунный», но все же красивые решетки. На кирпичные столбики надеты железные островерхие колпаки. Под этими колпаками воробышки и галки водятся. Четыре угловые башни. На них крыши обширнее, куполами. И кресты, как полагается. Кресты деревянные, но обтянуты железом. В этих башнях вроде бойниц сквозные пересекающиеся прорезы. Маленькими мальчишками мы в эти прорезы с трудом, но протискивались. Одна башня больше других, пустотелая и даже с чердаком. Вроде склада для обветшавшей церковной утвари. Помнится, что чердак там был завален деревянными скульптурами и старыми иконами. Мы не знали такого слова — «скульптура» — и говорили, что там лежат деревянные куклы. Постепенно открылся доступ в башню на чердак. Мы вытаскивали оттуда иконы, клали или ставили на них деревянные куклы и пускали по пруду. Когда отплывут подальше, громили их кирпичами, вроде как вражескую флотилию. Какую вражескую? Белогвардейскую, конечно.

Равновесие было таково, что церковь еще действовала и были живы старики, которые могли бы порадеть, но ведь только что прошла коллективизация, только что выбрасывались целые семьи из теплых домов на снег или куда-то в Сибирь, только что сбросили колокола, и вот ни у кого уж не хватало духу заступиться за разоряемую нами башню и попросту надрать нам уши, как это и полагалось бы. Церковь действовала еще, но была уже вне закона, и климат был такой, что заступаться за нее никто не осмеливался.

В ограду с разных сторон вели шестеро врат и одни, седьмые, называвшиеся царскими. Они широкие, чтобы и на лошади, на телеге въехать, двустворчатые, тоже кованые, со многими островерхими башенками наверху, и на каждой башне по кресту. В эти врата выносили после отпевания покойников, а также входили через них в ограду венчаться. Одним словом, для торжественных случаев. Рядом с ними в стене ограды ниша, в ней деревянный Иисус Христос. Теперь я знаю, что это называется «Христос в темнице». Он сидел в нише за стеклом, а у ног его — медная кружка с прорезью, вроде копилки. На кружке замочек. В кружку опускали копеечки, пятаки. И вот что знаменательно. Стекло, за которым сидел Иисус Христос, большое и тонкое, хватило бы одного камешка. И сколько было нас, мальчишек, у которых руки чешутся что-нибудь разбить, но никто никогда этого стекла не разбил. Потом что-то такое случилось, где-то наверху, потянуло другим ветром. Не только стекло разбили, а и деревянного Иисуса Христа выбросили, и сами кованые врата Никита-кузнец утащил в кузницу на поделки.

Остальные шесть врат были узкими, пешеходными, но тоже кованый железный ажур, и даже могли бы запирались на замки. Возможно, и запирались когда-нибудь.

В самой ограде — лучевые дорожки, мощенные крупным булыжником, обсажены были кустами акации. Повсюду цвели красные мальвы, названия которых мы не знали. Тут же в ограде росли яблони и черемухи. Дело в том, что первоначально, когда церковь и ограду только что поставили, внутри ограды располагалось приходское кладбище. К моему детству хоронить в ограде уже перестали, но все еще стояли среди акаций и черемух надмогильные кресты и памятники. Нам же, мальчишкам, и пришлось их ронять. Там были памятники из песчаника, из гранита, из белого мрамора, а также литые, чугунные. Даром, что небольшое село, а памятники, как если бы и на городском кладбище. Были также чугунные кресты и даже чугунные ангелы с крыльями. На моей памяти еще все это содержалось в порядке, имело благопристойный и даже красивый вид. Помню, как все это постепенно разорялось и приходило в запустение. У нас еще игра была, вроде соревнования: кто поставит валяющийся памятник на попа. Тужишься, тужишься, поднимешь, допустим, а потом в другую сторону его и кувырнишь.

Надо сказать, что весь этот комплекс: церковь, колокольня, липы, ограда и зелень в ней, очень украшал наше село, которое четырьмя сторонами домов просторно окружало ограду, образуя прямоугольник со вписанным в него кругом ограды. Да еще рядом с оградой два пруда. А все село вокруг белой церкви и ограды поросло мелкой зеленой травкой, и только одна узкая дорога для проезда на лошадях никак не портила общего вида.

На Троицу церковь и ограду украшали березками. В пасхальную ночь зажигали площадки с дегтем — иллюминация.

Но постепенно менялся, а вернее сказать, портился вид села. Первыми исчезли и стерлись с лица земли погреба, расположенные рядом по берегу пруда. Хранить, что ли, в них стало нечего? Либо уж стали нарочно приbedняться крестьяне: «Вон у него еще и погреб!» На месте погребов образовались ямы, вроде как язвы, которые всегда есть признак болезни. За погребами исчезли два ряда небольших амбаров, сухих, бревенчатых, стоявших очень близко друг к другу, так что мы успели еще поиграть там в прятки, и между амбарами, и под ними. Потом начала разоряться постепенно церковная ограда, решетки кузнец таскал в кузницу на подковы. Колпаки на столбах и башнях исчезли как-то сами собой. Все кресты и памятники тоже куда-то делись, на месте кустов начала разрастаться и жиреть крапива. Яблони и черемуха обламывали до уродства. Акации казались какими-то оципантыми и торчат теперь жалкими разрозненными кустиками. Все время валяются почему-то в ограде дохлые грачата. Самое красивое в селе превращалось в самое замусоренное и запущенное.

По зеленой части села, похожей на ровный ухоженный газон, стали ездить без разбора на тракторах и тяжелых машинах.

Я думаю, что, конечно, все равно рано или поздно пришла бы техника в нашу деревню. Уже и до коллективизации село на тридцать шесть дворов имело четыре конные тогда еще молотилки, купленные на кооперативных началах, два триера, несколько вейлок. Идя в ногу с жизнью и веком, село оснащалось бы техникой по мере ее развития, точно так же, как не живут же без техники ни датские, ни французские, ни польские, ни германские, допустим, крестьяне. Есть у них и колесные тракторы, есть и автомобили. Но невероятно, чтобы наши алепинские мужики, собиравшиеся на сходку по каждому общественному случаю: мосточек через канаву устроить, или мост через реку, или чистить пруды, или срезать ветлу в овраге, если она никому не нужна и мешает покосу, — невероятно, чтобы мужики позволили бы сами себе так размызгать и разъездить село, превратив его из зеленой лужайки в грязную яму. Нашли бы способ. Собрались бы на сходку и обязали бы всех ездить объездным путем, который отвели бы для того и специально благоустроили. И уж если бы сходка постановила, то, будьте уверены, все бы этому постановлению подчинились, ни один бы не ослушался. Потому что — село наше и нам здесь жить, и сами же собравшиеся постановили. То есть сами себе были хозяева.

Теперь же хозяина в селе нет. Считается, что хозяин-председатель колхоза. Вся экономическая и

материальная ответственность за состояние хозяйства переложена на его плечи. Колхозникам в пользование оставили только свои усадьбы, которые, правда, и поддерживаются в прежнем порядке. Как подойдешь с колхозного, погрязшего в сорняках поля к чистой, обихоженой усадьбе, так и увидишь всю разницу.

Итак, хозяин — председатель, у него пусть и голова болит. А наше дело теперь сторона, нас теперь ничего не касается. Председатели меняются то и дело. Они все присланные, чужие. Что ему до красоты села и вообще до внешнего вида. На него сверху жмут: цифры давай, цифры по надою, по картошке, по овсу, по поголовью телят, по пшенице, по свиньям. Цифры эти такие, что без изворотливости выполнить их никак нельзя. А к тому же сама система хозяйствования незаинтересованного, как бы механического и по сути своей подневольного труда без всяких надежд и перспектив, обуславливает ничтожно малую производительность. Откуда же взяться цифрам? А жмут. Насчет цифр жмут, а насчет внешнего вида села не жмут, издалека не видно. К тому же каждый председатель мудрит по-своему. Вот этот, которого мы увидим сегодня, пьяница по фамилии Чудов, которого все называют «чудиком», вбил себе в голову, что надо разобрать церковную ограду и кирпич этот пустить на коровник. Ну, церковь-то мне, когда ее закрыли два года назад, удалось отстоять. Я имею в виду само здание. Я специально ездил в область, и оттуда пришло указание — церковь как здание сохранить. Да и то этот «чудик» приходил ко мне раза два, чтобы я, так сказать, снял запрет и дал ему «добро» на разрушение церкви. Власти у меня нет никакой, но знают, что хожу в обком, да и писатель все-таки, считаются. Теперь с оградой все пристаёт. Коровник, может, ему и нужен. Но, во-первых, почему опять-таки не вместе, а вместо? Почему в прошлом веке мужики нашли кирпич и на церковь, и на ограду, а теперь на коровник колхоз найти кирпича не может? Ведь это все равно, как если бы у вас в квартире стояла скульптурная группа, украшающая квартиру, а вы надумали бы переплавить ее на рыболовные грузила. Ну, найдите на грузило простой тяжелый металл, а не портите красивое изделие. Тем более, не тобой поставлено. Ты в этом селе председателем на два года, больше тебе не продержаться, а они — ограда и церковь — стоят уже больше века и еще простоят столько же, если ты, временщик, их своей временной властью не уничтожишь.

Вот посмотрите сейчас на размызанное наше село и ограду, зарастающую внутри крапивой, и увидите, как с ней и как было бы без нее.

Произнося эти слова, я не знал еще (до села оставалось километров пятнадцать), что эти два состояния моего родного села — с оградой и без ограды — совпадут сейчас во времени, сольются сейчас в один трагический момент, и московским гостям не придется напрягать воображение, чтобы представить эту ограду сломанной (если бы она стояла целехонькой!), или наоборот, чтобы представить ее целой, если бы она уже была превращена в груды кирпича. Но вот каким зрелищем пришлось мне попотчевать своих гостей. Въехав в село, мы услышали сквозь урчание нашего собственного мотора еще более громкое и надсадное урчание, постепенно переходящее в рев. Выехав из-за сарая, называющегося у нас сельским клубом, мы увидели картину дикого разрушения. Только бомбежка и землетрясение могли создать ее. Посреди села возвышались безобразные груды кирпича. Царские ворота почему-то не рассыпались) когда их роняли, и теперь лежали на земле плашмя, целыми, хоть снова их поднимай и ставь. Но попробуй подними и поставь! Ронять, конечно, гораздо легче. Угловую башню ограды, самую близкую к нашему дому, как раз пытались уронить. Толстыми тросами опоясали ее вокруг, а концы тросов присоединили к двум гусеничным тракторам, которые на пару то давали задний ход, создавая слабинку на тросах и разгон для себя, то с остервенелым урчанием рвались вперед, дергали башню, а она не поддавалась, не падала.

Мы остановились, выскочили из машины и глядели на происходящее едва ли не раскрыв рты, настолько это зрелище было и редкостным, и совпадало к тому же с нашими разговорами за полчаса перед этим.

Земля разлеталась из-под гусениц крупными комьями и мелкими брызгами, все они разворотили, ободрали тут, изухабил и, наконец, добились все-таки своего: башня надломилась как бы до пояса и, соскользнув с остающейся устойчивой части, грохнулась, ткнулась в землю тупым углом.

Даже и мне, не только моим гостям, глядя на разгром в сочетании с исковерканной землей, немислимо было представить себе теперь эту белую, розоватую башню, осененную липами, и примыкающую к ней сиреневую беседку с наружной стороны ограды, где в сиреновой тишине и тени устанавливали стол и скамейки около него в летние праздники, и наша многочисленная семья пила чай вместе с гостями, только что отстоявшими обедню.

Да, вот так и надо представить себе: в тридцати шагах от угла нашего дома проходила ограда, окованная решеткой, угловая башня, столетние липы над ней. Сиреневая беседка. Вокруг же и на все остальное село — зеленая чистая трава. И тишина. У каждого дома перед палисадниками, где тоже сирень да жасмин, сидят на лавочках наши сельские мужики и бабы. И лошадь еще есть в каждом дворе. И колокола еще не сброшены. И мальвы еще не потоптаны. И памятники (все с нашими же сельскими фамилиями на них) еще не опрокинуты, не осквернены. И в церкви еще не склад (комбикорм для свиней, вонючее мясо). И перед любым домом еще можно лечь на траву хотя бы и в белой рубашке, настолько все чисто. И нет еще в селе никакого чужого, нелепого Чудова. И никому еще в голову не может прийти уронить ограду и использовать ее на коровник. И даже уток с гусями нельзя выпускать на улицу (так решено на мирской сходке), потому что очень уж загаживают травку в селе. Хочешь держать — держи в загородке...

Даже и мне, не только моим гостям, немислимо было бы представить это исковерканное село таким, а если бы и представили, то как могли бы перевести потом трезвеющий взгляд на теперешний вид села, а если бы перевели, то почему бы не бросились на трактористов, почему не ударили бы в набат, созывая мужиков, как при пожаре, стихийном бедствии, при всякой беде, чтобы тотчас прибежали и Кузьма Бакланихин, и Володя Постнов, и Кузьма Ефимов, и Егор Рыжов, и Воронин Илья Григорьевич, и Семеонов Андрей Михайлович, да мой дед Алексей Дмитриевич...

Но нет — взгляды наши уже привыкли ко всему, и мужиков перечисленных давно нет на свете, а те, кто есть, тоже привыкли, да и набата нет, чтобы ударить, да и что толку ударять в набат в одном селе, когда в каждом из остальных сел России все то же самое. Уж если бить в набат, так сразу бы на всю страну, но и вся страна уж привыкла... Пойти лучше пообедать да выпить с дороги!

Не успели мы сесть за стол, как на пороге возник Серега Тореев, запойный пьяница. В трезвом состоянии мужик как мужик, и хороший работник, даже заведует фермой, но потом выбивается на несколько дней из колеи и ничего уж не хочет больше от жизни, кроме как стакан водки.

Вообще-то узнав, что я приехал, несколько дней друг за дружкой приходят пьяницы, то один мужик, то другой. Впрочем, плохо поворачивается язык называть колхозников мужиками. Есть в слове «мужик» нечто основательное, уважительное, вековое. Мужик — это крестьянин, хозяин, самостоятельный человек. А колхозник? Да какой же он мужик? Колхозник, он колхозник и есть.

— Так, Алексеич. С прибытием. А мы вот тут... Нового председателя видел? Власть на местах!

Тут вдруг вспомнил я одно обстоятельство и пригласил Сергея к столу. Обстоятельство было такое, что будто бы (ходил по селу слушок) Серега оказался невольным свидетелем, как разорjali два года назад нашу церковь. Пусть гости послушают, хотя бы для озлобления, как любит выражаться Кирилл. Я налил Торееву без лишних разговоров и без лишних разговоров спросил:

— А правда ли, Сергей Васильевич, ты видел, как закрывали церковь?

— Ну... Как закрывали, нам неизвестно. Ее в области, наверное, закрывали или в районе. Решение властей. А сюда приехали два председателя.

— Из области?

— Думаю, из района. Из отдела культуры.

— Ну, и?

— Взяли они с собой Юрку Патрикеева.

— Заведующего клубом?

— Юрка, он Юрка и есть.

— Значит, три культурных человека собрались? И что же они?

— Отперли замок, открыли дверь и вошли. А я мимо шел. Изнутри-то они не сразу закрылись, я и вошел. Дай, думаю, погляжу, что и как. В церкви со свету не сразу приглядишься, кажется темно. Я вошел — и в сторонку, Они меня не заметили. Сначала-то я открыться хотел, зашел и зашел мужик, большое ли дело. А потом уж так и стоял, да еще притаился около печки. Печка там, наверное, знаешь, железом обита и черной краской покрашена. Я около нее и стою.

— А они зачем вошли?

— Порядок есть. Когда церковь закроют, сейчас из района, из отдела культуры, присылают людей. Они должны поглядеть и отобрать важные ценности. Серебро, золото, если есть, а также книги ценные, картины. Старина ведь, все может быть.

— Значит, они стали осматривать и оценивать?

— Что ты! Ну, правда, две ризы содрали с икон, скомкали их в мешок, значит, серебро, это уж точно.

— А иконы?

— Иконы тут же и бросили на пол. Одна сразу же и раскололась.

— А потом?

— Потом представление началось. Нарядились они в поповские ризы, начали было петь, но слов никаких не знают. Начали матерно орать. А Юрке велели все вокруг перекрошить, чтобы ничем нельзя было пользоваться. Юрка побежал и принес кол. Этим колом он стал налево и направо крушить: подсвечники, паникадило, купель, Христа распятого, иконы, которые за стеклами, — он по стеклам. Звон, треск пошел.

— А они в ризах?

— Потом-то они их сняли. Юрка эти ризы рвал. Ногой наступит, а руками дерет. Долго они там пропутались. А я как потихоньку вошел, так и вышел. Мало ли, думаю... Лучше с ними не связываться.

Так скажите же мне, друзья, в чем тут дело? Приехали не татары, не евреи, а русские из отдела культуры. Взяли с собой русского парня Юрку Патрикеева, и не в конце двадцатых — в начале тридцатых, а в шестьдесят первом году. Можно бы уж и опомниться к этому времени. И вот то самое место, где перевенчались все их прадеды, деды, отцы и матери, где отпевали всех их отцов и матерей, где сами они были крещены, это самое место вызывает у них наибольшую ярость. Ладно бы просто закрыть, вывезти имущество, так нет — осквернить, наплевать в самую душу.

— Самим же себе?

— Допустим. Но ведь не татары, не чужеземцы? Что же мы валим все на интернационалистов?

— Они создали климат в стране, привнесли основные разрушительные идеи, установили оккупационный режим.

— Так нег же их давно, ни в области, ни тем более в районе. Чего же мы стоим сами, если не можем одуматься и прийти в себя?

— Коллаборационизм.

— Допустим, что Юрка Патрикеев коллаборационист, то есть сотрудник этих парней из районного отдела культуры. Они, в свою очередь, коллаборационисты облсовета. Но ведь в облсовете — Тихон Сушков, а над ним Никита Хрущев. Все они русские люди. Значит, и Хрущев коллаборационист?

— Вне всяких сомнений.

— Чей, кого?

— Все они коллаборационисты идеи, идеологии.

— Не исключено, — тихо заговорил Кирилл, — что Хрущевым управляет не одна только окостеневшая идея, догмат. Не исключено, что им управляют или, по крайней мере, влияют на него реальные и живые силы.

— Черт с ним, сейчас вы будете говорить о глобальных центрах, которые вообще разыгрывают историю человечества, словно шахматную партию, а чего доброго, заговорите и о масонах. Я допускаю, что все это так и есть. Но все же, но все же... Почему нашими же руками? Почему сами же мы? Почему так легко Юрка хватает кол и начинает крушить? Чувство безнаказанности? Холуйство? Но лучшие ли это человеческие натуры? Распоряжались губкомы, ревкомы, ОГПУ, но крестьян-то в 29-м году увозили не губкомы. Лошадей-то запрягали соседи, кумовья, свояки, сельчане. С описью-то понятиями ходили по избам, детей из люлек выкидывали они же! Нет, не сожаления, не сострадания, а только презрения заслуживает наш великий народ. Подобрали отмычку к его, видите ли, детски-наивной душе. Да почему же так легко подобралась проклятая эта отмычка? Почему так легко он поддался ей? Почему сначала пошел на удручающее самоистребление, словно ослепли все, а потом почему позволил истреблять себя и других? Ивана берут, а я, может, и уцелею. Ивана расстреливают, а меня, может, и пощадят. Ивана увозят, а я притаюсь, перебежусь и выживу, да еще подсоблю увозящим. Но лучшие ли это человеческие черты?

— Ладно, Юрка разгромил церковь, — обрушился на меня Кирилл. — А вот ты писатель. К первому



секретарю обкома в гости ходишь. При желании мог бы тебя и Хрущев принять. Ты, когда услышал, что церковь собираются закрывать в твоём селе, ты ударил пальцем о палец? В обком ходил? Под протестующим письмом подписи всех жителей деревень собирал? Письмо такое с подписями обкому вручил? Протестующую телеграмму Хрущеву с Центрального телеграфа послал? А может, Хрущев и задумался бы после твоей телеграммы. А может, и в обкоме сказали бы: ладно, не связывайтесь — писатель. Одна церковь, подумаешь, пусть останется действующей. Так чем же ты лучше Юрки? Юрка — палач, который гвозди в ладони вколачивает да укус к устам на копье подносит. А перед этим был ведь Пилат, который руки умыл. И нисколько этот Пилат палача, заколачивающего гвозди, не лучше.

— Значит, и я заслуживаю презрения. Что ж, я ведь сын своего народа.

Я мог бы сказать в свою защиту, что здание-то само сумел отстоять от немедленного сноса и для этого ездил-таки в обком, но и этого я не мог сказать. Во-первых, жалкой показалась мне эта полумера в свете резкого, беспощадного разговора, во-вторых, ну, правда, здание действительно защитил, но не было у меня уж уверенности, что поступил я разумно и правильно. Ведь началось многолетнее надругательство над церковным зданием, началось его медленное разложение на моих глазах. Там ветер сдерет железо на крыше, и никто крышу не ремонтирует. Там привезут в церковное здание коровью тушу и повесят на крюк, на котором висело раньше паникадило. Там расстелют на церковном полу и в алтаре коровью, только что снятую и солью присыпанную шкуру. Стекла в окнах постепенно заменяются фанерками, ломается вот ограда, дальнейшее нетрудно вообразить. Грузовики и тракторы подъезжают к церкви, как к складу, со всех сторон. Размешивается грязь, разъезжаются глубокие колеи. Церковь оказалась стоящей среди грязи и вони. И на все это я должен год за годом смотреть из окон своего дома или проходя мимо.

Поездка в Черкутино и посещение там кладбищенской церковки, деревянной, построенной в 1796 году, не добавили ничего нового к нашему представлению о закрытых и разоренных церквях. Все со стен обрушено на пол, часть икон разобрана но домам черкутинскими жителями. Ее ведь, эту церковь, растаскивали постепенно с 25-го года. Ну, пусть стояла она с десятков лет закрытая, но под замком, все равно уж с нее достаточно.

Голуби громко хлопнули крыльями под куполом церкви, когда мы вошли. Отец Алексей не мог удержаться и поднимал, прислонял к стене валявшиеся на полу иконы, через которые нам приходилось перешагивать, за что и был тотчас вознагражден. Из-под вороха книжных спрессованных листов он вдруг извлек ослепительно сверкнувший в его руках дискос, то есть небольшую тарелочку размером с чайное блюдце с выгравированными на ней святыми. По блеску этой тарелочки, по ее сиянию мы и смогли представить, как сияла и блестела некогда вся церковка в ее, пусть не драгоценном, пусть на уровне серебра с позолотой, убранстве.

И надо же, как повезло отцу Алексею! Тридцать лет растаскивали отсюда все, кому что не лень, а едва ли не самый ценный предмет дождался его приезда.

— Промысел! — убежденно провозгласила Елизавета Сергеевна, и никто ей не возразил.

Удивительнейшим образом все в этой поездке, от пейзажей до названия колхозов, от случайных разговоров с людьми до внутреннего вида какой-нибудь там чайной или столовой, от мельком увиденной деревеньки на берегу оврага до обезглавленной церкви, превращенной в колхозный склад, от состояния кладбища до состояния полей — все ложилось на нашу теоретическую схему, все странным и удивительным образом совпадало с ее ячейками и наполняло ее. Точно так же, как по выражению лица человека, по цвету кожи, по оттенкам голоса, по глазам (а часто и по одежде) можно сказать, что этот человек не благополучен, надломлен, а то и болен, точно так же вся наша земля, разворачивающаяся перед глазами, производила впечатление неблагополучной, больной земли, беспризорной, бесхозной, неприбранной, а проще сказать — истерзанной. Силенок и внимания у колхозов, равно как и у районного и областного начальства, хватает с грехом пополам на то, от чего зависит выполнение спущенных сверху цифр. Да и на это, по совести говоря, не хватает ни силенок, ни внимания. О том же, что лежит рядом, никто уж и не думает, как если бы это существовало в другом, недоступном взгляду измерении. Так, если нужно заасфальтировать участок дороги (чтобы удобнее было руководить деревней, удобней было бы вывозить из нее то, что она произведет), то дорогу проложат. По при этом так исковеркают землю по обе стороны дороги и такое соскребнут ненужное для дела количество земли, что, конечно, никто так не обошелся бы со своей землей. Не будет употреблено ни малейшего усилия, чтобы загладить потом язвы и раны, нанесенные бульдозерами и другой техникой, привести землю около дороги в прежний благоустроенный вид, кое-где засыпать, кое-где разровнять, а может быть, даже и посадить деревца, — куда там. Силы и внимания хватило только на то, что было необходимо в пределах узкого интереса. Так и останется лежать земля ободранной до глубоких слоев красной глины, в рытвинах, ямах, карьерах, ссадинах. В жару эти ссадины навевают безотчетную тоску, в дожди раскисают. Потом тут выступают грунтовые воды, земля заболотится, зарастет осокой.

Надо ли построить коровник, дабы выполнять необходимые цифры по молоку и мясу, — коровник построят. Но усилий на то, чтобы место вокруг привести потом в опрятный вид, уже не хватает.

Поле, на котором растет пшеница, кое-как обработано, хотя и неровно, с огрехами, местами вымокло, местами поросло сорняками. Краины поля обезображены вывороченными пластами земли, прошлогодними буграми, недоизрасходованными кучками химических удобрений, мешками из-под удобрений. Колхозные леса (они ведь не имеют отношения к разным планам, цифрам молока, мяса, яиц, картофеля) не ухожены десятилетиями, захламплены и загромождены и только издали производят впечатление нормальных лесов, вблизи же, особенно если войти в такой лес, производят самое жалкое впечатление.

Сами дороги разъезжены тракторами и тяжелыми машинами так, что удивительно, как здесь все-таки ездят машины, точно так же разъезжены и деревенские улицы — без резиновых сапог в дождь невозможно перейти с одной стороны улицы на другую.

— Ну вот, пожалуйста, — не упускал ни одной возможности Кирилл. — Опять колхоз имени Ленина. А перед этим был «Первомайский». Только оккупанты, захватив страну, сразу начинают все переименовывать. Были деревни и села... Ну, назови, назови с десятков ваших деревень и сел.

— Караваево, Преображенское, Венки, Вишенки, Рождествино, Сеславское, Устье, Лыково, Черная гора, Жары, Ратмирово, Ратислово.

— Да, конечно, Ратмирово. Наверное, мирилась какая-нибудь рать. Сеславское тоже не без смысла. Нераж — вероятно, угро-финское слово, или там Ворша. Горямино — от горя, горевали

мужики, что церковь в соседнее село перенесли. Лыково и Вишенки сами за себя говорят, Черная гора тоже.

— Ну вот, сотни тысяч названий по всей стране. А ведь при переименовании колхозов обходились двумя-тремя десятками слов. Откуда же было набрать сотни тысяч. «Путь к социализму», «Заря коммунизма», «имени Ленина», «Красный авангард», «имени Володарского», «имени Первого мая», «Заветы Ильича»... И этими тремя-четырьмя десятками бездушных и безликих слов хотели обозначить всю необъятную Россию!

— Но все же мы называем до сих пор деревни, которые уцелели, их именами. И люди, живущие в этих деревнях, называют.

— Слава Богу! Но знаете ли вы, что в официальных государственных документах не фигурирует ни одного названия деревни или села. Там, в этих документах, нет ни Жаров, ни Рождествина, там только «Большевик», «Первомайский», «Ленина»... Зайди, зайди к секретарю райкома, который руководит всеми этими деревнями, объединенными теперь в несколько громоздких, уродливых колхозов, посмотри, что за списки лежат у него на столе. Списки колхозов с их нелепыми, чуждыми живому человеческому слуху и духу русского языка названиями: «МЮД», «Партсъезд», «Сорок лет Октября». Я поехал в «Сорок лет Октября» — это вместо Алепина и входящих теперь в колхоз деревенек Прокошихи, Брода, Останихи, Зельников... Вместо всего этого разнообразия и богатства — «Сорок лет Октября».

А ведь у каждой деревеньки мало того, что было свое название, свое лицо, был и свой характер. Брод была деревенька спокойная, мирная, тихая; прокошинские — были озорники. Те преимущественно плотники, те валялы, там торговое село, там мельничное. А в каждой деревне еще и свои характеры. У каждого мужика свои руки, свое хозяйство, свои горести и радости. И вот безликое «Сорок лет Октября» — центнеры, тонны, трудодни, графики, показатели. Все разнообразие под один серый цвет, все богатство под один средний уровень, все характеры — под одну гребенку.

У Кирилла в поездке была еще одна, своя, особая цель. Как фотограф-художник он собирал нечто вроде коллекции. Вернее, даже две коллекции. Во-первых, коллекцию российских церквей, то есть их фотографии. Во-вторых, коллекцию председателей колхозов. Так что, завидев хоть и далеко в стороне от дороги церковный силуэт (можно проехать теперь десятки километров и не встретить ни одного силуэта), мы сворачивали с нашей дороги и по проселкам, через овражки и лесочки, пробирались к обнаруженному объекту.

Все это были мертвые, умерщвленные храмы, ободранные, почерневшие, с задраным на крыше железом, со свалившимися крестами, обгаженные со всех сторон и внутри человеческими экскрементами. И все-таки красота в соединении с местностью поражала нас. Помню село Покров над высоким берегом Колокши. Не на самом берегу, а вот именно на холме, высоко над берегом. Зеленый холм в стороне от села и повыше, нежели село, а на холме, овеваемая ветерками, окруженная со всех сторон неоглядным летним простором — лугами, хлебами, перелесками, легкой дымкой небесной синевы с белыми с позолотой облаками, стояла на холме белая церковь Покрова. Она как белый парус плыла над родными полями, над цветеньем и зеленью. Колокольня — уже груда розоватого щебня. У самой церкви нет ни окон, ни дверей, осталась только одна коробка. Кирпичная коробка, сохранившая яркую побелку, да зеленая трава, на которой стоит. Господи, как же здесь было в полном-то благополучии! Когда и купола, и колокольный звон, и цепочка прихожан в белых платочках и картузах. Во все стороны уплывал отсюда звон по речной пойме, откуда (со всех сторон) плыли навстречу ему ответные звоны.

— Нет, — кипятился Кирилл, — что бы ни говорили, но не могли культурные, образованные люди (с Казанским ли, с другим ли университетом) произвести такое опустошение и разорение по всей стране. Никакие они не культурные люди, а варвары, недоучки, недоумки, невежды, к тому же полные самой мелкой и мстительной злобы. Преступники, захватившие власть. Ну скажи, разве не бандитизм — уничтожение красоты. Красоты земли, общего ее облика. Да ведь не ими же было и поставлено. Лисенок, кинь последние строфы из некрасовского «Власа». Лиза тотчас начала внятно читать:

Ходит в зимушку студеную,  
Ходит в летние жары,  
Вызывает Русь крещеную  
На посильные дары, —  
И дают, дают прохожие...  
Так из лепты трудовой  
Вырастают храмы Божии!  
По лицу земли родной...

Это написал Некрасов, беспристрастный свидетель, можно сказать, революционный демократ. Значит, правильно, из лепты трудовой, из лепты народной выростала по всей Руси эта красота. Кто же мог ополчиться против нее и поднять руку, кто позволил бы себе надругаться над ней и осквернить ее? Только враги России, только мелкие злобные мстители, только хулиганы и преступники. Неужели это кому-то непонятно?

— И он тоже мстил? За кого и за что?

— Как за кого? За брата! Брата же повесили, вот он и сказал, что мы, мол, пойдем другим путем. Поклялся. А тут мать их всех, деток своих, натаскивала на разрушение России. Созидать может только любовь, разрушать же можно только в озлоблении. Если судить по размерам разрушения, по вакханалии разрушения, то озлобление было диким, звериным. (51)

И вот проходили через наши глаза, через наши сердца, обливавшиеся каждый раз кровью, церкви на холмах, церкви в окружении деревьев, церкви посередине сел и на отшибе от сел, церкви одноглавые и пятиглавые, но все мертвые, все поруганные как одна.

Если колхозный склад, мы заходили в него. Ударял в ноздри запах тухлого мяса, лежали расстеленные на полу сырые, посыпанные солью коровьи и бараньи шкуры, лежал грудями комбикорм для свиней. В другом складе могли храниться в рулонах толь, мотки проволоки, ящики со стеклом, банки с краской. В третьем складе могло лежать по всему полу зерно, овес, например, а там была свалена серая пыльная льняная кудель.

Подъехав к одной церкви, окруженной деревьями, мы обошли запущенный мертвый храм и

присели на его папёрть послушать тишину среди одичавших кустов сирени, среди акаций и бледно-розовых мальв.

Пустое, позабытое место. Только не было полной тишины. В проемах колокольни негромко, тоскливо подвывал ветер. Здесь, где мы сидели, в кустах, было вполне безветренно и жарко, наверху же, выше кустов и деревьев, ближе к кресту, ближе к белым полуденным облакам, гулял, значит, светлый ветер.

Мы очнулись от задумчивости и встали, потому что к погосту приближались какие-то посторонние звуки. (52) Вроде бы и шарканье ног, и приглушенные голоса, и не то плач, не то песня. Посмотрев из-за куста, мы увидели, что со стороны села приближается похоронная процессия. Оказывается, место еще не совсем забыто: здесь по-прежнему деревенское кладбище. И как это мы раньше не заметили, что некоторые холмики среди буйной некошеной травы довольно свежи или, во всяком случае, троганы заботливыми человеческими руками.

Процессия была немногочисленная, обыкновенные деревенские похороны. Я помню с детства, как хоронили у нас в селе. Выносили из церковной ограды через главные врата, которые и отворялись только ради такого случая... Впереди крест с полотенцем, потом какой-то фонарь, я уж не помню хорошенько. Самый большой колокол бил редко, с большими промежутками. От одного удара до другого похоронная процессия успевала пройти шагов тридцать-сорок. Таков уж похоронный звон. Было что-то жутко-торжественное в этих редких, неожиданно падающих тяжелых медных ударах. Как бы рядом с маленькой процессией чья-то особая великанья поступь, поступь смерти и скорби, поступь самого времени. Бум! — сорок шагов. Бум! — сорок шагов. Пока донесут до кладбища, ударит раз пятьдесят.

Настоящего церковного отпевания я не слышал давно, так чтобы помнить и представлять, что это такое. Но один раз, несколько лет назад, пришлось услышать, как отпевали Алексея Алексеевича — моего отца. Впрочем, какое отпевание: отец Александр, безголосый по старости, на подхвате у него тетя Поля Московкина с Володей Постновым — убогая, жалкая компания. Но я слушал, и вдруг у меня по телу пошел мороз. Я не помню теперь, но какие-то такие торжественные, единственные для этого случая, а потому, значит, великие слова произносил нараспев отец Александр с приспешниками, что где-то в глубине у меня мелькнула мысль: не так страшно умирать, если и над тобой будут говорить такие же слова.

Теперь не слышно было большого колокола, не слышно было и надгробного пения. Тихо, понуро несли по жаре, по пыльной дороге оттрудившегося, отпахавшего, откосившего, отдымившего махоркой, отругавшегося по-матерному от проклятой жизни русского мужика. Либо отрожавшую, отгремевшую чугунами да ухватами, отработавшую свое, отстрадавшую свою русскую женщину.

Нам захотелось посмотреть, как будут хоронить, чем заменят отнятый у них извечный похоронный обряд.

Вот у меня, например, как у московского литератора, свое представление о похоронах. Должны поставить гроб в ЦДЛ (уберут на время ресторанные столики), и Михалков должен произнести речь, и Роза Яковлевна будет раздавать траурные повязки, и будет звучать траурная или просто хорошая музыка.

Допустим, что лучшего я не хочу и что это считаю для себя «быть похороненным по-человечески». Если мне скажут теперь заранее, что я после смерти буду выброшен на съедение зверям и на расклевание птицам, я сочту это за бесчеловечную жестокость. Я не хочу ни зверей, ни птиц.

Однако в Индии есть касты, которые считают высшим благом быть выброшенными на расклевание и на съедение. С их точки зрения это называется «быть похороненным по-человечески». Или сожжение на берегу священного Ганга. Если сказать индусу, что он не будет сожжен на берегу Ганга или не будет брошен зверям и птицам, индус сочтет это за бесчеловечную жестокость.

Короче говоря, всякий человек, если и не имел каких-нибудь прав при жизни, должен иметь святое право быть похороненным с его точки зрения «по-человечески».

И вот закрываем церковь. Это значит — одним махом лишаем сотни пожилых людей, стариков и старушек их права на похороны «по-человечески», ибо остальные похороны они считают «по-собачьи», как скотину, как падаль. Что же, перевоспитывать их поздно. А ведь их в масштабах страны — миллионы. Кто же взял на себя право на такую чудовищную жестокость?

Живет старушка, русская крестьянка, русская мать, русская бабушка. Она, конечно, сейчас в областном и районном масштабе — ничто: не доярка, не маяк, не член бригады коммунистического труда. Оркестр из района ради ее похорон не приедет, траурных флагов не вывешат.

Да, она не доярка и не маяк. Но она — че-ло-век! И все ее мечты, вся ее последняя воля — это чтобы ее отпели в церкви. Но это-то как раз у нее и отнято. Мало того, что отнято, — при жизни сказано, чтобы и думать не могла ни о какой церкви, ни о каком отпевании.

— А что же будет, когда умру?

— Отвезем и зароем.

— Как скотину?

— Как хочешь понимай.

Где же мера жестокости, издевательства над людьми, глумления над человеческими чувствами?

Пока я так размышлял, похороны дошли до кладбища. Мы тоже подошли к пустой могиле. Земля здесь была — красная глина. В холмике она рассыпчатая, вся из кубиков, а на стенках могилы, на срезах — глянцевая, блестит как масло.

Подошли люди к могиле. Поставили гроб рядом с ямой. Громче завопили женщины. Окружили, столпились вокруг тесной сиротливой кучкой. И вдруг мы видим, что растерялись. Не знают, что делать дальше. Надо же что-нибудь делать, ну, хоть что-нибудь, чтобы последняя дань и последний обряд... Не было у них никакого обряда.

Старушка, стоявшая ближе всех к покойнику, перекрестила его, а потом посыпала на белый саван красной рассыпчатой землянички. — Заколочивайте, мужики, чего глядеть-то. Появилось дело, мужики оживились. Что-то, а гвозди заколачивать мы умеем. Раздались гулкие, тоскливые удары двух молотков. В два молотка заколотили моментально. Протянули веревки под днище гроба. Кряхтя, с трудом удерживая его в равновесии, начали опускать гроб в прохладную глинистую глубину. Опустили. Выдернули веревки обратно. Тоскливо и глухо застучали комья земли. Все глуше, все мягче... Перешло на шуршание.

Засыпали и снова остановились в растерянности. Надо было расходиться. Но было, должно быть,

у каждого на душе ощущение чего-то недоделанного, недосказанного либо сделанного не так.

Но делать больше нечего. Могила засыпана, не до вечера же над ней стоять. Не дружно, группами начали расходиться. Женщина лет пятидесяти каждому сказала, чтобы пришли поминать.

Ну да. Сейчас соберутся в избе этой женщины, выпьют под жиденькую закуску, а там и напьются допьяна. Упрекать ли? Надо же выплеснуть из души сосущую, пусть не до конца осознанную либо и вовсе неосознанную, тоску.

Пополняя вторую (второстепенную, правда) свою коллекцию, Кирилл едва ли не в каждой деревне просил меня отыскать председателя колхоза. Потому мне здесь отводилась главная роль, что, пока я разговариваю с председателем как журналист, выспрашиваю у него про колхозные дела, Кириллу удобнее со стороны, оглядевшись и прицелившись, используя даже и телеобъектив, чтобы приблизить председателево лицо, занять им весь кадр, произвести свой снайперский щелчок затвором и увезти в камере отображение моего собеседника, иногда не подозревающего, что его запечатлевают, а если и заметившего, то, конечно, не протестующего, а, напротив, радующегося: корреспонденты, потом попадешь в газету.

Но «потом» никакого не было. Потом Кирилл раскладывал на столе у себя фотографии и говорил:

— Посмотри, посмотри. Вот они, командиры нашего сельского хозяйства. Найди хоть одно лицо. Найди черточку одухотворенности хоть в одном лице. Приглядиись повнимательней. Это же не лица, а хари. Небритые, опухшие, не то с похмелья, не то с недосыпу. Может быть, ты видишь волю, проблески разума, проблески личности хоть в одном лице? Безликие люди. Растерянные, недоумевающие, чего же от них хотят. Эти люди будут делать все, что им скажут сверху. Сеять кукурузу — сеять кукурузу. Искоренять кукурузу — искоренять кукурузу. Укрупнять колхозы — укрупнять колхозы. Разукрупнять колхозы — разукрупнять колхозы. Вводить трудодни — вводить трудодни. Заменять трудодни зарплатой — заменять трудодни зарплатой. Самим думать не надо. Самим надо только изощряться, как бы уцелеть на месте, а для этого как бы обхитрить начальство со сводками, как бы втереть очки, что все уже посеяно и убрано, а завтра задним числом эти цифры все же выполнять. Но выполнить не всегда удается. Обман влечет новый обман. И получается так, что на бумагах существует одна действительность, а на самом деле другая. Обман поднимается выше, из района в область. В последней инстанции обманывать уже некого, кроме разве самих себя, да еще весь народ с трибуны съезда или сессии Верховного Совета. А в это время таить от народа, ликвидировать несоответствующие действительности бумажные цифры путем покупки пшеницы и овса в Америке, в Канаде, в Австралии...

Все же пока Кирилл снимал, мне приходилось разговаривать с председателем, и не стоило большого труда, чтобы срезать его, как на экзамене, со второго вопроса, потому что состояние наших колхозов мне тогда было известно в тонкости. Сначала он пыжился, но скоро выяснялось, что урожай в прошлом году был девять центнеров, что молока коровы надаивают по две тысячи литров, что часть картошки осталась в поле под снегом, несмотря на то, что пригоняли из города целыми автобусами рабочую силу, что кормов не хватает и до середины зимы, — так председатель скисал, «раскалывался», по выражению Кирилла, и сразу начинал жаловаться на нехватку рабочей силы.

Один директор совхоза (для разнообразия) так нам и сказал:

— Завтра буду проводить общее собрание, буду призывать людей, пусть приглашают своих родственников или знакомых переезжать к нам в совхоз. Нехватка рабочей силы.

— Где же народ?

— Бегут, — коротко и ясно ответил директор.

— Но все же вон сколько домов у вас на совхозной усадьбе. Живут же в них люди. И потом, дело разве в количестве людей? Вот я был в Дании, поинтересовался...

— Ну и как там, в Дании? — живо и заинтересованно отозвался директор.

— Там у них фермерский тип ведения хозяйства. На этот путь должна была встать Россия с осуществлением столыпинской реформы. Так и называли, кажется, «датский путь». Но Дания маленькая. Пусть хоть и фантастическая производительность труда, но не те масштабы. Если бы такую производительность в масштабах России...

— А какая производительность?

— Ну... Я попросил показать мне небольшое хозяйство. Примерно, чтобы столько земли, сколько было у нас в среднем крестьянском хозяйстве. Причем хозяйство не выбирали. Ехали по дорою, и зашел разговор. Свернули с главной дороги, фактически к первому попавшемуся хозяйству.

— Ну и?

— Семь гектаров земли. Муж и жена. Обоим лет по тридцать. Дочка-подросток. У дочери своя верховая лошадь. Еще лошадь для работ. Полтрактора-колесника.

— То есть?

— С соседом на двоих куплен колесный трактор. Прицепные орудия свои, главным образом подвесные. Инструмент... Поглядели бы вы на инструмент! Вилы, лопаты, грабли — все ярко окрашено, черенки изогнуты соответствующим образом, чтобы меньше тратить усилий и чтобы удобнее инструментом пользоваться. Два автомобиля: легковая машина и небольшой грузовичок. То, что производят сами, — не едят. Приезжает специальный автомобиль (как раз при мне приезжал) и привозит то, что они заказывают: мясо в целлофане, зеленый горошек, шпинат... Хозяйка мне показала холодильник — горизонтальный, похожий на сундук. Подняла крышку — полно продуктов. Все свежее, яркое, как на картинке из книги о вкусной и здоровой пище.

— А что производят?

— Три вида товарной продукции: молоко, яйца и поросят. Я, конечно, спросил, сколько они вдвоем на семи гектарах, имея полтрактора и лошадь, произвели разной продукции.

— Ну и?

— Две тонны яиц, молоко в перерасчете на сливочное масло 1800 килограммов и сорок поросят на бекон.

— Яйца на вес?

— Да, яйца на вес. Там они у них и в магазинах продаются на вес. Значит, около тридцати тысяч штук. Если на всех троих, включая дочь, разделить, получается по десять тысяч на каждого человека, а фактически по пятнадцать, потому что работают только двое. Вот вам производительность. А у вас?

— Что у нас? — как бы очнулся директор.

— У вас есть куриная ферма?

— Есть.

— И сколько же в среднем на человека вы сдали в прошлом году яиц?

— У нас куры не главное. У нас главное молоко.

— Но все же?

— Да нет... — замылся директор. — Стыдно говорить.

— Но все же?

— Яйца по три на человека.

— Теперь возьмем главный ваш продукт — молоко. У него коровы по пять тысяч литров запросто дают. Я ему говорю: приезжайте к нам, вы же сразу маяком окажетесь, ваш портрет в районной газете напечатают, а то еще и Героя труда дадут. Нет, говорит, я уж как-нибудь здесь перебыюсь без районной газеты... Ну, так возьмем теперь главный ваш товар, молоко.

— Не буду и брать, — ответил директор. — Я уж понял. Другая система — другие и результаты. Я думаю сейчас: значит, у меня в совхозе не нехватка рук, а настоящая богадельня. У них там на двоих сорок поросят. Да если бы по двадцать поросят на каждого моего рабочего, да мы бы всю область поросятами завалили. Это что же получается? Тысяча восемьсот килограммов сливочного масла в год. Вдвоем. Невероятно! Пусть у нас триста человек в совхозе. Значит, мы должны бы произвести шесть миллионов яиц, около тридцати тонн масла да еще шесть тысяч поросят на бекон. Нет, это не может уложиться в сознании. Какой же у них урожай?

— Урожай в Европе в среднем один и тот же — 24 — 26 центнеров. — В среднем?

— В среднем. Во Франции, в Германии, в Дании, в Англии... Даже в Польше, а уж ведь не ахти какие земли. Полесье да Мазуры и то собирают в среднем двадцать один.

— Да... А не сказки ли вы тут мне рассказываете? У нас же самая передовая система ведения хозяйства.

— Да уж передовая, если девять-одиннадцать центнеров вместо 24 — 26 и по две тысячи литров молока вместо пяти тысяч, да еще по три яйца в год на каждого человека.

— А как же батрачество?

— Есть сельскохозяйственные рабочие. Но это — у кого много земли. Как правило, до пятидесяти гектаров обрабатывают своими силами, свыше пятидесяти гектаров — держат сельскохозяйственных рабочих из расчета один человек на каждые пятьдесят гектаров.

— Невозможно поверить!

— Однако так.

— А как живут? То есть тип жилища? Условия?

— Как и повсюду в мире — отдельный благоустроенный дом. Чаще двухэтажный. Тип коттеджа. Горячая вода, ванна, несколько комнат. Обстановка зажиточной городской квартиры.

— А рабочие? Сельскохозяйственные рабочие, то есть, по-нашему, батраки?

— Нам ли теперь говорить о батраках, о батрачестве! Батрак ведь именно не кто иной, как сельскохозяйственный рабочий, не имеющий своей земли. Так или нет?

— Ну, так.

— Значит, фактически все наше крестьянство превращено в сельскохозяйственных рабочих. Чем рабочие вашего совхоза отличаются от сельскохозяйственных рабочих в той же Дании? Ничем. Только меньше зарабатывают, хуже едят, живут в худших условиях. Теперь и в колхозах перешли на денежную оплату. Фактически — и в этом нет никакого преувеличения — все крестьянство страны превращено у нас в батраков, только батрачат они не на хозяина, а на государство. Председатель же и директор не более, чем надзиратели над ними, ну, или управляющие.

Вы строите для своих рабочих (а теперь и в колхозах мода пошла) многоквартирные двухэтажные дома. Это последняя степень низведения крестьян на роль рабочего, обрыв последних его корешков от земли. Ведь только и разница была, что своя изба да усадьба в двадцать соток. Теперь установка — ликвидировать и эту разницу. Агророда. Понимаете ли вы всю нелепость строительства таких домов в деревне?

— Но в многоквартирном доме легче создать условия. Водопровод, отопление.

— Неужели ради водопровода надо скучивать целую деревню, понимаете, просторную зеленую деревню, с деревьями, с садами, с палисадниками, с колодцами, с амбарами, с погребами, с прогнами, всю ее скучивать в один двухэтажный длинный кирпичный дом, который сразу же, словно коростой, обрастает сараюшками, уличными фанерными уборными, в дождливую погоду оказывается посередине жидкой грязи. А участки, жалкие огородишки, вы им нарежете вдали от этого дома. Так вот я вам скажу, что в Дании сельскохозяйственные рабочие в таких крольчатниках, какими вы пытаетесь облагодетельствовать своих рабочих, жить бы не стали.

— Что же предлагаете в двадцатом веке? Так за патриархальную избу и держаться?

— Если бы развитие деревни шло естественным и нормальным чередом, поверьте, за пятьдесят лет выработался бы новый тип постройки, и красивой, и удобной, и национального характера. Какими были бы эти дома, сейчас сказать трудно, как трудно сказать, что вообще представляла бы из себя Россия при естественном и нормальном пути развития. Но уж будьте уверены, в лачугах бы не ютились. Вон в Польше, пожалуйста, частное землепользование, земля покупается и продается. Колхозов у них нет. Так что же, думаете, польские крестьяне живут в хижинах, в завалюхах? Ого, они себе такие дома ставят, куда там виллам и коттеджам. Сселить бы их в ваши двухэтажные крольчатники!

— А все же, — ударил последним козырем директор, — гони нашего работника или колхозника из совхоза, колхоза, давай ему собственное дело, сажай его на собственную землю, он не пойдет. В город он, конечно, уедет и пристроится где-нибудь, но своей земли не захочет и работать на ней не будет.

...У нас получался большой вечерний прогон на машине. Было время поговорить, и мы невольно вернулись к последнему аргументу директора. Началась, собственно говоря, та же игра в «кувальдягу». То есть они, Кирилл и Лиза, пытались поставить меня в тупик, сразить неопровержимыми документами, а я должен был их удары парировать. Или иногда наоборот.

— Так вот, Владимир Алексеевич, директор, может быть, и прав, гони нашего колхозника из колхоза, давай собственную землю, заставляй хозяйствовать самостоятельно, а он — не пойдет.

— Да, я недавно разговаривал с одним. Где тебе лучше жить, спрашиваю, раньше, когда ты хозяйствовал самостоятельно, в единоличном хозяйстве, или теперь в колхозе?

— Теперь, Лексеич, мне не в пример лучше.

— Чем же?

— Так ведь как же? Раньше солнышко еще не вышло, а я уж на полосе, бороную или пашу, или, скажем, жнитво.

— А теперь?

— А теперь я высплусь, позавтракаю, не торопясь покурю и в восемь часиков на работу. Пока придешь, пока тары-бары, глядишь, обеденный перерыв. Ну, в обед мы с мужиками скинемся, без этого нельзя, разольем на троих. Считай, и весь рабочий день кончился.

— Да много ли сделаете?

— А это уж сколько сделаем. Об этом пусть у председателя голова болит.

Да, народ избалован, но не хорошей жизнью, а возможностью жить, работая кое-как. Пусть он живет кое-как, но и работает кое-как. У народа развились иждивенческие тенденции. Не так давно Хрущев провел кампанию ликвидации частных коров. Колхоз скупал у колхозников частных коров и тем самым иллюзорно увеличивал колхозное поголовье. В государстве коров не прибавилось, только перекочевали они из одного помещения в другое. На эту кампанию даже искусство поработало: читайте пьесу Макаенка «Лявониha на орбите» или смотрите фильм по этой пьесе «Рогатый бастион». Одним словом, кампания. Дескать, свою корову продай в колхоз, а сам молоко будешь покупать в колхозе. Потом эта кампания отменилась. И что же? Продавшие коров не захотели ими снова обзаводиться, отвыкли. Рано вставать не надо, доить не надо. Пусть другие заботятся, а я и так проживу. Одна крестьянка мне даже пословицей ответила: «Эх, Владимир Алексеевич, конечно, своего молока у меня теперь нет. Но что не доплю, то досплю».

Так и тут. Да, может, и не все теперь пошли бы опять на землю, на самостоятельное крестьянствование. Но это точно так же, как поросята с колхозной свинофермы, вероятно, не пошли бы жить в лес. Там ведь о пропитании заботиться надо, корм добывать, думать о самосохранении. А здесь думать не надо. Наряд дадут, зарплату выдадут. Точно как и на свиноферме: худо-бедно, а свинарка в определенное время покормит. А лес? Лес — это страшно, это ведь самостоятельно надо жить. А жить самостоятельно, без кнута и без пряника, то есть без обещания лучшей жизни в недалеком будущем, они отвыкли.

Между прочим, точно так же, как я, советский литератор, не хотел бы оказаться вдруг за границей. Говорят, там — свобода. Может быть, и так. Но я отвык от самостоятельной борьбы за существование, у меня инстинкты притуплены. Я уж без Союза писателей, без Маркова да Ильина как-то неуверенно бы стал себя чувствовать. Где уж мне бороться за существование. Я отвык. Я тоже на свиноферме. Крышей над головой обеспечат, с голоду умереть не дадут.

Но все-таки я не верю. Если бы разрешили сейчас уходить из колхоза с наделом хорошей земли, вроде как на отруба при Столыпине, не все бы сразу, а постепенно бы потянулись. Если же нет, то надо считать, что народ мертв, что народа уже как такового и нет, а есть миллионы рабов, есть многомиллионное, потерявшее даже и понятие о достоинстве личности, о национальном достоинстве и вообще о человеческом достоинстве население страны.

— Вы часто употребляете такое понятие, как «насилие» и даже «оккупационный режим». Мы с Лисенком согласны, что насилие было. Отбирались дома, конфисковывалось имущество, людей отправляли на Соловки или в другие лагеря и там истребляли. Кстати, дополнительная кувальдяга. Может быть, это было все-таки не планомерное, расчетливое истребление русских генов, не преднамеренный геноцид, а азарт борьбы? Вы нас или мы вас. Кто кого? И речь шла не о русских именно, а о врагах революции?

— О нет. Илья Сельвинский, поэт очень близкий к Троцкому (а уж наверное, посмеиваясь и потирая руки, обсуждали и течение дел в стране, а не только стишки), откровенно и цинично написал в одном стихотворении... Интересно, как вы мне объясните его жуткие слова:

Мы знаем язык объективных условий,  
Мы видим итог концентраций.  
Мы взвесили, сколько литров крови  
Нам придется истратить.

Ну вот, печатается в каждом издании Сельвинского. Скажите же мне, о каких итогах идет речь? Каких концентраций? Да очень просто. Страна бурлит, бродит, газеты кричат у нас об одном, на Западе о другом. Там митинги, там очереди за хлебом, там Уэллс приезжает в СССР и встречается с Лениным, кого-то сажают, кого-то, слышно, и выпустили, то продразверстка, то торгсины, а жизнь идет. И только посвященные знают, что во всей этой неразберихе осуществляются заранее запланированные и целенаправленные акции. Ну, скажем, так. Из окончивших Московский и Петербургский университеты надо уничтожить девяносто процентов; высшего духовенства надо уничтожить девяносто семь процентов; выпускников гимназий надо уничтожить до восьмидесяти процентов; бывших офицеров русской армии, не ушедших в эмиграцию, — девяносто процентов; бывших воспитанниц пансионов благородных девиц — семьдесят пять процентов; бывших купцов — девяносто пять процентов; бывших генералов и адмиралов — девяносто пять процентов; бывших лесничих и агрономов — шестьдесят восемь процентов; бывших дипломатических работников — девяносто девять процентов... Вот это и есть итог концентраций.

А чью это кровь собирается литрами (а на самом деле тоннами) расходовать Илья Львович? Не свою ли уж? В конце стихотворения, отвечая разным верхоглядам, пророчащим гибель большевизму, а на самом деле не умеющим трезво оценить события, Илья Львович говорит;

А мы хитро потираем ладони.  
Нам чихать, у нас цифры.

Цифрами оперировать легко, если забыть, что за ними люди. А впрочем, в положении потирающего руки приближенного Троцкого, если знать, что за цифрами люди, то оперировать ими еще приятнее.

Но мы отвлеклись. Да. Так вот. Насчет насилия и признаков оккупационного режима. Мы согласны, что на первых порах действительно было насилие. Конфискации, аресты, выселения... Но теперь?

Какое насилие мы видим теперь? Рабочие ходят на заводы, служащие в учреждения, колхозники работают в колхозах, пионеры сидят у костров, студенты учатся. Где же в нашей жизни насилие?

— Оно либо приняло скрытые формы, и мы к нему уж привыкли, либо дремлет в существе нашей системы и, когда надо, показывает зубы.

Например, вот я рассказывал вам про коров, которых скупали у колхозников. Это еще полбеды. Но незадолго перед этим была проведена Хрущевым еще одна, я бы сказал, дикая кампания.

(А ведь надо заметить в скобках, что Хрущев — демократ и либерал. До него колхозник не имел права зарезать даже собственного поросенка, кроме как с разрешения государства, а зарезав, должен был бесплатно отдать государству свиную кожу, хотя во всем мире известно, что кожу с поросенка снимать не надо, а надо его палить.)

Так вот, в многочисленных городах у жителей содержалось много домашней живности, особенно в украинских городах, в шахтерских районах. Молоко, яйца и сало не зарывались ведь в землю, а либо шли на стол, либо выносились на рынок, то есть опять же людям. И вот «всезнайке» Хрущеву плеснуло в голову — всю городскую живность немедленно ликвидировать. Зачем? Почему? Кому мешало? А черт его знает! Здравому смысла в этом не было никакого. Наверное, кто-нибудь подсказал, что, де, много, мол, магазинного хлеба скармливают горожане коровам, курам, поросятам. Подозреваю, что подсказали ему насчет хлеба, скармливаемого коровам, а он стукнул кулаком по столу: ликвидировать в городах всякую живность!

Ну и вот. Держишь ты корову, свинью, на свои деньги и, а в более южных, украинских городах, где у каждого домика садик, как же не держать корову, поросенка и кур? И вдруг приказ: в течение трех дней ликвидировать.

Как мы только что говорили, — одно дело цифры, а другое дело живая жизнь. Мне рассказывал рабочий завода «Автоприбор» во Владимире. У его дочери Светланочки оказались слабые легкие с подозрением на туберкулез. Положительная реакция манту. Врачи посоветовали каждый день давать девочке козье молоко. Но где же его достать в советском городе, если и коровьего не всегда вдоволь? Купили козочку. Эта козочка стала у них вроде как член семьи. Светланка к ней привязалась, сам Николай ежедневно на велосипеде выезжал за город после работы и около полотна железной дороги либо в лесу, в кустах, нарывал кошелку травы. Держали козу в дровяном сарае. Ежедневно два литра козьего молока целебного.

И вот приказ — ликвидировать всю городскую живность. Коров учечь не трудно, и их ликвидировали в течение одной недели. Кур милиция ловила сетями. Да, да, я однажды видел эту картину. Перегородили улицу сетями и загоняли в них кур, потому что озлобленные хозяева просто выгнали этих кур со своих дворов на улицу — хотите, ловите сами! Где же хваленые Гоголи и Салтыковы-Щедрины?

Ну а козу можно и спрятать. Пусть стоит себе в дровянике, никому не мешает. Но сосед, конечно, настукал. Как же без этого? Мы же советские люди, самые сознательные во всем мире. Пришла милиция.

И так жалко стало эту козенку, эту Светланочкину кормилицу, а пуще того саму Светланочку, что Николай соврал, будто козу свою он уже ликвидировал. Милиционер поверил. Однако сосед настукал вторично. Пришли опять. Обыскали сарай, увели. Светочка плачет, на милиционера бросается с кулачками. Так, по-вашему, это не насилие?

Или уже разучились понимать, где беззаконие, где закон? Оказывается, прекрасно все понимаем. Вот заметочка в «Правде», нарочно вырвал клочок и ношу в кармане, чтобы вам показать, да все забывал. Возьми и вслух прочитай, а то у меня руки рулем заняты. Взяла Лиза и внятно, выразительно прочитала:

#### «КОНФИСКОВАН ДОМ С. АЛЬЕНДЕ (53)

Париж, 24, ТАСС. Фашистская хунта в Чили совершила новую позорную акцию. По сообщению из Сантьяго, хунта объявила конфискацию загородного дома, который принадлежал героически погибшему Сальвадору Альенде. Как известно, после захвата власти реакционная военщина осуществила незаконную конфискацию собственности многих видных деятелей Народного единства, в том числе выдающегося поэта-коммуниста Пабло Неруды».

Итак, вот заметочка в «Правде». Конфискация собственности, загородного особняка, названа акцией позорной и незаконной. Значит, понимаем, что незаконно конфисковать чужую собственность, и даже пишем об этом в «Правде». Ну а конфискация козы у бедного Николая с завода «Автоприбор»? А конфискация всех загородных усадеб и вообще всех усадеб в первые же дни после захвата власти? Это, значит, законно и не позорно?

Трудно ли понять, что речь идет не о законности отдельных акций, а о законности захвата власти той или иной группой, о законности того или иного государственного переворота, о законности той или иной власти как таковой? Тогда почему же, скажите, по каким таким признакам один насильственный захват власти считается законным и доблестным, а другой незаконным и позорным? Группа (партия) вооруженных людей силой захватывает власть, эти люди конфискуют что можно, где можно, выселяют, сажают в тюрьмы и лагеря, мучают там, уничтожают чуть ли не половину населения страны, насильственно загоняют людей в нелепые колхозы, предварительно отняв у них, насильственно же, землю, лошадей, инвентарь, и все это, представьте себе, законно!

Ну, конечно, то ведь мы конфискуем, а не у нас (или не у наших приспешников). Когда Сальвадор Альенде или бородатый Фидель на Кубе конфисковал все направо и налево, «Правда» не писала, что это незаконно и позорно. Еще бы, это ведь мы...

— Да, Владимир Алексеевич, мы. И притом для блага народа.

— И Соловки для блага народа?

— И Соловки.

— И гражданская война с миллионными жертвами?

— И гражданская война с миллионными жертвами.

— И коллективизация с миллионными жертвами?

— И коллективизация с миллионными жертвами.

— И инспирированный голод в Поволжье и на Украине в 1933 году с миллионными жертвами?

— И голод в Поволжье и на Украине.

— И разорение всех церквей?

—

И

разорение

всех

церкв

- И страдания людей в лагерях?
- И страдания людей в лагерях.
- И жизнь колхозников десятилетиями на пустых трудоднях?
- И жизнь колхозников на пустых трудоднях.
- И все это для блага народа?
- И все это для блага народа.

— Да, черт возьми, давайте посмотрим в конце концов, что же это за благо такое, ради которого погибло полнаселения страны. Кто говорит — около семидесяти миллионов, а кто говорит — и все сто двадцать. Что же это за рай земной, взращенный на этакой-то кровище, на этих-то муках мученических. Мы уж не будем вдаваться в нравственную сторону дела и не будем развивать интеллигентские хлюпанья вроде Достоевского, который доказывал, что никакого блага не может быть, если оно куплено хоть одной мученической слезой ребенка или одной жизнью. Нет, примем путь и безнравственную посылку, что ради блага народа можно идти на неисчислимы жертвы. Но представляете ли вы, каким должно быть благо, купленное ценой шестидесяти миллионов жизней, каким должен быть этот социалистический рай? Оглянемся окрест себя и посмотрим, чего мы добились? Чего мы достигли? За что заплатили такую чудовищную цену?

— Лисенок, бей кувальдягой по скуле! Раньше люди холили в России в лаптях, а где теперь лапти?

— Я воспринимаю это как шутку. Да, кое-где в некоторых губерниях бытовали лапти. И вот уж вся Россия — лапотная, немытая. Вы здесь смыкаетесь с неким Михаилом Кольцовым (псевдоним), который писал на девятом году революции: «Каждый день мы нагоняем и обгоняем сонную, немытую, в грязных космах, корявую старушку довоенную Россию...» Ну, Кольцову простительно. Во-первых, естественна его ненависть к России, во-вторых, обманывать людей была их задача. Но вы-то лучше меня знаете, что Россия ходила не в лаптях.

Россия ходила в сапогах, прочных, смазанных дегтем, а то и хромовых. Россия ходила в теплых валенках, в полушубках, в тулупах, в сюртуках, в косоворотках, в сарафанах, в высоких женских сапожках, в длинных платьях, в картузах, в цилиндрах, во фраках, в крахмальных манишках, в костюмах-тройках, в крылатках (как, например, пролетарский писатель Горький), в лисьих шубах, в собольих шубках, в бобровых шапках и воротниках, в персидских шалях, в голландских кружевах, в ярких ситцах, в сукне, в соломенных шляпках, под яркими зонтиками, в шелку и атласе, в коралловых бусах (если взять Украину), в нарядных черкесках (если возьмем Кавказ), удобных и здоровых для тамошнего климата халатах (если взять Среднюю Азию).

Дубленые женские шубки с опушками, украшенные и вышитые, были обыкновенны в России. Да и вообще странно было бы в России хотеть что-нибудь купить и не купить. Не найти, не достать, по-нашему. В России было все, что было в тогдашнем мире, да сверх того было немало и своего, российского.

Посмотрим же, к чему мы пришли, как одеваемся и какими способами достаем себе одежду помоднее и получше. Она проникает с Запада, та одежда и та обувь, что помоднее и получше. Я бы не видел в этом никакого греха. Еще во времена Грибоедова был «Кузнецкий мост и вечные французы», то есть французские модные магазины. Но ведь магазины, куда заходи и покупай. Да, во время Грибоедова были особые магазины для аристократии, это верно. Но в конце девятнадцатого и в первые двадцать лет двадцатого века такие магазины были повсюду и общедоступны. Да и свои не уступали французским. Знаете ли вы, что теперь модную красивую вещь (кофточку, юбочку, туфлишки) легче всего купить женщине в сортире. Да, да, в общественных больших туалетах где-нибудь на Петровке и в ГУМе. Именно там процветает торговля с рук заграничными шмотками. Главное, что в женском туалете не помешает милиция. Это ли не унижение для русских женщин, это ли не позор! В России, заваленной некогда овчинами, наши женщины гоняются за так называемыми дубленками, болгарскими и канадскими, и платят за них бешеные деньги, до тысячи рублей за одну дубленку. (54) А за чем они не гоняются? Можно ли купить хороший мужской костюм? Можно ли купить мех, чтобы любой и на выбор? Это в России-то, в стране мехов. Азиаты выстаивают в Москве многодневные очереди, чтобы купить ковер и увезти его в Среднюю Азию, в страну ковров.

И ради этого стоило убивать и замучивать миллионы и десятки миллионов людей?

Ну, хорошо, допустим, пока мы тут разглагольствуем, правительство очнется и чудесным образом наводнит страну необходимыми товарами, модной и красивой одеждой, мехами, фаянсом, фарфором, хрусталем, коврами и автомобилями всевозможных марок, кровельным железом и шифером, белилами и малярными кистями, бритвенными лезвиями (а не дрянью под названием «Спорт» и «Балтика»), пишущими машинками и колготками, мебельными гарнитурами и запчастями, элегантными дамскими сумками и разнообразными мужскими шапками, одним словом, всем, за чем мы по мере надобности гоняемся, толчемся в очередях и что не покупаем, а «достаем». Допустим, что правительство очнется и наводнит («для блага народа») всем этим нашу торговую сеть. Но ведь это означало бы, что мы лишь встали вровень с другими странами, что мы стали как все, а отнюдь не очутились в особенном, социалистическом раю. Без всяких жертв все цивилизованные (а также и развивающиеся) страны наводнены всеми необходимыми человеку товарами, притом, что не проливали за это реки крови. Больше того, это означало бы, что мы достигли состояния дореволюционной России, в которой, конечно же, человек мог купить все, что ему было нужно.

— Но вот еда, Владимир Алексеевич, еда. Россия же голодала. Даже Лев Толстой помогал голодающим. Исторический факт.

— Молодец, Лисенок! Кувальдяга. Нокаут. Скула сворочена на сторону. Теперь можно только нечленораздельно мычать.

Они хихикали, но и сами уже знали, что примерно может за этим последовать и что скула не сворочена, и что их кувальдяга отлетит, как игрушечная, и что дело закончится общим нашим смехом, потому что самое смешное обвинять дореволюционную Россию в нехватке еды.

— Да, недороды случались в некоторых отдельных районах России и в некоторые годы. Но они были эпизодическими, редкими и за все тысячелетнее существование России, конечно, не унесли столько людей, сколько один только организованный голод 1933 года. В строгом смысле голодного мира и не было, хотя бы и во времена Толстого, упомянутого вами. Но была необходимость, у поволжских, скажем, крестьян, идти кормиться в другие губернии. Так не ставили же заслонов на границах Поволжья, не желая пустить их в хлебные губернии, как это было в тридцать третьем году, когда украинцев не выпускали ни на Кубань, ни в сторону Дона, Воронежа, Курска.



Толстой помогал, дочери его развивали деятельность. Но надо понять нормы того времени. Даже царь не мог ведь, не имел права взять хлеб у мужиков, скажем, на Дону и отдать его саратовским мужикам. Он имел право только купить его по существующим в мире ценам, купить так же, на таких же правах, как и любой другой житель России. Кстати сказать, мог купить на свои деньги хлеб для Поволжья в любом городе на базаре и Лев Толстой. Деньжонки были. Не знаю, почему он посылал дочерей собирать пожертвования для голодающих, а не шел по более легкому и прямому пути.

Да, прийти и взять хлеб у мужика никто не имел права, даже царь. Это теперь весь выращенный хлеб государство тотчас отбирает у выращивших его колхозников, до последнего зерна. До недавнего времени отбирало практически бесплатно, теперь само себе назначило цену, более символическую, чем реальную. Кроме того, что говорить о поволжских недородах, которые случались, наверное, раза два за сто лет. В остальном же Россия ела. Как ела и что ела — немало нами уже говорено. Напомню вам хотя бы еще свидетельство Мельникова-Печерского. (Тогда в машине я пересказал эпизод своим друзьям не столько доказывая, сколько для потехи. Теперь же никто не помешает написать его, соблюдая точность.)

Вот обыкновенный трактир, столовая, что ли, по-нашему. Приехав из Заволжья, из лесов, пришли два мужичка в нижегородский трактир.

«Дивуется небывалый новичок низким поклонам, что ему, человеку заезжому, незнакомому, отвешивают стоящие за буфетом дородные приказчики и сам сановитый хозяин... Дивятся пестрой разбитной толпе половых, что в белых миткалевых рубахах кучкой стоят у большого стола среди комнаты и, зорко оглядывая гостей, расправляют свои бороды или помахивают концами перекинутых через плеча полотенец. При входе Алексея с дядей Елистратом они засуетились, и один, ровно оторвавшись от кучки товарищей, повел «новых гостей» к порожнему столику. Разостлал перед ними чистую салфетку и, подперевшись о бок локотком, шепеляво спросил, наклонив русую голову:

— Чем потчевать прикажете?

— Перво-наперво собери ты нам, молодец, четыре пары чаю, да смотри у меня, чтобы чай был самолучший, цветочный, графинчик поставь.

— Какой в угодность вашей милости будет? Рябиновой? Листовки? Померанцевой? Аль, может быть, всероссийского производства желаете?

Дядя Елистрат пожелал всероссийского производства.

...Вот окидывает он (Алексей) глазами — сидят все люди почтенные, ведут речи степенные, гнилого слова не сходит с их языка: о торговых делах говорят, о ценах на перевозки кладей, о волжских мелях и перекатах. Неподалеку двое сидят за селянкой, ладят дело о поставке пшена из Сызрани до Рыбной: один собеседник богатый судохозяин, другой кладчик десяти тысяч четвертей зернового хлеба. С другого бока за чаем старик с двумя помоложе. Разговор идет у них об отправке к Калужской пристани только что купленной ими на пермских ладьях соли... Разговоры все деловые...

Покончили лесовики с чаем, графинчик всероссийского целиком остался за дядей Елистратом.

— А что, земляк, не перекусить ли нам чего по малости? Дядя Елистрат постучал ложечкой о полоскательную чашечку и, оторвавшись от середины стола, лётком подбежал половой.

— Собери-ка, молодец, в сторонку посуду-то, да вели обрядить нам московскую селянку, да чтоб было поперчистее да покислей, капуста не жалели бы.

— С какой рыбкой селяночку вашей милости потребуется? — с умильной улыбкой, шепелявым тоненьким голосом спросил любимовец.

— Известно, с какой! — с важностью ответил дядя Елистрат, — со стерлядью да со свежей осетриной. Да чтоб стерлядь-то живая была, не снулая — слышишь? А для верности подь-ка сюда, земляк, — сказал он, обращаясь к Алексею, — выберем сами стерлядку да пометим ее, чтоб они, собачьи дети, надуть нас не вздумали.

— Напрасно, ваше степенство, обижать изволите, — ловко помахивая салфеткой и лукаво усмехаясь, вступился любимовец. — Мы не из таковых. Опять же хозяин очень этого не любит, требует, чтобы все было с настоящей, значит, верностью. За всякое время готовы во всем гостю уважить, со всем нашим почтением. Ни том стоим-с!

— Ах ты, бабий сын, речистый какой пострел, — весело молвил дядя Елистрат, хлопнув по плечу любимовца. — Щей подай, друг ты мой сердечный, да смотри в оба, чтобы щи-то были из самой лучшей говядины. Подовые пироги ко щам, с лучком, с мачком, с перчиком. Понимаешь, чтобы сами в рог лезли. Слышишь?.. Еще-то чего пожую, земляк?.. Разве гуся с капустой? А коль охота, так и жареного поросенка вмиг спроворят. Здесь, брат, окромя птичьего молока, все есть, что душе твоей ни хочется... Так аль нег говорю, молодец?

— Все будет в самой скорой готовности, что вашей милости ни потребуется.

— Разве еще селянку заказать? Из почек? — Значит: щей, да селяночку московскую, да селяночку из почек, да пирогов подовых, да гуся с капустой, да поросенка жареного, — скороговоркой перебирал половой, считая по пальцам. — Из сладкого чего вашей милости потребуется?»

Итак, вот вам простой трактир в Нижнем Новгороде. И его возможности, и его атмосфера. А ведь ели еще и в ресторанах. А ведь такие трактиры были во множестве и повсеместно, включая уездные города. (55) А сельские чайные и трактиры по пять-семь штук на торговое село? Вспомним теперь наши, районные и сельские, столовые. Вспомним, положи руку на сердце, что там едят, как едят и как пьют. И чем закусывают. Вспомним пусть хоть и областные столовые и так называемые «кафе». Да пусть хоть и московские столовые. Сопоставим их мысленно с трактирами и чайными дореволюционной России (если даже считать, что Россия никуда не ушла бы за пятьдесят лет вместе со всем цивилизованным миром) и скажем, положи руку на сердце, можно ли назвать благом и раем нашу нарпитовскую сеть? Знаете ли вы, что снабжается более или менее прилично Москва да еще некоторые крупные города. Приехав в Москву за чем-нибудь из Орла, Курска, Тамбова, Воронежа, Владимира, Казани, Вологды, везут туда авоськами колбасу, мясо, кур, яйца, творог, гречневую крупу, а подчас и белый хлеб. Знаете ли вы, что, отъехав от Москвы пятьдесят километров, уже не купишь ни колбасы, ни мяса. Нет речи о разнообразном ассортименте колбас, до тридцати-сорока сортов, как полагайтесь бы в цивилизованной стране, нет хотя бы одного сорта колбасы. А деликатесных сортов, сырокопченых, разных там бруншвейгских, разных там сервелатов не найдешь и в Москве, кроме как в закрытых распределителях для номенклатурных работников, потому что, как говорит наш общий знакомый, — «народ и партия едины».

Знаете ли вы, что без мяса сидят целые города целыми месяцами, а часто и без масла, а часто и

без молока. Рассказывали мне, что в Красноярске молоко распределяет обком по специальным талонам больным и детям. Это в Сибири-то, которая плавала в топленом масле. (56)

В Воронеж, в Орел везут из Москвы колбасы, кур, яйца! А купите мне говяжий язык, а купите мне телятину, кроме как по шесть (57) рублей за килограмм. Вдумайтесь в эту цену, сопоставьте ее с теперешними зарплатами. А зайдите вы в сельский магазин, сельмаг, и посмотрите, чем там торгуют. И это благо народа? Это благо, ради которого принимались смертные муки?

Знаете ли вы, что весь наш народ уже много десятилетий живет на своеобразном пайке, распространенном на все без исключения стороны жизни? Заходя в магазин, человек покупает не то, что он хотел бы купить, а то, что есть в наличии в магазине. Недаром же в народе распространилось выражение «дают» вместо «продают».

— Что дают?

— Босоножки.

— Что дают?

— Польских кур.

— Что дают?

— Болгарские помидоры.

— Что дают?

— Женские зонтики.

В этом «дают» таится глубокий смысл. Всякий понимает, что не просто дают, а за деньги, но все же именно дают, как можно давать только при повседневном и жестоком ограничении, как можно давать только паек.

— Вы хотели бы купить что-нибудь к обеду по своему выбору: парную говяжью вырезку, печенку, язык, рубец, свиные ножки, куриные потроха, мясную свинину, молодого поросенка, телятину, индейку, рябчика, коровье вымя, кролика. Вы заходите в двадцать магазинов подряд и всюду встречаете только говядину первой категории и говядину второй категории, притом мороженую, баранину тех же двух категорий и, всего вероятней, говяжьих почки. Это все, из чего вы можете выбирать. Это в Москве. В других городах не найдете и этого.

Вы хотите купить грибы (в нашей лесной стране грибы не роскошь) и про себя начинаете думать, какие грибы вам лучше купить: грузди, волнушки, чернушки, маслята, сыроежки, лисички, белые, подберезовики, шампиньоны или, может быть, трюфели, или, может быть, маринованный кесарев гриб? Вы входите в сто магазинов и или вообще не встречаете никаких грибов, или повсюду встречаете только один сорт, который сегодня завезли и «дают». Скорее всего, это будут маринованные маслята.

Недавно в Кисловодске для больной дочери я должен был купить чернослив. Кисловодск — не дыра какая-нибудь, а курорт всесоюзного значения. Обхожу все фруктовые магазины, везде лежат одни финики.

— Чернослив шел у нас две недели назад, — отвечает продавщица. — А теперь идут финики.

— А нельзя ли сделать так, чтобы и финики и чернослив шли вместе? Плюс пять сортов изюма, плюс курага трех сортов — покислее, послаще, с косточкой, без косточек, плюс сушеный инжир. Продавщица посмотрела на меня и сказала:

— Не морочьте мне голову.

А вот, если хотите, письмо одной читательницы. Очень уж хорошо ложится в строку.

«Уважаемый тов. Солоухин!

Прочитала вашу книгу «Алепинские пруды». Решила написать вам о вещах, которые давно меня волнуют, в надежде, что, может быть, когда-нибудь вы скажете пару слов открыто о вопросах, затронутых мной.

С каждым годом ассортимент продовольственных товаров в наших магазинах катастрофически сокращается. Почему? Может быть, их нет, а может быть, те, кто нас снабжает, для упрощения своей работы и по бездушности сократили этот ассортимент?

Недавно я прочитала в газете, что в Италии продается двадцать сортов растительного масла. А у нас только подсолнечное.

Почему? Может быть, другие сорта масел население брать не будет? Нет. Года два назад у нас появилось оливковое масло. Люди бежали с бутылками и бидонами. Разобрали в один день. Все знают, что оливковое масло целебно. Моя родственница имела камни в почках (показал рентген), выпила литр оливкового масла по столовой ложке три раза в день, запивая каждую ложку стаканом сывотки, и камней нет. А прошлую зиму появилось горчичное, и тоже сразу разобрали. А какое прекрасное масло и льняное, конопляное, кукурузное, ореховое. Где же все это?

Взять овес: в магазине только овсяные хлопья. А почему нет овсяной муки, из которой варят чудесный овсяный кисель (едят с молоком или с льняным маслом), пекут тонкие овсяные блины (едят с груздями солеными, рублеными, со сметаной или с пареной брусникой, заправленной сливками). Почему нет овсяной крупы? А раньше ее делали. Сначала парили овес, потом тушили, чтобы зарумянился, а потом жерновами мололи на крупу. Такая крупа, что в суп, что кашу на молоке сварить, — пальчики оближешь. У нас иногда продают ободранный целый овес под названием «крупа». Голуби с трудом с ней справляются.

А мука? Только два сорта пшеничной. А где крупчатка, где первый голубой, где гороховая и гречневая мука? А возьмите специи. Лет десять как уже исчезла корица, гвоздика, душистый перец горошком, горчица в порошке. А как мариновать помидоры и грибы, мочить бруснику без специй?

Раньше в магазинах стояли бочки с маринованными белыми грибами, продавался натуральный ванильный корень. Что, грибов в лесах не стало или нас много развелось? Нет, это все человеческое равнодушие. Считают: хлеб, масло, сахар есть? Сыт? Чего тебе еще нужно?

У нас тут много пекли пироги с маком. Вкусные. Маку много, хорошо растертый. А теперь нет ни пирогов, ни мака. Мак, что ли, сеять перестали?

О рыбе и говорить не приходится. Как поет Рудаков: «А будет ли тюлька в двухтысячном году». Читала книгу «Шаляпин». Пишут: «Заходил молодой Шаляпин в закусочную, съедал тройную уху с расстегаями». А теперь об этих расстегаях никто и не знает.

Не будем говорить о религиозных убеждениях, но как приятно украсить стол куличом, пасхой, разноцветными крашеными яичками, положенными в проросший зеленый овес. Да где достать горсть овса, чтобы его вырастить до бархатной зелени? Ни за какие деньги не купишь. А специи в кулич и

пасху? Не подумайте, что я чревоугодница. Просто обидно. О себе могу сказать: на пенсии, проработала тридцать пять лет преподавателем в автомобильной школе. С уважением к вам Уварова М. В.»

Конечно, в разное время могут появиться за прилавком, мелькнуть то одни грибы, то другие. Бывает иногда и говяжья печенка. Но не бывает так, чтобы вам был предоставлен выбор. Случайно вы можете «достать» даже, пожалуй, и рубец или соленые рыжики (хотя и то и другое маловероятно), но вы никогда не купите того, что вам заранее хотелось бы купить. Вы не можете свою покупку запланировать, потому что вы должны довольствоваться тем, что дают.

Оставим еду. Идем в цветочный магазин. Сегодня в продаже только хризантемы. Как бы ни хотелось вам купить орхидею, розы, примулу, гиацинт, гвоздику, ирис, тюльпан, вы не можете этого сделать, вы сидите на цветочной пайке.

Надо ли брать все остальные сферы, лежащие между говяжьим языком и орхидеей? Каждый человек, если встряхнет головой на бегу, оглядится вокруг трезвым взглядом, согласится со мной, что паек пронизывает всю нашу жизнь, от листа кровельного железа, граммофонной пластинки, кинофильма, газетной информации, бритвенного лезвия, планировки квартиры, расцветки тканей, сортов чая.

— Конечно, товаров в других странах действительно изобилие, я сам видел, и правильно вы все описываете. Но денежки, Владимир Алексеевич, денежки.

— А что денежки? Я не понимаю. Государство у нас, продавая автомобили трудящимся, например, выступает в роли обыкновенного спекулянта. За «Жигули» («фиат»), которые во всем мире стоят около тысячи долларов, наше государство берет семь тысяч пятьсот рублей, за «Волгу», которой, как известно, цена на мировом рынке около двух тысяч, с родных трудящихся государство берет пятнадцать тысяч, да еще не купишь. Паек, паек, дорогие друзья.

Если же вы говорите про деньги, хотите сравнить заработные платы рабочих у нас и на Западе, то, уверяю вас, сравнение выйдет не в нашу пользу. Даже в абсолютных цифрах рабочие в развитых странах (а у нас развитая страна?) получают в несколько раз больше наших рабочих. Но учтите еще и покупательную способность тех денег по сравнению с нашими. Разве на десять долларов (соответственно франков, марок, крон, фунтов) можно купить столько же, сколько на десять наших так называемых рублей? Почему наш рубль не является валютой, почему его не берут и не разменивают ни в одном магазине, ни в одном банке мира? Потому что он — фикция. В нем сути осталось копеек пятнадцать, не больше. Имея в кармане доллар или любую так называемую свободную валюту (хоть называть стали своим именем), вы можете ехать в любую страну, вы при деньгах. Наши же деньги, как только вы пересечете границу, превращаются в простые бумажки, в мусор. Разве это не унижительно? Что это, тоже одно из благ?

— А зачем ездить нашим трудящимся за границу? Не обязательно.

— Век такой. Земля стала маленькая. Все ездят. Почему бы не ездить и нам? Но потому нельзя пускать наши широкие массы за границу, что они тотчас набросятся на магазины, оголодав на советском всепронизывающем пайке. А во-вторых, увидят же, увидят, как живут люди и как полагается жить в двадцатом веке. Ведь после этого наши газеты болтовней им головы больше не закрутят.

А эти магазины для «белых», эти «Березки», разве не повседневное унижение народа? Да хоть бы и водка та же, почему там стоит рубль пятьдесят, а не четыре двенадцать (58)? И почему она там улучшенная и очищенная? И почему всякая вещь там стоит в пять раз дешевле, чем для своих? И почему вещей, которые там продаются, вовсе не бывает в остальных, внутренних магазинах? Это что, тоже для блага трудящихся? Это то самое благо и есть, ради которого расстреливали, сажали, ссылали, мучили и морили голодом?

А если есть деньжонки у нашего работяги, что на них купишь? А если и купишь — в очередях натолкаешься. Очереди наземном шаре появились впервые у нас, после исторического залпа «Авроры». Весь народ, кроме руководящей верхушки, был тогда поставлен в унижительные, удручающие очереди. Да так, по сути дела, вот уж скоро шестьдесят (59) лет и стоит. Тут не только нехватка товаров, тут еще и психологический расчет. Мне рассказывал один экономист, что и по сей день в сфере потребления у нас сознательно соблюдаются «ножницы» между спросом и предложением, то есть, чтобы спрос был больше предложения. Это вопрос не только экономики, но и политики. Во-первых, при таком положении все возьмут, любую дрянь, любой брак, любую безвкусицу. Но главное — человек, стоящий в очереди, это уже полчеловека, это уже не полноценный человек, а человек униженный, подавленный, забывший про чувство собственного достоинства, забывший про то, что он свободная и гордая личность.

Вот он идет с тростью, в котелке, побрит, надушен, ослепительная манишка, галстук бабочкой, перстень на пальце. Личность. Или вот он идет независимой походкой потрудившеюся моряка, докера, шахтера, кепка на голове, шарф завязан в виде галстука на итальянский манер. А ну-ка, поставьте их в очередь. За хлебом, за баночными селедками, за пивом, за колбасой — все. И нет уже уверенной осанки, нет уже дерзости во взгляде, нет личности, а есть бедолага, стоящий в очереди.

Возьмите сферу обслуживания. Продавцы на покупателей кричат, покупатели отвечают им тем же. Таксисты грубят, официанты работают, словно делают одолжение. Все это нехотя, как-нибудь, без любви к своему труду и без уважения друг к другу. И это благо? И знаете, что я вам скажу? У нас нет людей, которые были бы довольны. У нас всеобщее недовольство, от членов правительства до последнего работяги. Все чем-нибудь недовольны. Присмотритесь, вникните, вздумайте. Нет, конечно, недовольство, то есть неудовлетворенность собой, своим делом и миром, — это, если хотите, двигатель прогресса. Я говорю не о такой неудовлетворенности, а о повседневном мелочном, низменном недовольстве. И вот какая еще характерная черта нашего общества: в нем нет человека — опять же от членов правительства и до последнего работяги, — который был бы уверен в завтрашнем дне и жил бы поэтому со спокойной душой и спокойным сердцем.

Я знаю, если бы сейчас какому-нибудь рабочему митингу поручили дать отпор этому моему положению и подготовили бы ораторов через партком и местком, то ораторы громкогласно начали бы меня громить и утверждать, что они уверенно идут к сияющим вершинам коммунизма по ленинскому пути, что никакое тьяканье из подворотни их уверенной поступи не нарушит. Так бы оно и было. И тем не менее все они, во-первых, в глубине души оставались бы недовольны, даже хотя бы тем, что их согнали на митинг. Партком тем, что надо готовить ораторов. Ораторы тем, что надо вот выступать и потеть на трибуне. Во-вторых, этот митинг не прибавил бы им уверенности в их повседневной жизни.

Удастся ли, скажем, достать дочери сапоги к осени? Поступит ли дочь куда-нибудь учиться? Это мелочи. А там и крупнее вопросы: а что будет дальше? Хрущев зачеркнул Сталина, Брежнев зачеркнул Хрущева, а что ждет впереди? Какую кукурузу сеять, какие денежные реформы, какие займы, какие повышения цен, какие крупноблочные дома-скороспелки, какие закручивания гаек? Все эти обстоятельства, вечная погоня за покупками, вечная необходимость «доставать», вечная толкучка в магазинах, стояние в очередях, обесцененность рубля, мизерная зарплата, внутреннее ощущение (и правильное!) у широких масс, что, пожалуй, их обманули со светлым будущим и что десятилетия идут, а нисколько не светлее вокруг, наоборот, сгущаются тучи экономического краха, жизнь дорожает с каждым годом, не напрасно стали платить рубль там, где раньше платили десять копеек, и десять рублей там, где платили рубль, — все это сделало людей злыми, издерганными, кричащими, ругающимися... И это благо? И это социализм? Это то самое светлое будущее, о котором мечтали (или по крайней мере кричали в газетах) в двадцатые и тридцатые годы? Вы только представьте себе человека первой пятилетки, если это был, конечно, не заключенный на Беломорканале, вы только представьте себе энтузиаста первой пятилетки, копошащегося в грязи магнитогорского котлована и мысленно заглядывающего в 1975 год. Это ведь и было для него недостижимое светлое будущее. И вот достигли. Построили. Царство справедливости. Мы церкви и тюрьмы сровняем с землей! Золото и лазурь. Не помните ли, как у Маяковского, у этого рупора официальной политики, написано о строительстве Новокузнецка, первенца пятилеток?

По небу тучи бегают,  
 Дождями сумрак сжат.  
 Под старую телегою  
 Рабочие лежат.  
 И слышит шепот гордый  
 Вода и под и над:  
 «Через четыре года  
 Здесь будет город-сад».  
 Темно свинцовоночие,  
 И дождик толст, как жгут,  
 Сидят в грязи рабочие,  
 Сидят, лучину жгут.  
 Сливеют губы с холода,  
 Но шубы шепчут в лад:  
 «Через четыре года  
 Здесь будет город-сад».  
 Свело промозглой корчею,  
 Неважный мокры уют.  
 Сидят впотьмах рабочие,  
 Подмокший хлеб жуют.  
 Но шепот громче голода,  
 Он кроет капель спад:  
 «Через четыре года  
 Здесь будет город-сад».

Прошло не четыре года, а сорок, не получилось города-сада. Получился задымленный, закопченный, сквозняковый, неприглядный город, с вытрезвителями, с семейными ссорами, матерщиной, подростками-хулиганами, матерями-одиночками, переполненными промозглыми автобусами, занудными собраниями, унылыми однообразными лозунгами, с той же неповоротливой торговой сетью, с теми же перебоями в продуктах первой необходимости, с теми же очередями и ценами, с той же выпивкой на троих, с тем же отсутствием пива, молока, мяса, красивой одежды, короче говоря, получился город, в котором необходимо работать, вкалывать, но в котором ужасно жить.

Никакого социалистического сада и рая из страны не получилось. Леса, как мы уже говорили, захламплены, реки отравлены ядами, общее поголовье скота меньше, чем было до революции, коров зимой кормят веточным кормом, урожаи и надои низкие, производительность труда позорно низка, бездарные товары затовариваются и списываются в макулатуру. Байкал испорчен, огромное количество земли бесхозяйственно и бестолково залито водой, луга закорочены, зарастают кустарниками, города застроены плоскими, серыми, тоскливо однообразными коробками, преступность растет, процветают расточительство и взяточничество.

— Мало ли что внешний вид земли, мало ли что продукты! Зато у нас равенство, все равны, Владимир Алексеевич, за что и боролись.

— Равенство в обществе может быть только одно — перед законом. Оно существует в любой просвещенной стране, так же как существовало в большей степени, чем теперь, в России. Того же примитивного равенства, на которое ловили, как на крючок, дурачков в 1917 году, ради которого жгли прекрасные усадьбы и вырубали прекрасные парки, такого равенства в обществе быть не может. Оно может быть только на свиноферме. Да и то поросенок посильнее, оттеснит слабого от кормушки. Вот в Москве — бассейн, так и называется, бассейн «Москва». Точно, плавают в нем на месте храма Христа Спасителя широкие массы трудящихся. Но что это там за маленький деревянный домик около самого бассейна? Называется среди сведущих людей — «Деревяшка». Это сауна, специальная финская баня с коврами, с чешским пивом, с камином в предбаннике. А ну-ка, любой рабочий и крестьянин, и даже интеллигент, попробуй туда попасть. Увы, для избранных. А там пошли: специальные машины, особые пайки («пшено»), казенные дачи, привилегированные санатории (4-е управление), особые поликлиники и больницы, многокомнатные квартиры в особых, улучшенных домах, особые просмотры кинофильмов, особые абонементные книжки для приобретения билетов в кино без очереди, по автоматической броне, особая бронь на железнодорожные билеты, даже особые справочные телефоны, чтобы не нервничать, набирая общий «09», который, как известно, всегда занят. О каком же равенстве идет речь? Не говоря уже о том, что не может быть и материального равенства, ибо все равно у одного денег мало, а у другого их больше. Так и не осуществилась мечта вечно живого и

великого, чтобы каждая кухарка управляла государством. Государством, увы, управляет номенклатура. А уборщицы так и остались уборщицами.

— Но право на отдых. Санатории и дома отдыха.

— Рассказал бы я вам про эти дома отдыха, как там селят по четыре человека в палате, как ходят, изнывая от безделья, по дорожкам парка, как пьют, как развлекаются по кустам, по парку, как развлекаются пением «Катюши», «Подмосковных вечеров» и прыганьем в мешках под руководством «культурника». Но я вам скажу другое. В. В. Полторанов — крупный работник профсоюзов — сказал мне, что в нашей стране только 2% рабочих и служащих в год проходят санатории и дома отдыха. Значит, каждый рабочий, если бы соблюдалась строгая очередность, попадал бы в них один раз в пятьдесят лет, да еще надо учесть, что в выведении этой цифры (2%) не участвовали колхозники, а то и совсем получилась бы какая-нибудь ничтожная доля процента.

— Но соцсоревнование? Всеобщие трудовые победы?

— Какие победы, если производительность труда у нас в два с половиной раза ниже, чем в Америке, ФРГ, Франции, Англии? Соцсоревнование выдуманно вместе с принудительной трудовой повинностью. Это все равно как нас, школьников, бывало, водили на колхозные поля и заставляли собирать колоски. Нам не хочется, поиграть бы нам, ведь еще дети. Поиграть? А что же? Вот и игра. Разбивают нас на две партии и говорят: кто скорее, кто больше? Сначала нехотя, потом входим в азарт, учителям остается только смотреть со стороны и ухмыляться: обманули ребяташек... Колоски собирать — дело хоть и занудное, но полезное. Но сам принцип соцсоревнования таков, что можно разжечь людей и на самое бесполезное занятие. То есть при соревновании человеку не обязательно думать о существовании дела, он думает только, как бы выиграть эту игру.

И вот обращаются с народом, словно с детишками, заставляют заключать какие-то нелепые соцдоговоры, заставляют получать какие-то совсем уж нелепые вымпелы, переходящие знамена, грамоты. Дело, как и всякое дело у нас, доходит подчас до нелепости.

Директор крупного тракторного завода выходит на трибуну и обязуется выпустить тысячу тракторов сверх плана.

Во-первых, что же это за план, если все его стремятся нарушить и либо перевыполнить, либо выполнить раньше срока. Значит, и план этот есть фикция.

Во-вторых, зная, что двигатели и колеса, например, тракторному заводу поставляют другие заводы из других городов, спрашиваю у директора:

— Как же вы обязуетесь дать 1000 тракторов сверх плана? Вы уверены, что колесный завод и завод, выпускающий двигатели, обеспечат вам лишние двигатели и колеса в количестве 1000 штук? Им ведь тоже спустили план, и в плане этих колес нет?

Директор ухмыляется и не отвечает. Значит, либо — липа его заявление с трибуны, либо — липа все эти планы, либо у него тайная заначка этих колес и двигателей, и он занимается обманом планирующих центров, то есть втирает очки.

Как на высший курьез соцсоревнования, надо указать на то, что отделения милиции, соревнуясь между собой за меньшее количество преступлений, заинтересованы в том, чтобы не фиксировать некоторые преступления, не заводить дела, не давать делу хода, то есть попросту заниматься попустительством и укрывательством.

...Кроме того, поговорите-ка с рабочими какого-нибудь завода... Они ненавидят того, кто начинает работать в несколько раз лучше, чем они. Механика очень простая. Существуют нормы выработки. Скажем, сто деталей за смену. Зарплата за смену 4 рубля. Если же один из них начнет вырабатывать не сто, а триста деталей, и докажет, что это возможно на станках этого типа, тотчас будут изменены нормы выработки. Всем придется потеть и вырабатывать по 300 деталей, притом зарплата вовсе не будет увеличена, а тем более в три раза. Новатор же и ударник только в первые дни будет получать за выполнение трех норм, а потом и ему увеличат норму выработки. Так что система этих «норм» консервативна в самой своей сути и, как ни парадоксально, направлена на скрытие возможных резервов производства, а не на их развитие и расцвет.

По той же причине начальник производства не заинтересован менять устаревший технологический процесс на более новый или устаревший вид продукции на новый. Штамповать старый вид ложек и выполнять план (и получать за это премиальные) ему выгоднее, чем канителиться с освоением нового вида ложек и в это время не выполнять плана и не получать премиальных. При том при новом виде продукции никто из рабочих не будет получать больше, чем при старом. Из чего же хлопотать, тратить нервы, рисковать? Не спокойнее ли штамповать старые ложки?

А затоварится продукция? Так она и без того лежит месяцами затоваренной. Узнать бы где-нибудь, сколько продукции у нас затоваривается ежегодно...

Между прочим, если говорить совсем серьезно, то планирование у нас сейчас есть главный тормоз развития экономики. Я разговаривал со многими руководителями разных предприятий, и они рассказали мне, что такое план и откуда он берется. Ведь не с потолка же все-таки берутся цифры для десятков и сотен тысяч предприятий. Оказывается, план на будущий год — это результат прошлого года плюс напряжение. Да, да, даже термин такой есть — напряжение. Скажем, сделало предприятие в прошлом году чего-нибудь сто штук (тысячу, миллион), теперь берут эти сто штук и добавляют напряжение — 10 штук. Вот вам и новый план. Но ведь его надо выполнять, а то голову снимут. Значит, любой руководитель любого предприятия не заинтересован дать больше продукции в этом году, а то в будущем добавят еще. Он старается в этом году дать поменьше, чтобы поменьше был и план будущего года.

Но надо сказать, что государство не очень и боится невыполнения планов. Труд подневольный, почти бесплатный, сколько-нибудь все равно будет сделано. Главное, как можно больше потребовать. Чем больше потребуешь, тем больше в конце концов сделают. Однако подневольный труд, все эти соревнования, вымпелы, премиальные, за которые надо все время дрожать и напрягаться, так осточертели рабочим (равно и сельскохозяйственным), что производительность труда оказывается нижней и все время падает.

— Но, Владимир Алексеевич, каждый имеет право учиться, и практически все стали грамотные. Сколько у нас студентов, техников, инженеров, педагогов, врачей...

— Лисенок, лупи! Удар Моххамеда-Али. С ринга уволакивают под руки обмякшего, ноги волочатся, голова болтается. В зале свист и аплодисменты.

— Что касается всеобщей начальной грамотности, то заслуга большевиков в этом сильно

преувеличена. Это как план ГОЭЛРО, присвоенный ими, а фактически разработанный еще до революции. В каждом селе, где была церковь, была и школа. Многие из них оставались церковноприходскими, где учили читать, считать и писать да внушали первые понятия о добре и зле. Но было много уже и обыкновенных начальных школ, учреждавшихся земствами. Был принят закон о всеобщем начальном обучении, которое должно было осуществиться в России к 1924 году и, конечно, осуществилось бы, только без той пропагандистской шумихи, которая введение всеобщего начального обучения изображает как величайшее деяние и даже как подвиг.

Кроме того, из народного слоя, который лежал тогда ниже классического образования, то есть ниже городских гимназий, не идущих по глубине и основательности образования ни в какое сравнение с сегодняшними советскими школами, уже тянулись вверх многочисленные ростки, которые, проходя через гимназии, уверенно вращались в слой высокообразованной русской интеллигенции. Я родился в крестьянской семье, но моя старшая сестра уже училась в губернском городе, притом не в простой, а в образцовой гимназии. У любимого вами поэта Маяковского есть поэма «Облако в штанах». Там Мария — любовь поэта. Оказывается, реально существовавшая женщина. Очаровательная, изящная красавица, культурная и воспитанная. Ее история где-то описана, я читал о ней в «Огоньке». Так что же вы думаете? Дочь крестьянина из Воронежской губернии. Этот пример мне вспомнился потому, что он литературный и близко лежит. Но можно, наверное, копнув областные и городские архивы, установить, сколько крестьянских детей и сколько заводских рабочих уже училось в гимназиях к моменту исторического залпа «Авроры».

Конечно, на уровне среднего, а тем более высшего образования, того охвата широких масс, как теперь, до революции не было. Но ведь тогда все делалось из интересов дела, а не из пропагандистской шумихи. Агрономов, инженеров, строителей мостов, кораблей, врачей и педагогов, любых других специалистов готовилось столько, сколько их требовалось, а не ради астрономических отчетных цифр, не ради количества людей с дипломами.

Но если это был агроном, то уж был агроном, ветеринар — так ветеринар, а не эти молоденькие девчонки, которые теперь во множестве, в виде дипломированных агрономов и зоотехников, составляют сводки, а по сути дела, бездельничают в колхозах, занимая должность по штатному расписанию и получая свои жалкие девять десятых рублей в месяц.

Директор крупнейшего металлургического завода, у которого сорок девять тысяч рабочих и семь тысяч инженерно-технического состава, говорил мне, когда я был еще корреспондентом «Огонька», что если бы ему разрешили, он вместо каждых десяти, а то и пятнадцати инженеров на своем заводе держал бы одного, но настоящего делового инженера. Платил бы ему вместо ста десяти рублей тысячу, даже две тысячи рублей в месяц, ну, так он и работал бы, с него можно было бы спросить. Но не разрешают директору завода, даже в интересах производства, распоряжаться инженерами таким образом. Научили их, надавали дипломов, так надо же их куда-нибудь девать. Вот и напичкали ими все производства, вот и прозябают они там, получая меньше рабочих, не пользуясь у рабочих никаким авторитетом и только путаясь у производства под ногами, фактически паразитируя в организме производства. Чем же занимаются они, спросите вы? А вот извольте. «Социологи опросили руководителей одного крупного станкостроительного завода, и выяснилось, что те ежемесячно проводят 56 совещаний по оперативным вопросам и пятнадцать по специальным». Значит, более семидесяти совещаний в месяц. Да еще, наверное, преуменьшили руководители. Если вычесть выходные, получается по три совещания в день. Каждое совещание, пока соберутся, пока разойдутся, не меньше часа, а то и два. Вот и уходит время. Это я вычитал в «Крокодиле» в статье «Имитация деятельности». Октябрь 1975 года.

Это касается всех отраслей нашего хозяйства, это все полуфабрикаты, средний и серый уровень, ибо образование наше растеклось вширь, а не стремится в высоту и в глубину. Общество тоже ведь может быть тонкой и прочной выделкой, а может быть штапельным, на уровне ширпотреба.

Я ничего не говорю, выходят и у нас хорошие инженеры в каждой области, и ученые, и профессора, странно было бы, если бы не выходили. Но чем тут хвастаться? Неужели не выходили бы они и в России, если бы она уцелела и прошла пятидесятилетний путь развития, если уж они выходили и тогда, причем лучше нынешних?

И вот что я вам скажу: настоящие, редкие специалисты получают у нас не благодаря общественной системе, а вопреки ей. Система наша (хотя бы и в литературе, и в живописи, и в театре, равно как в науке и на производстве, стремится все свести к среднему уровню. Нивелировать, растворить в коллективе. И только вопреки ей некоторые талантливые и яркие личности вырываются из общего серого и среднего уровня.

Потом это ведь только сперва пошумели: давай, давай, все на рабфаки и в вузы. А теперь знаете какой лозунг, которым потчуют нашу сельскую молодежь: «Девушки, на фермы, юноши, на трактора!» Равенство-то равенством, но кому легче поступить в хороший институт — сельскому паренюку или москвичу?

Да, чуть было не забыл о хваленом всеобщем образовании. Оно, конечно, всеобщее, но знаете ли вы, что в последние два-три года в каждой области Российской Федерации закрываются по двести школ. (60) Я был в Туле на открытии памятника Толстому, и там один обкомовский деятель произносил речь. Коснулся того, что Толстой открыл в Тульской губернии двадцать школ для крестьянских ребятишек. А местный писатель, который стоял сзади, мне и шепнул: «А в этом году в Тульской области сто школ закрыто». Я подивился, а потом копнул в других областях. Оказывается, всюду одна и та же картина — катастрофически закрываются школы.

— Но почему?

— Некого учить, нет детей.

— Потому что люди уходят в города?

— Тогда в городах прибавлялись бы школы. Вообще нет детей. (61) Доруководились народом до очевидного вырождения народа. В этом году и у нас в селе закрылась школа, а существовала с 1880 года. Спрашиваю у бывшей учительницы Антонины Кузьминичны, почему закрыли?

— На четыре класса три ученика.

— А когда я учился с 1930 по 1934 год, сколько у нас было в четырех классах, не помните?

— Сто четырнадцать, — ответила мне Антонина Кузьминична — Сто четырнадцать, а теперь три. Вот вам и всеобщее образование.

И вообще надо сказать, что у страны сейчас тяжелеют окраины и легчает, истончается середина.

Как думаете, что произойдет с большой льдиной, если ее середина истончится, а окраины утяжелются? Я думаю, что ее разломает на части. (62)

— Ты имеешь в виду количество населения? — уже без игры, без кувальдяги, а с серьезным интересом спросил Кирилл.

— Да, и численность населения тоже. «Мы видим итог концентраций». Принесла все-таки эта концентрация свои плоды. Считается, что нас, русских, по-прежнему много, а на самом деле никто не знает, сколько нас осталось в результате этих концентраций и перетасовок. Кроме того, у них у всех огромная деторождаемость — в Узбекистане, в Азербайджане, в Киргизии, в Грузии. Но это лишь половина дела. Окраины тяжелеют и наливаются соком, а середина истончается и скудеет не только количеством населения, но и морально, идейно, если хотите, исторической потенцией, историческим тонусом.

Они все еще чего-то хотят, у них есть еще какая-то центростремительная, объединяющая их, движущая, поддерживающая на плаву истории, сила.

Да хотя бы отношение к нам их уже объединяет. Хотя бы стремление к большей самостоятельности, а то и к полной самостоятельности, к отделению. Сейчас, когда каждая, самая задрипанная бывшая колония с населением в несколько миллионов человек становится самостоятельным государством и посылает своего представителя в ООН, какой же соблазн для наших республик. Чем же мы хуже? — говорят они. То есть там бурлит проснувшееся национальное самосознание, оно их объединяет и цементирует. В стремлении к самостоятельности, хотя бы и неполной пока, грузинские, азербайджанские и узбекские интеллигенты тотчас находят общий язык с крестьянином и даже, может быть, с руководством. Все хотят одного и того же. Проснувшееся и культивируемое национальное самосознание заставляет их активно рыться в своей истории, переоценивать многие факты в ней, отыскивать новые подтверждения своей древности, своего бывшего величия, беречь и лелеять каждый кирпичик прошлого в области архитектуры, музыки, живописи, войн, государственности, ибо все работает на укрепление национального самосознания, на их желание быть самостоятельными и независимыми.

А что хотим мы? Что бурлит в нас? Что греет нас, русских (остатки русских) на этой земле? На какой проблеме найдем мы, интеллигенты, общий, объединяющий язык с колхозником и рабочим? Строительство коммунизма? Но, милые, кто же теперь всерьез верит в строительство коммунизма? Кто же теперь об этом серьезно думает, и знает ли кто-нибудь в целом свете, начиная с вождей, что такое коммунизм? Что конкретно должны мы построить? И чем этот коммунизм должен отличаться от того социализма, который, считается, уже построен?

Никита объявил, что коммунизм будет построен через двадцать лет. Мужики начали считать: восемнадцать, остается семнадцать... Вот и двадцать прошло, но что же изменилось в жизни общества? Хоть что-нибудь изменилось?

Нет, строительство коммунизма давно уже не движущая сила нашего общества, а фикция, пустой звук. Выполнение пятилеток. Я спрашиваю, какова идея нашего существования? Чего мы хотим?

А они хотят. Они хотят самостоятельности. Поэтому в огромной территориально стране развиваются и нарастают центробежные силы. Не центростремительные, ибо нечем нам их всех вокруг себя объединить, коль скоро мы и сами не знаем, что нам нужно, а центробежные. Каждая нация тянет в свою сторону, нетрудно догадаться, чем все это может кончиться.

Я недавно получил злое письмо. Оно крайнее, экстремистское, фашистское в своем роде. Но ведь не один же он там такой. Он только с большей резкостью выразил свои идеи, которые там бытуют. Вот оно, это письмецо, целиком и в точности:

ГЕОРГИЮ МАРКОВУ  
АЛЕКСАНДРУ ЧАКОВСКОМУ  
ВЛАДИМИРУ СОЛОУХИНУ

Мы не случайно обращаемся именно к вам. Первый на съезде писателей кратко охарактеризовал состояние национальных литератур, второй, подкидывая худосочные кусочки литераторам-нацменам на обширной полосе своей газеты-дворняжки, говорил о критике, третий в своих статьях и книгах, считая себя глубоко национальным писателем, спасает древнюю Русь от «цивилизации».

Все, что вы пишете и говорите, — это злая ирония. Вы сами лично такие же националисты, как и весь русский народ. вспомните — «Русские люди», «Русский лес», «Русская душа», «Русская береза». Послушайте хоть раз пристально московское радио, вещающее на страну, где живут более сотни национальностей и народностей. «Ты, Россия моя», «Русский снег», «Мы твои рядовые, Россия», «Россия родимая», «Русская красавица» и т.д., и т.п. И это только тот крохотный перечень слов, которые в ином сочетании и не произносятся. Вы лучше, чем кто-либо, знаете, что в реальном мире никакого интернационализма нет и быть не может. Вера. Только вера всесильна. А вы, великорусские шовинисты, забыли о ней. Хотя, по правде говоря, больше притворяетесь, чем забыли. Об этом очень хорошо знает Солоухин — любимец русского духовенства. Так что вы себя считаете скорее христианами, нежели коммунистами, причастность к которым вам нужна только и только для карьеры. Вот почему вы должны твердо знать, что мы, мусульмане, никогда не примем вас. Мы чужды друг другу. Чужды воинственно. И воинственность исходит из самой сути наших верований, не терпящих друг друга, не имеющих единого пути.

Ваши отцы разрушили церкви (кстати, и мечети разрушали они), а теперь вы — их сыновья — восстанавливаете под видом сохранения шедевров зодчества священные места. Нет, не шедевры вас волнуют: поняв, что вы потеряли веру во все, вдруг стали хвататься за соломинку, за старое, за прошлое. Но поздно. У вас нет ничего святого. Собственно, его и никогда не было. Вы — нация алкоголиков — вот уже более полвека не дали миру ни одного имени. А такие гордости мировой литературы, как Достоевский, Толстой, Чехов, были пророчески против вашего режима, так усердно восхваляемого вами ради собственного благополучия и наживы. И сегодня вы, русские, и вы лично, к кому мы обращаемся, как настоящие жандармы, глушите все нерусское, нехристианское. В этой связи больше всего поражает Чаковский, продавшийся существующему режиму, спекулирующий, пользуясь благоприятным моментом, своей национальностью. Прочтите заново пресловутую эпопею «Блокада», где от начала до конца поются дифирамбы русским и ни одного слова о шести миллионах погибших евреев. И автор этой «книги» — еврей! Избавьте нас, мусульман, от ваших нравоучений, Чаковский!

Вы представляете Россию — гигантскую толпу и чернь, но идет процесс бурного поступательного движения, где все отчетливее вырисовывается разница между нами: вы, христиане, деградируете, а мы растем и крепнем. Пока, повторяем, пока сила на вашей стороне, и вы очень хорошо, варварски пользуетесь этим преимуществом. Вы нас грабите ежедневно. Вы высосали из Азербайджана всю нефть, не дав нам взамен ничего по ее стоимости и значимости. Вы льстиво называете нашу нефть, нашу национальную гордость, черным золотом, пуская пыль в глаза «вечной дружбой», которая, как вам хорошо известно, никогда не будет вечной между христианами и мусульманами. Вся наша продукция идет на то, чтобы прокормить и напоить русских алкоголиков. Тех серых, плоских бездарен, которых не менее серо, плоско, бездарно описывает административная глава советских литераторов Марков. И этому-то человеку дано право на так называемом форуме писателей подбрасывать косточки так называемым национальным литературам. И разве справедливо после этого писать, утверждая, что мы, мусульмане, погибли бы без вас. Это вранье — вчера! Это вранье — сегодня! Это вранье — тем более завтра! Давайте заглянем в будущее, которое явно не за вами, не за христианами, не за коммунистами. Великая Турция, которая всегда вас била и будет бить, уже сегодня, уже сейчас убивает коммунистов, уничтожала и уничтожает все христианское у себя. И это прекрасный пример, чему следуют все подлинные мусульманские современные государства. Надеемся, что вы способны мыслить социологически. Заметим (по данным демографов), что лет через двадцать-тридцать на нынешней территории СССР будет около 50 млн. узбеков, более 25 млн. азербайджанцев, а всех мусульман будет намного больше вырождающихся русских и деградирующих христиан.

Учтите это, Солоухин, баловень русских попов. Наступит конец зеленой улице ваших фальшивых песнопений о русских церквах и размалеванных ложках. Не только мусульман будет больше христиан, но и мечетей будет больше церквей. Избавьте нас от вашего влияния, мы не нуждаемся в нем. Не топчитесь под ногами, вам все равно не остановить могучего потока мусульманизации, мы солидарны с братьями узбеками: «Лучше живой Мао, чем мертвый Ленин». Мы не пропагандируем фашизм, мы хотим избавить и непременно избавим мир от скверны коммунизма, утопии русских алкоголиков.

Так что, Марков, Чаковский и Солоухин и ваши приспешники, мы не признаем ваш липовый интернационализм, которым вы оскверняете нашу чистую мусульманскую веру.

Без веры жить нельзя. Это алкоголики во все времена обходились без веры: им все равно умирать, а мы по-вашему не можем. И потуги коммунистической пропаганды втихую растоптать нашу веру приведут к обратному — к усилению мусульманства, укреплению ислама и уничтожению христианства в коммунистической интерпретации. Мы не фанатики, не идеалисты, и, ради Аллаха, не считайте нас за сумасшедших, как это у вас принято в подобных случаях. Мы требуем, чтобы вы оставили нас и нашу веру в покое. Мы не можем терпеть и видеть, как ежечасно оболванивают наш народ, вытравливают все живое из наших книг. Избавьте нас от вашей коммунистической жандармской опеки. И самое нелепое то, что такие литературные карьеристы и проститутки, как Марков, Чаковский и Солоухин, делают погоду в нашей жизни, и не только литературной.

Да и чему тут, собственно, удивляться, господа хорошие, горе-поборники интернационализма, у вас на сегодня нет теоретического оружия, защищающего ваш интернационализм. Ленинское учение, кстати, далеко не совершенное и в свое время, сейчас безвозвратно устарело. Сталин для вас, христиан, не подходит по многим причинам, а потуги и старания Сулова, старого, выжившего из ума идиота, корчащего из себя ультрасовременного партийного теоретика, обречены на провал. Вот вы и витаєте в облаках. Наберитесь мужества и загляните вперед, в будущее, где нам вместе нечего делать. Мы намного честнее вас хотя бы и потому, что пишем об этом прямо. И обращаемся к вам потому, что подобные вещи должны видеть в первую очередь писатели, обладающие даром предвидения. Если вы действительно обладаете таким даром, то должны понимать, что настает новая эра, возрождается лозунг: «Мусульманизация! Мусульманизация! Мусульманизация!»

Мы хорошо понимаем и сознаем опыт полувековой советской жандармерии КГБ. И думая о наших детях, на которых вся надежда в будущем, мы не ставим подписи под этим письмом. Да так ли это важно. С уверенностью можем сказать, что каждый частный мусульманин приложит руку».

Видите ли, их угнетают русские! Как будто сами русские угнетаемы меньше. В чем же вологодский, вятский, рязанский колхозник или рабочий с Владимирского тракторного завода более привилегирован, нежели колхозник азербайджанский, узбекский, грузинский или работник с бакинских нефтепромыслов? Тем, что по радио про березки поют? Не говоря уже о том, что материально русские, и колхозники и рабочие, живут несравненно хуже, беднее республиканских, это общеизвестно. И жили хуже их все пятьдесят лет.

Я слышать не могу, когда на Западе все, от журналистов до премьер-министров, твердят: «Эти русские! Русские помогают арабам», «Русские содержат Кубу», «Русские оккупировали Чехословакию». Но при чем же здесь русские? Будто у русских спрашивают — помогать арабам, вводить войска в Чехословакию, давить венгерскую революцию? При чем Россия, которой и на свете-то давным-давно нет. СССР. Советское. В том числе и азербайджанское с грузинским.

Русское и советское — могут ли быть более несоединимые понятия! Да русских для того и истребляли десятками миллионов, чтобы подавить в них все русское, национальное и превратить их лишь в послушное орудие осуществления своих, отнюдь не русских (и не азербайджанских, кстати говоря), а интернациональных идей. Идея сдохла, а орудие в руках осталось, и формально, «по паспорту», орудие это русское. То есть и азербайджанское тоже, но русских больше пока числом, да и Москва, столица СССР, как-никак бывший русский город. Вот и создается иллюзия. Вот все и кричат: «русские наступают!», «русские помогают арабам!». Советские, а не русские, пора бы не путать.

— Вы говорите, Владимир Алексеевич, — мягко, вкрадчиво начала Елизавета Сергеевна, — будто у нас в огромном государстве с пятнадцатью республиками (да еще сколько автономных) не существует центростремительных сил, ничто нас не стягивает к центру, не сплачивает, а развиваются, наоборот, центробежные силы...

— Да, это я говорил. Наша страна сейчас похожа на пирамиду билиардных шаров, уложенных на зеленом сукне стола в деревянном треугольнике. Знаете, бывают такие треугольники для скорости формирования билиардной пирамиды. Так вот, эти шары ничто друг к другу, а тем более к центру пирамиды, не тянет. Их сдерживает только деревянная треугольная форма. Пока она есть, шары не раскатываются. Но если ее убрать, пирамида раскатится тотчас по всему столу от первого же толчка.



Может быть, некоторое время таким сдерживающим треугольником была действительно идея строительства коммунизма. Но эта идея теперь исчезла. Никто, повторяю, коммунизм у нас серьезно не строит и даже не знает, что это такое. О нем не думают уже и пропахшие нафталином старые большевики.

— Но все же пирамида не рассыпается.

— Остались лишь внешние сдерживающие факторы, — главным образом Вооруженные Силы. Ну, или там границы, руководящая бюрократическая верхушка, милиция и так далее. Без них давно бы все раскатилось в разные стороны.

— Но я не договорила. Разве Ленин, его идеи, его учение, ленинизм, разве Ленин как символ, сам его профиль, его мавзолей — не являются объединяющей точкой?

— Да, из Ленина сделали символ, фетиш, своего рода религию. Даже мощи вот в Мавзолее, мумия (впрочем, ходят слухи, что давно уж папье-маше), и это, пожалуй, единственное, что гвоздем еще сидит в сознании многих людей, как яркий свет революции. Сталин тиран, но вот Ленин... Троцкий, Зиновьев, Бухарин — что-то там напутали, но вот Ленин... Страна в стадии экономического краха, не клеится ни черта... Вот если бы Ленин! Если бы встал Ленин, если бы был жив Ленин, вот если бы Ленин...

— А что если бы встал Ленин? С чем бы он встал? Что такое гениальное преподнес бы он нам на своих ладонях? Ленина хватило только на то, чтобы все разрушить в развалить.

— А его гениальное учение, по ленинскому пути... Ленинским курсом... Заветы Ильича... Это что, по-вашему, пустые слова?

— Да, по-моему, это пустые слова. Фикция, как и вся пропаганда. Давайте вспомним основные догматы ленинского учения и посмотрим, применимы ли они к нашему времени, к нашему обществу? Ну, начинайте вспоминать, какие там были главные ленинские догматы?

— Мировая революция.

— Эта догма умерла раньше еще самого Ленина. Уже при его жизни стало ясно, что мировая революция — это идеалистический вздор. Утопия. Никакого мирового пожара не произошло и в обозримо ближайшее время не произойдет. Тогда думали, что не произойдет лишь в ближайшее время. Теперь, когда с исторического залпа «Авроры» прошло столько лет, ясно даже младенцу — мирового пожара не произойдет никогда. И не нужен он народам, мировой пожар. И не дай Бог, чтобы он произошёл. Это ясно каждому здравомыслящему человеку. И уж, во всяком случае, наши колхозники, наши работники прилавка, наши домохозяйки, наши железнодорожники, речники, таксисты, медики, лесорубы, бетонщики, слесари-водопроводчики, газовщики и нефтяники не мечтают о мировой революции, не стремятся к ней и даже о ней не думают.

Может быть, цепляясь за догму, все еще думают о мировой революции и о коммунизме наши вожди. И для того содержат на народные деньги многочисленные компартии в капиталистических странах и все их газеты. Может быть, для этого они вваливают народные деньги в разные молодые африканские и азиатские государства. Однако молодые государства, попользовавшись нашими денежками, посылают нас потом подальше. Что же касается компартий и их газет, то они все равно занимают в своих странах прозябающее, задворочное положение. Краеугольный камень ленинизма, догма о мировой революции и о всемирном коммунизме практически мертва. Не понимать этого можно только из упрямства либо из тупости. Или понимать, но цепляться за мертвую догму, ибо ничего больше позитивного не остается на идеологическом вооружении и нечем было бы оправдать свою деятельность, свое нахождение у власти, смысл своего существования.

— Но фронт социализма расширяется. Теперь уж не одна страна в нашем лагере.

— Расширился потому, что в эти страны во время войны вошла наша армия, потому что на Ялтинской конференции были разделены с американцами сферы влияния, и они уступили нам эти страны. Никаких революций не происходило. Мы силой навязали им этот новый строй, от которых они силой же не однажды пытались избавиться. Я был во всех этих странах. Чем характеризуется прежде всего приход так называемого социализма? Резким понижением жизненного уровня, хозяйственной неразберихой, тотчас возникающими экономическими трудностями, которые они потом постоянно, в течение десятилетий, преодолевают. Как будто весь смысл жизни общества сводится к преодолению трудностей!

Однажды я плыл на нашем речном буксиришке из Будапешта в Измаил. Пришла фантазия, из командировки, из Венгрии, не лететь самолетом, а так вот проплыть по Дунаю. Плавание продолжалось двенадцать дней. Тогда мы возили нефть из Австрии по каким-то там репарациям. Я устроился на буксирный пароходик, идущий из Австрии через Чехословакию, Венгрию, Югославию, Румынию и Болгарию. Моряки-речники рассказывали мне, что зарплата им выдается в один и тот же день месяца, но этот день месяца может застать их и в Австрии, и в любой стране по пути следования. Тогда и зарплата выдается им либо австрийскими деньгами, либо чехословацкими, либо форинтами, леями, левами. Либо русскими рублями.

— Наверное, вы предпочитаете родные рублики? — поинтересовался я.

Моряки объяснили, что если они получают зарплату в Вене, то фактически они получают пять-шесть наших зарплат. Оказывается, на те же пятьдесят рублей (но, конечно, в австрийских деньгах) они покупают в Вене столько товаров, сколько у нас не купишь и на триста рублей, притом товаров, которых у нас и вообще не купишь.

На втором месте моряки предпочитают получать зарплату в Чехословакии. Ну, с Югославией в те годы были испорчены отношения, и она из разговора выпадала. А то, наверное, она оказалась бы на втором месте. В Венгрии — так и сяк. Румыния тоже — так и сяк. А Болгария? — спросил я.

— А, — махнул рукой морячок.

— А Измаил?

— Можно и не получать.

Вот такую нарисовали мне диаграмму. Из европейских стран народной демократии мне больше других приходилось бывать в Болгарии. Может быть, чего-нибудь у них и не было до так называемого освобождения, вроде бетонных плотин, портящих землю, урановых рудников, металлургических заводов, порожденных странной гигантоманией, или химических комбинатов. По уж еды и одежды, того, что называется жизненным уровнем, было у них — дай боже. И вот я видел своими глазами и узнавал из разговоров, как этот жизненный уровень их из года в год понижался и понижался.

Болгария имела на душу населения восемь овец, уступая только Австралии. Теперь осталась на

ту же душу овца с четвертью. Все, как у нас. Заставляли крестьян сеять табак там, где процветало овцеводство, и разводить овец на землях, удобных для табака. (63) Стали редкими не только такие непременные болгарские деликатесы, как бастурма, луканка, или старец, без которых болгары не представляли себе раньше своей Болгарии, как русским трудно было бы представить себе Россию без икры, осетрины и стерляди, но ограничены продажей такие продукты первой болгарской необходимости, как фасоль и просто баранина.

Один из распространеннейших анекдотов в Болгарии: «В трамвае человек произвел неблагоприятный звук и со стыдом выпрыгнул на ходу, бросился удирать. И видит, что все попрыгали из трамвая и бегут вслед за ним. Бить, что ли?

— Братцы, я нечаянно, простите!

— Да нет, ты скажи, где покупал фасоль?!»

А когда я решил купить для дочки дубленую шубку, то Союз болгарских писателей хлопотал перед Советом Министров, и только с разрешения Совета Министров шубка была продана. Это в Болгарии, которая была завалена всевозможными изделиями из кожи и овчины. И можно ли представить себе, чтобы подобную вещь, безделицу, тряпку, во Франции, Дании и любой стране надо было бы покупать с разрешения премьер-министра или президента! Вздор, абсурд. А мы уж не замечаем и считаем, что так и надо.

— Зато металлургический комбинат...

— То же — и смех и грех. Комбинат стоит посредине Болгарии. Руду они везут из нашего Кривого Рога, а уголь из ФРГ. Варят сталь довольно низкого качества. Тридцать тысяч левов ежесуточного убытка. Но — престиж. Гигантомания. Своя сталь! Да купили бы они эту сталь у кого хочешь на свое солнечное и земное изобилие. Но было бы очень просто. Без трудностей, без преодоления трудностей. А народишко надо держать в напряжении, в черном теле. Без этого что и за социализм!

Одновременно я наблюдаю, как с понижением жизненного уровня из года в год растут антисоветские (антирусские, как ни обидно) настроения. Уж, казалось бы, не может быть ближе двух стран, двух народов, чем Болгария и мы, но трещит дружба по всем швам, скрипит и, конечно, когда-нибудь развалится, как и с другими социалистическими странами Европы. Если убрать сдерживающий деревянный треугольник, то пирамиде не потребуется даже толчка, шары сами покатаются в разные стороны. (64)

— Но Куба? Никакой революции мы им не навязывали, наших войск там нет, но существует же Куба, держится! И даже Америка ничего не может с ней сделать. Остров Свободы.

— Там, в Латинской Америке, темпераментный народ. Они любят устраивать государственные перевороты. Воспользовавшись удобным случаем, группа экстремистов захватила власть. Народу наобещали с три короба. Пока народ опомнился, диктатура укрепилась и завинтила все гайки. Знакомая схема.

Но, во-первых, Кубу содержим мы. Она обходится нам, говорят, по доллару в день на каждого кубинца, то есть пятнадцать миллионов долларов ежедневно.

Во-вторых, Куба сидит на карточках на обувь, на одежду, на еду и даже на сигареты. Одна пачечка в день. Страна табака. Знаменитые гаванские сигары. А для самих кубинцев сигареты по карточкам. Одни штаны в год. Какая же это свобода, если человек не имеет права купить себе двое штанов в год или две пачки сигарет в день.

В-третьих, наивно думать, что если бы Америка захотела, то не смогла бы переменить на Кубе режим. Они держат Кубу вроде разрезного улья на показ другим странам Латинской Америки. «Вы хотите революций, переворотов, коммунистического правительства? Смотрите, что вас ждет в этом случае».

И еще один момент: поскольку Куба им как революционный пример не страшна, они просто не мешают нам вваливать туда деньги. Как-никак около двух миллиардов в год. Дело в том, что воевать с нами никто сейчас не хочет. Они все рассчитали. Они знают, что если истратят на вооружение тысячу долларов, то мы постараемся истратить полторы тысячи. Происходит тихая мирная гонка. И вот рассчитали, что, когда у нас в кармане не останется уже ни рубля, у них останется еще пятерка на бутылку с закуской, чтобы справить по нам поминки. Куба в этом смысле очень удобная дыра для утечки советских денег. А тут еще космические гонки, стоящие миллиарды и миллиарды, хоть давно и проиграны нами, и пора бы опомниться, оглядеться. Но куда там! Престиж!

В лихорадочном цейтноте, в неврозе этого навязанного нам военного и космического соревнования мы уже не знаем, за что хвататься. Только страна, находящаяся перед лицом экономического краха, безоглядно торгует сырьем. Нам раньше, на уроках экономической географии, твердили, что сырье обыкновенно выкачивают из колоний. Развитые же страны торгуют изделиями, изготовленными из выкачанного сырья. Значит, мы занимаем невольно в экономической раскладке мира положение колонии. Леса наши все эти пятьдесят лет лихорадочно сводим и гоним сырьем, необработанной древесиной в огромном количестве. Все виды сырья хватаем из земли горстями, поспешно, так что половина сыплется мимо карманов. Лес, например, до сих пор сплавляем по рекам, чем губим и лес и реки. Масса леса тонет и ложится на дно (топляк). В реках из-за этого (Северная Двина, Печора, Сухона, десятки других рек и речек) переводится рыба, портятся нерестилища, много леса уплывает в океан. В Норвегии десятилетиями процветает акционерное общество, которое занимается только тем, что вылавливает из моря нашу уплывшую древесину. Молевой сплав леса — это каменный век и варварство. Надо строить дороги, подъездные пути, а потом аккуратно рубить, используя каждое бревнышко. Куда там! Некогда. Давай-давай. Миллионы кубометров древесины остаются срубленными и невывезенными, гниют на месте. Другие миллионы кубометров остаются в виде отходов, верхушек, сучьев. А бумагу мы покупаем в Финляндии. Финны покупают наш сырой лес, а продают нам отличную бумагу. Если это не называется экономическим бардаком, то что же тогда им называть?

Мы гоним за границу сырую нефть. Для этого выкачиваем сибирские недра. Мы гоним за границу природный газ, марганцевые руды, уголь. Около Байкала разведали новое месторождение угля и тотчас отдали на разработку японцам. Ну, подождали бы, гляделись бы, поберегли бы про запас, если не потомкам. Нет, нельзя. Все на пределе. Живем и работаем на износ.

Однако повезло, подфартило. В Якутии нашли уникальное, небывалое на земле месторождение алмазов. Прошло несколько лет, и знаменитая трубка уже иссякает. Хватаем горстями, пригоршнями, чуть ли не центнерами. Где же алмазы, которых в экономичном государстве хватило бы на многие

десятилетия безбедного существования? Продаем в сыром виде. Эта алмазная трубка была как камфара в больной трепыхающийся организм. Но действие камфары быстро кончится, а что дальше?

Разрабатывая гору Магнитную, как мне рассказал знающий дело писатель Николай Воронов, мы сожгли вместе с рудой сотни тысяч тонн превосходных, уникальных гранатов! И миллионы тонн пирита, которого, как говорит Коля Воронов, иной небольшой стране хватило бы на сотни лет благополучного экономического существования.

Меха — баргузинского соболя, бедных камчатских котиков, бобров, норку, выдру, хорька, черно-бурых лисиц — все, все скорее на экспорт, скорее на валюту.

Может быть, я преувеличиваю, необъективен, тенденциозен? Но вот один из крупнейших наших поэтов, которого никак не заподозришь в критическом отношении к советской власти, побывав в Сибири, и не выдержало сердце, разразился следующим стихотворением.

Сибирь, Сибирь! Твои богатства,  
 Без счета, меры и цены,  
 Для человеческого братства  
 На добрый день припасены.  
 А ты торопишься, раскатом  
 Тротила оглушая тьму,  
 Набив алмазами и золотом  
 Свободы нищую суму.  
 Скрежещут скреперы и драги,  
 Визжит пила, стучит топор,  
 И новых поселений флаги  
 Шумят на склонах старых гор.  
 Зверь мечется, и дохнет рыба  
 В гнилой воде убитых рек.  
 Как взрыва атомного глыба,  
 Сменясь, двадцатый рухнет век.  
 Ни сожаления, ни страху,  
 И — даль, не в даль, и ширь — не в ширь,  
 И каторжанкою на плаху  
 Склоняет голову Сибирь.  
 В своем решении угрюма,  
 В своем неистовстве строга,  
 Как скит безумца Аввакума,  
 Пылает пленная тайна.  
 Полуотравленная газом,  
 По нефтяным болотам вплавь  
 Куда ты рвешься, где твой разум?  
 Взгляни в себя разумным глазом.  
 Нельзя же все богатства разом,  
 Чуть-чуть грядущему оставь!

Во все времена всякая уважающая себя страна торговала своим добром. Но торговала она излишками своего добра. Никогда еще не было так (кроме колоний, которые действительно ограбляли), чтобы своему народу даже и не показывали, а за границу сплавляли подчистую в огромных количествах. (65) Меха и нефть, лес и газ, несчастных уссурийских тигров, которых и осталось-то единицы, осетрину и раков, икру и крабов, мараловые панты и женьшень, бобровую струю и алмазы, малахит и бирюзу, серебро и янтарь, бараньи кишки и рога сайгаков, романовские овчины и среднеазиатский каракуль, бобры и медвежьи шкуры, перепелиные яйца и горный хрусталь, все уральские самоцветы, коньячные спирты и хлопок-сырец, шелк и лен, гагачий пух и облепиховое масло, байкальский омуль и сосвинская селедка — все, все скорее на золото, на валюту! На внутренний рынок идут только жалкие крохи, только то, что у нас не покупают за границей. Если же покупают, то трудящимся, о благе которых будто бы день и ночь заботится правительство, ничего не перепадает. (66)

Ну, правда, хлеб покупаем. У Канады. У США. У Австралии. Яйца и кур — у Польши. Баранину — в Аргентине. Чеснок — в Египте. Помидоры — в Болгарии. Сало и кур — в Венгрии. Это ли не забота о трудящихся! До того, значит, дозаботились, что приходится покупать то, чем Россия обычно торговала сама, заваливая мировой рынок.

Недавно датские газеты вышли с большими заголовками: «С вологодским маслом покончено!», чему они обрадовались, потому что не могли конкурировать с вологодским российским маслом.

— Не встречается в магазинах.

— Покончено в целом, принципиально, как с конкурирующим фактором. А немножечко всегда можно сделать. Немножечко у нас и раки еще встречаются.

— Разве их было больше?

— Даю справку. Россия только вывозила шестьсот тысяч пудов раков, сколько шло на внутренний рынок, не учитывалось, конечно, но больше, чем вывозилось. Теперь же мы вылавливаем двадцать пять тысяч пудов, да все они уходят на экспорт. Выбросят нам немножко, чтобы подразнить, да и то мелочь, несортных.

Может, только то и осталось вживе от ленинской догмы о мировой революции, что он рассматривал Россию, ее ресурсы и ее крестьянство как материальный резерв для мировой революции, именно как своеобразную колонию, как средство к достижению цели, а не как саму цель. Какова же степень бессмысленности всего происходящего, если средства использованы на всю катушку, земля оскудела, народ вырождается, а цель отпала сама собой и вообще оказалась утопией. Ну, какая там вторая догма? Разберем и ее.

— Наверное, учение о диктатуре пролетариата.

— По-вашему, это учение живо и действенно? А по-моему, и мы об этом уже говорили, никакой диктатуры пролетариата с самого начала и не было. Была диктатура деклассированных недоучек,

которые творили свою диктатуру, прикрываясь именем пролетариата. (А они все недоучки: Троцкий, Зиновьев, Каменев, Ворошилов, Киров, Дзержинский, Каганович, Куйбышев, Молотов, Сталин, Берия, Свердлов, Орджоникидзе, Ягода, Урицкий — все-все, за редкими исключениями. Покопайтесь-ка в их биографиях.)

Тем более теперь. Ну, поезжайте в любую страну народной демократии, где руководят Гусак и Живков, Кадар и Чаушеску, Тито и Герек, Кастро и Мао Цзэдун. Ну при чем там у них — диктатура пролетариата? И как ее можно себе вообразить, если иметь в виду не фикцию, а нечто конкретное?! И влезем ли мы сейчас в какую-нибудь иную страну с диктатурой пролетариата? И что нам скажут там интеллигенция, крестьянство, все остальные люди, которых все-таки большинство в каждой стране по сравнению с пролетариатом. Или большинство подчинить меньшинству? И если пролетариат будет заниматься диктатурой, то кто же будет работать?

Придется согласиться, что догма о диктатуре пролетариата, равно как и догма о мировой революции, мертва и сдана в архив.

— Но вот еще — пролетарский интернационализм. Следующая догма. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

— Тоже не подтвердилось жизнью. И если вдуматься, тоже вздор. Ну почему лишь рабочие с рабочими? А писатели с писателями? Музыканты с музыкантами? Студенты со студентами? А музыканты с рабочими? А рабочие с писателями?

— Интернационализм — чувство хорошее, но зачем же отказывать в нем всем, кроме пролетариата? Это направлено, если хотите, не на сплочение народов, не на подлинную дружбу, а на разжигание вражды и ненависти. Но, к счастью, это тоже утопия, не подтвердившаяся жизнью. Если у нашего государства сейчас хорошие и как будто дружественные отношения с Францией, Финляндией, Индией, Египтом, Данией, то это хорошие отношения со странами в целом, а не только с отдельными частями этих народов, с людьми, стоящими у станков и работающими в шахтах. А может быть, даже еще хуже: ибо от лидеров той или иной страны могут во многом зависеть и отношения. (67)

Если же взять двадцатый век и посмотреть на тенденции, то, пожалуй, можно этот век назвать веком не интернационализма, а обостренного национализма у всех народов. В Китае — национализм. У арабов — национализм. У евреев — национализм. У множества народов, освободившихся от колониальной зависимости, пробуждается и всячески культивируется национальное самосознание, начиная от великой Индии, кончая высыпками африканских стран. Как-то в стороне при этом остается нержавеющее учение. Оно существует само по себе, а жизнь развивается сама по себе.

Что же остается реального в нашей жизни, в нашем конкретном советском обществе от так называемого ленинизма? Да ничего. Одно слово. (68) И чем меньше за этим словом остается жизненной сути, тем, заметьте, мы чаще и чаще его стараемся повторять. Подобный казус происходит не с одним этим словом. У западных советологов, дотошно изучающих нашу действительность, существует термин «фикционализм». Они заметили, что если мы особенно настойчиво повторяем какой-нибудь лозунг, значит, с этим участком у нас не все в порядке, значит, ищите в действительности противоположное лозунгу явление. Например, если повсюду висят плакаты об успешном завершении третьего года пятилетки, значит, план этого года не выполняется, горит, причем настолько верно, что можно не проверять. Об этом урожае мы начинаем шуметь и кричать, если у нас неурожай. Когда людей миллионами пропускали через лагеря, мы пели как раз подходящее к случаю: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Когда колхозники работали за пустые трудодни, всюду висели плакаты: «Жить стало лучше, жить стало веселей». Если повсюду мы начинаем склоняться на плакатах и лозунгах дружбу народов, значит, ищи — с этой дружбой у нас расклеивается. Теперь вот один из самых распространенных лозунгов, повсюду вывешенных и написанных крупными буквами: «Народ и партия едины».

Все эти лозунги наши вообще — курам на смех. Впервые один англичанин меня навел на мысль. У них там ведь двухпартийная система: одна партия правит, другая добивается правления. Тоже вообще-то чехарда, но не в этом сейчас дело. Так вот англичанин и говорит: «Разве возможно, чтобы правящая партия вывешивала лозунги, восхваляющие саму себя?» На этом сопоставлении я понял всю нелепость наших лозунгов. В самом деле, КПСС у нас правящая партия (единственная, кстати сказать). Зачем же, этично ли, скромно ли, достойно ли, умно ли, красиво ли всюду провозглашать славу самой себе? Скажем, глава семьи навешивает везде в своей квартире плакаты «Слава папе!» А если бы дети навешали вдруг, неужели бы позволил им висеть? Да и не навешают дети, не такие они испорченные и глупые, а в том, что лозунги у нас вешаются с санкции самого правительства, легко убедиться, если бы убрать все лозунги и ждать, когда люди сами, не через месткомы и парткомы, начнут вывешивать их опять — самодельные, от чистого сердца. Думаю, что ждать бы пришлось очень долго.

Так что не зря, не зря слово «ленинизм» у нас на каждом шагу, в каждой газете, на каждом собрании. Фикционализм же тут состоит не в том, что мы отошли от Ленина в сторону и вот поэтому усиленно о нем говорим, а в том, что сам ленинизм как догматическое учение остался далеко в прошлом и не приложим к современной действительности. Мумия на Красной площади вот и цела. Дураки ходят, толкуются в очереди и разглядывают. На этой-то мумии и держится вся наша идеология.

Сколько раз в разных официальных кабинетах, у главного редактора журнала, скажем, у секретаря райкома, в облизполкоме, в застекленных шкафах я видел ровные, темно-бордовые и темно-синие ряды книг, к которым и подходить близко было не нужно, чтобы сразу отметить — Ленин. Знали уже собрания его сочинений, узнавали издали по внешнему виду безошибочно, как, взглянув на тот же Мавзолей на Красной площади, никто не спутает его с каким-нибудь другим зданием. Держать собрание сочинений Ленина каждому большому начальнику (директору завода, генералу какому-нибудь) считается не то чтобы обязательно... но как-то солидно и внушительно: письменный стол с телефонами, а около боковой стены застекленный шкаф с томами Ленина. Много их стоит у разных людей, в разных кабинетах, но не многие Ленина читали. Если же кружки по изучению первоисточников, партучеба и семинары, то как-то так получается, что начинают все время с ранних работ: «Материализм и эмпириокритицизм», «Что делать», «Что такое друзья народа и как они воюют против социал-демократов». Пока обучающиеся продерутся сквозь философские дебри этих работ, пока конспектируют, глядь, а семинарский год уже кончится, так что ни на одном семинаре, ни на одной партучебе никогда дело не доходит до поздних его томов, до того времени, когда кончается философия и начинается практическая деятельность

Взглядывая на эти тома в кабинете кого-нибудь из своих достигших официальных высот друзей, я, бывало, ловил себя на мысли, что не читал Владимира Ильича и теперь уж, слава Богу, пожалуй, никто и никогда не сможет меня заставить прочитать эти книги.

То ли от этого «эмпириокритицизма» осталось, что напичканы эти тома сухой, схоластической, неудобовоспринимаемой материей, но, помню, я всегда удивлялся, если видел человека, читающего Ленина.

— А ты почитай, — скажет еще иной такой человек. — Ты почитай, знаешь, как интересно!

Но часто бывает, что маленький, незначительный эпизод вдруг заставит взглянуть на вещи по-новому, другими глазами, когда вдруг увидишь, чего не видел раньше, и станет интересным, даже жгуче интересным то, что казалось скучным.

Один читатель, пытаясь внушить мне в своем письме какую-то (не помню уж теперь) мысль о первых днях революции, написал: «А вы откройте Ленина, т. 36, пятое издание, стр. 269, и прочитайте, что там написано».

Нельзя сказать, чтобы я тотчас бросился открывать том, да и не было его у меня под руками, потому что дома я никогда Ленина не держал. Однако том и страница запомнились, и однажды на заседании редколлегии в одном журнале я оказался около шкафа с книгами. Пока говорились там умные речи и обсуждались планы, я вспомнил про наущение читателя и, потихоньку приоткрыв дверцу шкафа, достал нужный том. Наверное, еще подумали мои коллеги, что я собираюсь выступить с речью и хочу вооружиться необходимой цитатой, а я сразу, сразу на страницу 269. Строчки ведь указаны не были, так что мне пришлось прочитать всю страницу, и я сразу понял, о каких именно строчках шла речь в письме.

«Я перейду наконец к главным возражениям, которые со всех сторон сыпались на мою статью и речь. Попало здесь особенно лозунгу «Грабь награбленное», — лозунгу, в котором, как я к нему ни присматриваюсь, я не могу найти что-нибудь неправильное... Если мы употребляем слова «экспроприация экспроприаторов», то - почему же нельзя обойтись без латинских слов?» (Аплодисменты.)

Я и раньше слышал, будто существовал такой лозунг в первые же дни революции и что будто бы он принадлежал лично Владимиру Ильичу. Но тогда я думал, что он существовал по смыслу, по сути, а не в обнаженном словесном оформлении, и теперь, должен признаться, меня немного покорибила откровенная обнаженность этого лозунга. Прочитанные строки были взяты из заключительного слова по докладу «Об очередных задачах советской власти». Времени было еще много, заседание редколлегии еще только началось, я стал листать оказавшийся в моих руках том и очень скоро понял, что листанием тут не обойдешься, что надо его внимательно прочитать.

Теперь я хочу сделать для возможного читателя моих записок извлечения из этого тома, как я делал извлечения, скажем, из Метерлинка или Тимирязева, когда писал о траве. Извлечения на свой вкус, разумеется. Другой, возможно, выписал бы другие мысли... Впрочем, нет, мысли не другие, ибо и те и другие мысли были бы ленинскими. А известно, насколько единым, целостным и целеустремленным был Владимир Ильич в своих мыслях.

Почему именно из этого тома? Только ли потому, что он первым случайно оказался у меня в руках? Не только. Я, если и не прочитал от строки до строки, то просмотрел потом многие тома. Но очень уж интересный и острый период — с марта по июль 1918 года, то есть с пятого по десятый месяц нахождения у власти, с пятого по десятый месяц управления Россией, столь неожиданно для них самих оказавшейся в руках большевиков. Нет, полной неожиданности, конечно, не было. Теоретически они готовились к этой власти и к этому управлению. В статье «Сумеют ли большевики удержать власть», написанной еще до Октябрьского переворота, были Владимиром Ильичем Лениным заранее предопределены многие действия и акции, которые в обозреваемый нами период стали осуществляться практически. Выпишем из той, еще предреволюционной статьи главный ленинский тезис, главную мысль.

«Хлебная монополия, хлебная карточка, всеобщая трудовая повинность является в руках пролетарского государства, в руках полновластных советов самым могучим средством учета и контроля... Это средство контроля и принуждения к труду посильнее законов конвента и его гильотины. Гильотина только запугивала, только сламывала активное сопротивление, нам этого мало.

Нам этого мало. Нам надо не только запугать капиталистов в том смысле, чтобы чувствовали всеислие пролетарского государства и забыли думать об активном сопротивлении ему. Нам надо сломать и пассивное, несомненно, еще более опасное и вредное сопротивление. Нам надо заставить работать в новых организационных государственных рамках.

И мы имеем средство для этого... Это средство — хлебная монополия, хлебная карточка, всеобщая трудовая повинность».

Значит, схема ясна. Сосредоточить в своих руках весь хлеб, все продукты (учет), а затем распределять эти продукты так, чтобы за хлебную карточку человек, оголодавший и униженный голодом, пошел бы работать на советскую власть и вообще делал все, что прикажут. Гениально и просто, как все у Ленина. Разница с последующей статьей «Очередные задачи советской власти» состоит в том, что в первом случае (до взятия власти, когда только еще мечталось) делался упор на то, что путем голода (путем учета и распределения) будут принуждать работать богатых, чье сопротивление якобы надо сломить, а во втором случае, когда власть уже была взята, зазвучали иные нотки.

«От трудовой повинности в применении к богатым власть должна будет перейти, а вернее одновременно должна будет поставить на очередь задачу применения соответствующих принципов (т.е. трудовая повинность и принуждение. — В. С.) к большинству трудящихся рабочих и крестьян» (т. 36, стр. 144).

Так что же осуществилось в стране: власть рабочих и крестьян или всеобщая трудовая повинность для рабочих и крестьян? А если это так, то чья же власть? Дальнейший абзац о трудовом народе в связи с трудовой повинностью для него поразил меня своим откровением.

«Для нас не представляется безусловной необходимости в том, чтобы регистрировать всех представителей трудового народа, чтобы уследить (!) за их запасами денежных знаков или за их потреблением (кто сколько из них съест. — В. С.), потому что все условия жизни обрекают громадное большинство этих разрядов населения (почему бы не сказать классов, а, Владимир Ильич? В том числе и класса, осуществляющего диктатуру? — В. С.) на необходимость трудиться и на

невозможность скопить какие бы то ни было запасы, кроме самых скудных. Поэтому задача восстановления трудовой повинности в этих областях превращается в задачу установления трудовой дисциплины».

Значит, действительно, с рабочими проще, чем с богатыми. У богатых сначала надо отнять запасы, а потом уж можно их морить голодом. У трудящихся же никаких запасов нет, отсиживаться им не с чем, надо идти трудиться, исполнять трудовую повинность, хотя и оприч души, потому что подчеркнутый насильственный характер будущего труда при советской власти рабочие почувствовали с первых дней. Признает это и Владимир Ильич.

«Целый ряд случаев полного упадка настроения и полного упадка всякой организованности был совершенно неизбежен. Требовать в этом отношении быстрого перехода или надеяться на то, что перемены в этом отношении можно достигнуть несколькими декретами, было бы столь же нелепо, как если бы призывами пытались придать бодрость духа и трудоспособность человеку, которого избили до полусмерти» (стр. 145).

Неправда ли - откровенно! Значит, призывами трудоспособность не вернешь. А чем же?

«Для учета производительности и для соблюдения учета необходимо устроить промышленные суды».

Это уже что-то новое! Этого не знали, конечно, при проклятом царском режиме. Если бы при царе ввели вдруг на заводах промышленные суды, представляю себе, на каких фальцетах завопили бы об этом друзья пролетариата и все вообще революционеры. А как бы они завопили, если бы, ну, Столыпин, скажем, выступил со следующей тирадой... Но выступил с ней, увы, не Столыпин, а Ленин, когда власть находилась уже у него в руках. Читайте.

«Что же касается карательных мер за не соблюдение трудовой дисциплины, то они должны быть строже. Необходимо карать вплоть до тюремного заключения. Увольнение с завода также может применяться, но характер его совершенно изменяется. При капиталистическом строе увольнение было нарушением гражданской сделки. Теперь же при нарушении трудовой дисциплины, особенно при введении трудовой повинности, совершается уже уголовное преступление и за это должна быть наложена определенная кара».

Вот так. Там, где при царе-батюшке можно просто уволить (а сколько воплей, а то и забастовок было по этому поводу), теперь одного увольнения мало. Теперь - тюрьма. Что и наблюдали мы в исполнение ленинских заветов, особенно в предвоенные годы, когда за двадцатиминутное опоздание на работу люди уходили в лагеря и там гибли.

Но в стране вроде диктатура пролетариата. Как же сочетать, с одной стороны, его диктатуру, а с другой стороны, диктаторство над ним, причем уже не класса, не партии даже, но уже единой воли. А что речь шла о подчинении диктатору и единой воле, читаем недвусмысленные ленинские слова.

«Это подчинение может при идеальной сознательности и дисциплине (то есть при полной покорности. — В. С.) участников общей работы напоминает больше мягкое руководство дирижера (имеющего право сажать в тюрьму. — В. С.). Оно может принимать формы диктаторства, если нет идеальной дисциплинированности и сознательности. Так или иначе беспрекословное подчинение единой воле безусловно необходимо». Стр. 200.

«Вся наша задача партии коммунистов — встать во главе истомленной и устало ищущей выхода массы (а как же революционная активность масс? — В. С.), повести ее по верному пути, по пути трудовой дисциплины, по пути согласования задач митингования об условиях работы и задач беспрекословного повиновения воле советского руководителя, диктатора во время работы».

Ах, как хорошо: помитинговали, пошумели, проявили свою пролетарскую гегемонию, потешили свою душу — щелкает бич диктатора: по местам!

«Надо научиться соединять вместе бурный, бьющий весенним половодьем, выходящий из всех берегов митинговый демократизм масс с железной дисциплиной во время труда, с беспрекословным повиновением воле одного лица — советского руководителя».

Точнее про класс-гегемон, осуществляющий якобы в стране свою диктатуру, уже не скажешь. И вообще словечко «принудительное» является едва ли не самым любимым словечком вождя в тот период.

«Подчинение, и притом беспрекословное, единоличным распоряжениям советских руководителей, диктаторов, выбранных или назначенных, снабженных диктаторскими полномочиями...»

«Меры перехода к принудительным текущим счетам или принудительному держанию денег в банках...»

«Осуществление строжайшего и повседневного учета и контроля производства и распределения продуктов...»

«Наше опоздание с введением трудовой повинности показывает еще раз...»

«Принудительное объединение населения в потребительские общества...»

«Через продовольственные отделы советов, через органы снабжения при советах мы объединили бы население (принудительно, как только что мы прочитали. — В. С.) в единый пролетарски руководимый кооператив».

В деле принуждения пролетариата (хотя и строился вроде бы социализм) Владимир Ильич Ленин не брезговал обращаться к самым жестоким и драконовским достижениям капитализма.

«Русский человек — плохой работник по сравнению с передовыми нациями. Учиться работать — эту задачу советская власть должна поставить во всем объеме. Последнее слово капитализма в этом отношении — система Тейлора... Осуществление социализма определяется именно нашими успехами в сочетании с советской властью и советской организацией управления (беспрекословного подчинения диктатору, как мы недавно читали. — В. С.) с новейшим прогрессом капитализма».

И вообще, капитализм, оказывается, не такое уж страшное слово и понятие.

«Если бы мы могли в России через малое число времени осуществить государственный капитализм, это было бы победой».

«Что такое государственный капитализм при советской власти? В настоящее время осуществлять государственный капитализм — это значит проводить в жизнь тот учет и контроль, которые капиталистические классы проводили в жизнь».

«Государственный капитализм для нас спасение... Государственный капитализм был бы для нас спасением. Тогда переход к полному социализму был бы легок, был бы в наших руках, потому что государственный капитализм есть нечто централизованное, подсчитанное, контролируемое и

общественное, а нам-то как раз этого и не хватает, потому что в России мы имеем массу мелкой буржуазии, которая сочувствует уничтожению крупной буржуазии всех стран, но не сочувствует учету, обобществлению и контролю».

«Только развитие государственного капитализма, только тщательная постановка дела учета и контроля, только строжайшая организация и трудовая дисциплина приведут нас к социализму. А без этого социализма нет.

К государственному крупному капитализму и к социализму ведет одна и та же дорога, ведет путь через одну и ту же промежуточную инстанцию, называемую «народный учет и контроль за производством и распределением продуктов».

«Государственный монополичный капитализм — есть пошлейшая материальная подготовка социализма, есть преддверие его, есть та ступенька исторической лестницы, между которой (ступенькой) и ступенькой, называемой социализмом, никаких промежуточных ступеней нет».

Вот так раз! При такой постановке вопроса нет ничего удивительного, что сколько бы мы ни листали Ленина, сколько бы ни штудировали, нигде мы не можем вычитать: а, собственно говоря, что же такое социализм, который они собирались построить? «Социализм — это учет»? «Социализм без почты и телеграфа есть пустейшая фраза»? «Кто не работает, тот не ест»? «От каждого по способностям, каждому по труду»? Вот это все и есть пустейшие фразы. И если между государственным капитализмом и социализмом нет ни одной промежуточной ступени, то чем же все-таки отличается социализм от государственного капитализма? Неужели ничем? А если чем, то все-таки чем? Прямых ответов на этот вопрос у Ленина не встречаем.

Про себя же они понимали дело четко и просто. Осуществить полный учет и контроль над каждым граммом и над каждой штукой чего бы то ни было произведенного в стране. Все, что бы ни производилось в стране, держать в своих руках, а потом распределять по своему усмотрению. Благодаря такому контролю и распределению держать в подчинении и в трудовой повинности всех без исключения живущих в стране людей, все поголовно население. Чтобы оно подчинялось единой воле как один человек. Вот это и есть, по их мнению, социализм. То есть самая высшая и самая массовая форма рабства.

Но для того, чтобы миллионы людей оказались в материальной, имущественной, хлебной зависимости, надо их сначала лишить тех некоторых запасов, которые они, может быть, накопили и которые дадут им возможность чувствовать себя независимыми от пайка, от хлебной карточки, от зарплаты.

Поэтому, взяв власть, с первых шагов большевики начали стремиться прибирать к рукам каждый рубль, каждую копейку, каждый грамм хлеба.

Крупную буржуазию, фабрикантов и банкиров им удалось уничтожить легко. Да их и было немного, можно пересчитать, взять на учет и ограбить. А вот что делать с мелким собственником? Их же десятки миллионов. Мелкие собственники вызывали у Ленина более звериную бешеную ненависть, чем крупные капиталисты, и он об этом откровенно пишет и говорит. Ведь мелкие собственники — это все самодельное население России, самодельное и поэтому самостоятельное. А как раз и надо было лишить его самостоятельности, подчинить и превратить в механизм, послушный единой воле.

«Не видят мелкобуржуазной стихии как главного врага социализма у нас».

Итак, главный враг социализма — это самодельные и самостоятельные люди. Кто же они? Ответ Ленина недвусмыслен.

«Большинство, и громадное большинство, земледельцев — мелкие товарные производители».

«Мелкие буржуи имеют запас деньжонок в несколько тысяч, накопленных «правдами» и особенно «неправдами...».

Не дают ему покоя деньжонки в чужих карманах. Ну а «неправдами» — это, конечно, ввернуто для красного словца. Какими неправдами могло копиться деньжонки «громадное большинство земледельцев»? И не мог же он сказать — «все земледельцы», а имел-то в виду всех, ибо что же еще может означать выражение «громадное большинство». К людям, накопившим деньжонок, можно было бы отнести и различных там валял, златошвеек, кружевниц, шорников, овчинников, кожемяк, сапожников, воскобоев, столяров, плотников, краснодеревщиков, чеканщиков, извозчиков, иконописцев, офень, пильщиков, угольщиков, стеклодувов, кровельщиков, печников, — короче говоря, все самодельное население России. И все это объединялось общим названием — мелкобуржуазная стихия. Словечко с окраской. Назови «земледелец» — и уже не то.

«Деньги — это свидетельство на получение общественного богатства, и многомиллионный (!) слой мелких собственников крепко держит это свидетельство, прячет его от государства, ни в какой социализм и коммунизм не веря».

«Мелкий буржуа, хранящий тыщонки, враг государственного капитализма, и эти тыщонки он желает реализовать непременно для себя».

Вот ведь какие подлецы, какая темнота и несознательность! Вместо того, чтобы просто отдать денежки государству, то есть Ленину и всем его сообщникам, прячут и норовят израсходовать на себя. Не выйдет, господа мелкие собственники! Отберем. Где силой, а где лишив товаров и посадив на сухой хлеб через торгсины, не мытьем, так катаньем, но отберем!

Тут и встала перед большевиками главная, главнейшая задача — сосредоточить в своих руках весь хлеб. Это главное средство воздействия, подавления и поощрения, а проще говоря — власти. Началась одна из самых кошмарных и кровавых страниц русской истории под названием — продовольственная диктатура.

Для себя Владимир Ильич твердо знал, что он осуществляет хлебную монополию, то есть сосредоточивает весь хлеб, имеющийся в России, в своих руках. Но для общественного мнения был выкинут жупел, словечко, против которого невозможно, кажется, возразить, коротенькое словечко — голод.

Было сделано так, что два главных города, Петроград и Москву, посадили на голодный паек. Сто граммов хлеба в день. Дикие очереди за этими ста граммами. Ну а раз голод, значит, надо объявить поход за хлебом, борьбу за хлеб, изъятие хлеба ради голодающих. Дело благородное и чистое, как слеза.

Но голод в Москве и Петербурге был инспирирован. Именно в это время Лариса Рейснер, скажем, жила, занимая особняк с прислугой, принимая ванны из шампанского и устраивая званые вечера. Именно в эти годы Зиновьев, приехавший в дни революции из-за границы тощим, как пес, разжирел и

отъелся так, что его стали звать за глаза «ромовой бабой». Да и как могут голодать два города, если они не заблокированы неприятелем, когда во всей остальной стране полно хлеба. Разреши, и тотчас же на всех базарах появятся горы хлеба и разных других продуктов. О том, что голода фактически нет, не раз в эти годы говорил и сам Ленин.

«Сейчас надвигается голод, но мы знаем, что хлеба вполне хватит и без Сибири, Кавказа, Украины. Хлеба имеется достаточное количество до нового урожая в губерниях, окружающих столицу, но он весь запрятан кулаками».

«Недалеко от Москвы, в губерниях, лежащих рядом: в Курской, Орловской, Тамбовской, мы имеем по расчетам осторожных специалистов еще теперь до 10 млн. пудов избытка хлеба».

Нет уж, Владимир Ильич, либо голод, либо избыток хлеба, что-нибудь одно. Большевики в это время очень боялись, как бы хлеб стихийно не хлынул в голодные столицы и не сорвал им задуманное мероприятие. Для этого были учреждены на железных дорогах заградительные отряды, которые следили, чтобы ни один мешок хлеба не проник ни в Москву, ни в Петроград.

Заставив рабочих и прочее население этих двух городов изрядно наголодаться, Ленин объявил поход за хлебом, который фактически им был нужен не для того, чтобы накормить два города, а чтобы осуществить хлебную монополию.

«Необходим военный (!) поход против деревенской буржуазии, удерживающей излишки хлеба и срывающей монополию».

Выпускается декрет о продовольственной диктатуре.

«Вести и провести беспощадную, террористическую (!) борьбу и войну (!) против крестьянской и иной буржуазии, удерживающей у себя излишки хлеба».

Точно определить, что владельцы хлеба, имеющие излишки хлеба и не вывозящие их на станции и в места сбора и ссыпки, объявляются врагами народа и подвергаются заключению в тюрьму на срок не ниже десяти лет, конфискации всего имущества и изгнанию навсегда из его общины».

«Военный комиссариат превратить в военно-продовольственный комиссариат».

Мобилизовать армию, выделив ее здоровые части, и призвать девятнадцатилетних для систематических военных действий (!) по завоеванию, сбору и свозу хлеба. Ввести расстрел за недисциплину.

Успех отрядов измерять успехами работы по добыче хлеба».

«Задачей борьбы с голодом является не только выкачивание (!) хлеба из хлеботородных местностей, но ссыпка и сбор в государственные запасы всех до конца излишков хлеба, а равно и всяких продовольственных продуктов вообще. Не добившись этого, нельзя обеспечить решительно никаких социалистических преобразований».

Вот зачем понадобился российский хлебушек, а вовсе не для того, чтобы ликвидировать голод в Москве и Петрограде. И сдается мне, что, кроме главной задачи — сосредоточить в своих руках все продукты, чтобы управлять и властвовать, продовольственная диктатура имела и побочную цель.

Ведь советская власть только еще начинала действовать, и положение ее было весьма и весьма неустойчиво. Об этом свидетельствует сам Владимир Ильич. Судите сами. Вся мелкая буржуазия, как мы недавно читали, то есть все самостоятельное, самодеятельное население России, против социализма. В речи перед группой передовых учителей Ленин сделал и другое откровенное заявление.

«Надо сказать, что главная масса интеллигенции старой России оказывается прямым противником советской власти, и нет сомнения, что нелегко будет преодолеть создаваемые этим трудности. Процесс брожения в широких учительских массах только еще начинается».

Но если мелкие собственники, интеллигенты и даже широкие массы учителей — все против, то кто же за?

«Мы можем рассчитывать только на сознательных рабочих. остальная масса, буржуазия и мелкие хозяйства против нас», — признается Владимир Ильич на стр. 369 и десятью строками ниже уточняет:

«Мы знаем, как невелики в России слои передовых и сознательных рабочих».

Предельная ясность: захватившие власть опирались на явное меньшинство, на одуроченных рабочих, которых называли сознательными. Но ведь и эта небольшая часть сознательных рабочих могла одуматься через месяц-другой. (69) Действительно, вдруг одумаются да соединятся с крестьянами, как они соединены в фиктивной формуле о рабоче-крестьянской власти? Совсем не лишне было бы озлобить их друг против друга, столкнуть и разобщить. Инспирированный голод и крестовый поход за хлебом мог бы решить и эту проблему.

«Нужен крестовый поход рабочих (подчеркнуто нами. — В. С.) против дезорганизаторов и против укрывателей хлеба».

Значит, регулярной армии уже мало? Наряду с армией были брошены продотряды, составленные из рабочих Москвы и Петрограда. Не в том могло быть дело, что одной армии мало, а в том, чтобы вот именно столкнуть рабочих и крестьян. Это более вероятно. Надо представить себе все это, как приходят к рабочим агитаторы в кожаных куртках и внушают им, что голодают рабочие (и их семьи, детишки) исключительно по вине крестьян, прячущих хлеб. Какой ненавистью разгораются сердца рабочих. С какой яростью идут они в продотряды, чтобы насильно отнимать хлеб (а там тоже детишки), и какую ненависть со стороны крестьян вызывали эти насильственные действия.

«Каждая фабрика дает по одному человеку на каждые двадцать пять рабочих: запись изъявивших желание поступить в продовольственную армию производится фабрично-заводским комитетом, который составляет поименный список мобилизованных в двух экземплярах... реквизиция хлеба у кулаков — не грабеж, а революционный долг перед рабоче-крестьянскими (!) массами, борющимися за социализм».

«Сознательным отрядам СНК будет оказывать самую широкую помощь как деньгами, так и оружием».

Измученные инспирированным голодом и науськанные на мужиков, рабочие действовали с озверением, вызывающим встречное озверение. Не отставали и проинструктированные соответствующим образом отряды красноармейцев, преимущественно латышских стрелков.

«Мы знаем, что хлеб есть даже в губерниях, окружающих центр. И этот хлеб нужно взять. Отряды красноармейцев уходят из центра с самыми лучшими стремлениями (?), но иногда, прибыв на места, они поддаются соблазну грабежа и пьянства».

Эти отряды-то красноармейцев? Регулярные воинские части с комиссарами во главе? По-



видимому, на пьянство надо было свалить те дикие зверства, которые совершали продотряды тогда в деревне. Дальше, не отказываясь от этого зверства и так называя его своим именем, Владимир Ильич пытается оправдать его в глазах общественного мнения:

«В этом виновата четырехлетняя бойня, которая на долгое время посадила людей в окопы и заставила их, озверев, избивать друг друга. Озверение это наблюдается во всех странах(?). Пройдут годы, пока люди перестанут быть зверями и примут человеческий образ». Стр. 428.

Но жутью на меня повеяло даже не от этих слов об очевидных зверствах, которые нельзя было не признать даже вождю, а от одного ленинского пунктика из «Тезисов по текущему моменту». Это пунктик одиннадцатый.

«В случае, если признаки разложения отрядов будут угрожающе частые, возвращать, то есть сменять, «заболевшие» отряды через месяц на место, откуда они будут отправлены для отчета и «лечения».

Понимаете ли вы, мой возможный читатель, о каком заболевании и о каком лечении тут идет речь?

А речь тут идет о том, что не каждое русское сердце могло все же выдержать, глядя на бесчинства и кровавые зверства, которые прокатились тогда по деревням всей России. Видимо, некоторые люди в продотрядах проникались сочувствием к ограбленным и обрекаемым на голод крестьянам. Отряды, в которых заводились такие люди, и считались «заболевшими». И отправлялись, откуда были посланы «для отчета» и «лечения». Нетрудно догадаться о методах лечения и о лекарствах, которые их ждали.

Теперь остается сказать главное о продовольственной диктатуре, а именно сказать о том, на кого она распространялась, Владимир Ильич все время оперирует понятиями «кулаки», «деревенская буржуазия», но в одном месте он все же проговорился и таким образом поставил все точки над «и». Причем я не знаю, чего больше в этой его тираде — цинизма, ненависти и презрения к крестьянам или фанатизма, перерастающего в тупую и животную злобу. Речь пойдет о русском крестьянине, которому никто никогда не отказывал ни в уме, ни в смекалке, ни в живости характера, ни в чувстве собственного достоинства. Это о нем говорил аристократ Пушкин: «Посмотрите на русских крестьян, разве они похожи на рабов?» Это о русской крестьянке говорит Некрасов: «Есть женщины в русских селеньях... Посмотрит — рублем подарит... Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». Какие же слова нашел о русском крестьянине великий вождь всех трудящихся? Нам важно сейчас и это, но главным образом то, что Владимир Ильич откровенно наконец-то, единственный раз проговорился, против кого была направлена диктатура. Никаких кулаков, никакой деревенской буржуазии, все четко и ясно названо своим именем.

«Легко сказать: хлебная монополия, но надо подумать о том, что это значит. Это значит, что все излишки хлеба принадлежат государству. Это значит, что ни один пуд хлеба, который не надобен хозяйству крестьянина (а кто это решает? — В. С.), не надобен для поддержания его семьи и скота, не надобен для посева, — что всякий лишний пуд хлеба должен отбираться в руки государства. Надо, чтобы каждый лишний пуд хлеба был найден и привезен.

Откуда взять крестьянину сознание, которого сотни лет отупляли, которого грабили (но так еще никогда! — В. С.), заколачивали до тупоумия помещики и капиталисты, не давая ему никогда наесться досыта (а вот теперь решили накормить! — В. С.), — откуда ему взять сознание того, что такое хлебная монополия; откуда может взяться у десятков миллионов людей (не в кулаках, значит, дело! — В. С.), которых до сих пор питало государство только угнетением, только насилием, только чиновничьим разбоем и грабежом (да все же не бросало против него регулярных продовольственных армий! — В. С.), откуда взять понятие того, что такое рабоче-крестьянская власть (да уж! — В. С.), что хлеб, который является избыточным (и который во всем мире продается. — В. С.) и не перешедшим в руки государства, если он остается в руках владельца, так тот, кто его удерживает, — разбойник, эксплуататор, виновник мучительного голода рабочих Питера и Москвы? Откуда ему знать, когда его до сих пор держали в невежестве, когда в деревне его дело было только продавать хлеб, откуда ему взять это сознание?!

...Если вы будете называть трудовым крестьянином того, кто сотни пудов хлеба собрал своим трудом и даже без всякого наемного труда, а теперь видит, что может быть, что если он будет держать эти сотни пудов, то он может продать их не по шесть рублей, а дороже, такой крестьянин превращается в эксплуататора, хуже разбойника».

Вот теперь все по-ленински ясно. Все крестьяне, которые трудом вырастили хлеб и хотели бы его продавать, а не отдавать бесплатно, — все они разбойники. Не те разбойники, оказывается, кто с оружием в руках пришел в деревню отнимать хлеб, а те разбойники, кто не хочет его бесплатно отдать.

Но самое страшное во всей истории то, что продовольственная диктатура, как бы жестока и бесчеловечна она ни была, все же не являлась самоцелью, но являлась лишь иезуитским средством к более отдаленным и более обширным целям — держать в руках весь хлеб и распределять его по своему усмотрению.

«Потому что, распределяя его, мы будем господствовать над всеми областями труда». Стр. 449.

Точнее и короче, чем это сказал Ленин, сказать ничего нельзя.

И вот я думаю, ради чего, ради каких конечных целей, ради каких конечных звеньев, если размотать всю цепочку, это все делалось? Большевики завоевали Россию. Сошлемся опять на Ленина.

«Большевикам удалось сравнительно чрезвычайно легко решить задачу завоевания власти, как в столице, так и в главных промышленных центрах России. Но в провинции, в отдаленных от центра местах советской власти пришлось выдержать сопротивление, принимавшее военные формы и только теперь, по истечении более чем четырех месяцев со времени октябрьской революции, приходящие к концу. В настоящее время задача преодоления и подавления сопротивления в России окончена в своих гласных чертах. РОССИЯ ЗАВОЕВАНА БОЛЬШЕВИКАМИ».

Когда одна страна завоевывает другую, когда и Российская империя завоевывала Среднюю Азию, как там ее ни осуждай, ясна была цель, которой не скрывали и сами завоеватели. Многие манифесты (или какие там воззвания) так и начинались: «Стремясь к дальнейшему расширению пределов Российской империи...»

Итак, когда одна страна завоевывает другую и устанавливает там жестокий оккупационный,

режим, дабы подавить сопротивление населения и удержать эту завоеванную страну под своей властью, там преследуется хоть и неблагоприятная, но понятная цель: присоединить к метрополии завоеванную страну.

Но вот Россию завоевала группа, кучка людей. Эти люди тотчас ввели в стране жесточайший оккупационный режим, какого ни в какие века не знала история человечества. Этот режим они ввели, чтобы удержаться у власти. Подавлять все и вся и удержаться у власти. Они видели, что практически все население против них, кроме узкого слоя «передовых» рабочих, то есть нескольких десятых процента населения России, и все давили, резали, стреляли, морили голодом, насильничали как могли, чтобы удержать эту страну в своих руках. Зачем? Ради чего? С какой целью? Ради того, чтобы осуществить в завоеванной стране свои политические принципы. Всеобщий учет и контроль производимых продуктов, государственную монополию на все виды товаров и их распределение по своему усмотрению. И это было бы полбеда. Но из углубленного прочтения Ленина узнаем, что эти учет и распределение, в свою очередь, являются средством, а не целью. Средством к тому, чтобы осуществить всеобщую трудовую повинность в стране, то есть заставить людей принудительно трудиться, заставить их подчиняться воле одного человека, советского руководителя, диктатора, то есть средством к тому, чтобы все население страны превратить в единый послушный механизм.

«Организация учета, превращения всего государственного механизма в единую крупную машину, в хозяйственную организацию, работающую так, чтобы сотни миллионов людей руководствовались одним планом, — вот та гигантская организационная задача, которая легла на наши плечи».

Но тогда возникает вопрос — зачем? Хорошо, допустим, что у Ленина это объяснено.

«Если мы взяли все дело в руки одной большевистской партии, то мы брали его на себя, будучи убеждены, что революция зреет во всех странах и в конце концов, какие бы трудности мы ни переживали, какие бы поражения нам не были суждены, всемирная социалистическая революция придет».

«Наша отсталость двинула нас вперед, и мы погибнем, если не сумеем удержаться до тех пор, пока мы не встретим мощную поддержку со стороны восставших рабочих других стран».

«А пока там на Западе революция зреет, хотя она зреет теперь быстрее, чем вчера, наша задача только такая: мы, являющиеся отрядом, оказавшимся впереди, вопреки нашей слабости должны делать все, всякий шанс использовать, чтобы удержаться на завоеванных позициях, остаться на своем посту как социалистическому отряду, отколовшемуся в силу событий от рядов социалистической армии и вынужденному пережить, пока социалистическая революция в других странах подойдет на помощь».

«Мы не знаем, никто не знает, может быть, — это вполне возможно — она победит через несколько недель, даже через несколько дней, и когда она начнется, нас не будут мучить наши сомнения, не будет вопросов о революционной войне, а будет одно сплошное триумфальное шествие». Стр. 16.

Итак, допустим, что с недели на неделю ждали мировую революцию и тогда надеялись триумфальным шествием пройти по всему миру, хотя это предположение говорит больше не о гениальности, а о слепоте и фанатической тупости. Но опять возникает вопрос: ради чего, зачем и что принесет всем народам? Да то же самое: всеобщий учет, контроль за распределением продуктов. Всеобщую трудовую повинность. Подчинение миллионов (а тогда уже миллиардов бы) людей единому плану, единой воле, единому советскому руководителю с диктаторскими полномочиями. Зачем? Ради чего? Зачем живых, инициативных, самостоятельных людей превращать в единый, послушный, но зато безмозглый государственный механизм, весь подчиняющийся нажатую одной кнопки?

Допустим, что — банальная идея мирового господства, осуществленная не путем походов Юлия Цезаря, Александра Македонского или Наполеона, но путем хитрой отмычки так называемой классово-борьбы и натравливания в каждой стране одной части населения на другую. («Речь идет не о нашей борьбе с войском, а о борьбе одной части войска с другой». Ленин.) Допустим, что банальная идея мирового господства. Но для кого? Чье господство? Желание римского императора господствовать над миром чудовищно, но понятно, так же как любой другой могущественной нации. Но здесь-то чье господство? Неужели только свое? Или своей группы? Но ведь остается пять-шесть лет жизни, а затем — прогрессирующий паралич, и все. Ну, пусть Сталин потом господствовал тридцать лет, но все равно, неужели ради этого надо потрошить народы, истреблять физически лучшую часть каждого народа, морить его голодом, держать в тюрьмах и лагерях, загонять в колхозы, лишив земли, лишив заинтересованности в труде, не говоря уже о поэзии труда, о его радостях, хотя и сопряженных с тяжестью. Труд есть труд. Всякий труд тяжок и связан с потом. Но все же, когда он — трудовая повинность, он тяжок стократ.

А еще удивляюсь я, как им, если бы даже и с благими (как им, может, казалось) целями, как им не жалко было пускать на распыл, а фактически убить и сожрать на перепутье к своим высоким всемирным целям такую страну, какой была Россия, и такой народ, каким был русский народ? Может быть, и можно потом восстановить храмы и дворцы, вырастить леса, очистить реки, можно не пожалеть даже об опустошенных выеденных недрах, но невозможно восстановить уничтоженный генетический фонд народа, который только еще приходил в движение, только еще начинал раскрывать свои резервы, только еще расцветал. Никто и никогда не вернет народу его уничтоженного генетического фонда, ушедшего в хлюпающие грязью, поспешно вырытые рвы, куда положили десятки миллионов лучших по выбору, по генетическому именно отбору россиян. Чем больше будет проходить времени, тем больше будет сказываться на отечественной культуре зияющая брешь, эти перерубленные национальные корни, тем сильнее будет зарастать и захламляться отечественная нива чуждыми растениями, мелкотравчатой шушерой вместо поднебесных гигантов, о возможном росте и характере которых мы теперь не можем и гадать, потому что они не прорастут и не вырастут никогда, они погублены даже и не в зародышах, а в поколениях, которые бы еще только предшествовали им. Но вот не будут предшествовать, ибо убиты, расстреляны, уморены голодом, закопаны в землю. Феликс Чуев недавно сообщил мне, что еще при Хрущеве была жива в секретных архивах (а ему кто-то рассказал) запись разговора Владимира Ильича с Дзержинским.

— Что-то тихо, Феликс Эдмундович, не пора ли расстрелять человечков десять-пятнадцать по вашему выбору...

И гены уходят в землю, и через два-три десятилетия не рождаются и не формируются новые

Толстые, Мусоргские, Пушкины, Гоголи, Тургеневы, Аксаковы, Крыловы, Тютчевы, Феты, Пироговы, Некрасовы, Бородины, Римские-Корсаковы, Гумилевы, Цветаевы, Рахманиновы, Неждановы, Вернадские, Суриковы, Третьяковы, Нахимовы, Яблочкины, Тимирязевы, Докучаевы, Поленовы, Лобачевские, Станиславские и десятки и сотни им подобных. Списки можете продолжать сами...

Простое порабощение лишает народ цветения, полнокровного роста и духовной жизни и настоящее время. Геноцид, особенно такой тотальный, такой проводился в течение целых десятилетий в России, лишает народ цветения, полнокровной жизни и духовного роста в будущем, а особенно в отдаленном. Генетический урон невосполним, и это есть самое печальное последствие того явления, которое мы, захлебываясь от восторга, именуем Великой Октябрьской социалистической революцией. (70)

— Выводы, Владимир Алексеевич, выводы. Не вижу выводов.

— Какие вам еще выводы? Ленина разоблачаем, дальше уж ехать некуда.

— Туг-то и ехать. Теперь-то и ехать. Все поняв и все правильно оценив. Поняв, что Россия окончательно гибнет, надо ее спасти. Возродить. Стоишь на берегу реки и трезво оцениваешь, что человек тонет, причем не посторонний человек, а родная мать. Что толку в вашей оценке? Как должен поступать каждый, увидев, что его мать тонет, если он не последний подонок? Должен бросаться в воду и плыть на выручку.

Нельзя сказать, что мне и самому не приходило в голову со времени нашего знакомства с Кириллом, что действительно нужно ведь что-то делать. Но чувствовалась за Кириллом такая убежденность, такая широта и глубина понимания всего, что именно он-то, казалось, и должен знать, что теперь делать. Более того, я думал, что за ним стоит уже какая-нибудь организованная и сплоченная сила. Не с пуста же, не с бухты-бархаты эта четкость его позиций, его смелость, его целенаправленность. Не кустарь же он одиночка, да вот теперь еще и я с ним? Не попусту же через его «санпропускник» проходят бесконечным конвейером и денно и ночью люди, да все с хорошими русскими лицами, со светлыми косами, с ясными глазами. («Из недорезанных, Владимир Алексеевич, из недорезанных. Второе и третье поколение. Промываем песок, отбираем крупички золота. Алмазы, Владимир Алексеевич, алмазы!»).

— И вы самый крупный алмаз, — добавила недрогнувшим голосом Елизавета Сергеевна.

— Пусть так. Но если алмазы, то тебе и карты в руки собирать их в горсть. Не мне же, если я и не знаю еще почти никого из твоих алмазов. Я готов быть солдатом. Я жажду быть солдатом. Верным и самоотверженным, идущим до конца. Но где армия? Где сила, частицей которой я бы себя почувствовал? Или с меня-то все и должно начаться? Тогда зачем Кирилл с его системой отбора людей?

Да, я чувствовал, что Кирилл постепенно наталкивает меня на мысль о конкретных и практических действиях, но наталкивает очень осторожно, словно бы не веря еще. А было для него время, как я теперь понимаю, выводить меня на следующую ступень.

Надо сказать, что если на предыдущих ступенях я как-то очень быстро схватывал все на лету и очень скоро благодаря опыту и огромному количеству фактов, пропущенных через себя в предыдущие годы, мог бы образовать во многом и самого Кирилла, то эта следующая ступень давалась моим образователям с большим трудом. Они не нажимали, боясь отпугнуть, а так поначалу остороженько «запускали вошь в голову».

Было у нас в обиходе не очень изящное, но зато яркое и в общем-то точное выражение — «запустить вошь в голову». То есть подкинуть человеку мыслишку, приоткрыть занавеску и показать правду, а потом пусть уж он сам думает. Запустил вошь в голову и забыл о ней. Между тем человек вдруг начинает чесываться то в одном месте, то в другом. Он ходит, обедает, спит, смотрит телевизор, а дело делается. Смотришь, то в затылке почесал, то около поясицы.

Мне часто приходилось отмечать про себя моменты, когда вольно или невольно я именно «запускал людям вошь в голову», когда я видел воочию, как шире открываются у моего собеседника глаза, как все многочисленные колесики и шарики, вращающиеся в мозгу, вдруг спотыкались, словно о стенку. Вот он спорит, горячится, пылает огнем первых лет революции...

— Да ты пойми, — скажешь ему, — что это были за люди! Представь себе, что мы с тобой на их месте и наши товарищи с нами, ну, там Миша Алексеев, Ваня Стаднюк, Вася Федоров, Егор Исаев, Грибачев, Софронов, Толя Никонов, Гриша Коновалов, Борис Куликов, остальные наши товарищи. И представь себе, что мы в государстве захватили власть. В государстве, где все устоялось и откристаллизовывалось веками. И вот, не успев захватить власть (дорвались, называется!). Красная площадь уже называется «Грибачевской», Переделкино становится имени Стаднюка, Большой театр становится Софроновским, Саратов переименовывается в Алексеевск, Воронеж — в Егоро-Исаевск, а Таганка становится Никоновкой.

— Зачем же окарικатурировать?

— Какая тут карикатура, если в первые же дни революции Царское Село, летняя резиденция русских императоров, Царское Село, где жил и учился Пушкин, Царское Село, воспетое в поэзии и живописи, стало называться — как?

— Ну, я не знаю. Теперь-то это Пушкин.

— Оно стало называться: Детское имение товарища Урицкого.

— Не может быть! (Вот он — момент запуска вши в голову.)

— Это факт. А Дворцовая площадь в Петербурге?

— Не знаю.

— Тоже площадь Урицкого.

— А Воскресенская площадь в Москве перед Большим театром?

— Не знаю.

— Площадь Свердлова.

А там и пошло, и пошло. Володарки, Свердловки, Ленинки. Улицы, библиотеки, площади, театры, университеты, поселки, огромные древние города, и все своими, своими, своими, черт возьми, именами... Ну скажи на кого мы были бы похожи, если бы, захватив власть, дорвавшись до власти, ударились бы в вакханалию переименований и начали бы присваивать свои имена всему и направо и налево. Только по одной этой вакханалии переименований неужели нельзя увидеть, что за люди дорвались до власти?

Потом разговор мог перейти опять на рыбалку или на последнюю подборку стихов в журнале. Но

колесики уже завертелись, и не может быть, чтобы человек не стал время от времени почесываться то там, то тут. Разве что совсем без пульса, мертвяга.

Или вот в Бугуруслане. (71) Местные деятели повезли меня в Аксаково. По дороге заехали в бывшее имение Карамзиных. Карамзиными был посажен там большой отличный парк, нечто вроде Ботанического сада, из всех деревьев, растущих в Среднем Поволжье. Походили, посмотрели, как запущен теперь парк, насколько бесхозен и беспризорен.

— А что стало с домом Карамзиных?

— Его разгромили во время революции.

— Кто?

— Крестьяне.

— Зачем же?

— От гнева и ярости.

— Позвольте, за что же гнев? Ведь крепостными они давно уже не были?

— Им приходилось арендовать землю у Карамзиных. Значит, приходилось отдавать и часть урожая, десятую, а то и больше.

— Ну да. Теперь-то они совсем не отдают ни зерна. Все, что вырастет, оставляют себе.

Деятели знали, конечно, и раньше, что ни зерна теперь не оставляют колхозникам, все вывозится, но как-то не задумывался об этом, и теперь у деятеля останавливается взгляд, словно ударили его по голове.

А то еще в том же Бугуруслане — библиотека в доме купца Фадеева. В верхнем этаже, где жила купеческая семья, располагается горисполком, а внизу, где были магазин и склад, теперь библиотека с читальным залом вместо магазина и склада. Но опять спрошу — почему вместо, а не вместе?

Библиотекарши, любезные и внимательные к заезжему писателю, объясняют, где был склад, а где магазин.

— Видите, крючья вделаны в потолок? Действительно, вижу крючья по всему читальному залу. — При купце Фадееве висели на них говяжьи туши. А на тех, что поменьше, — бараньи.

И смотрит на меня просветленными глазами, ждя одобрения происходящему процессу: книги вместо говяжьих туш. Но я уж третий день в Бугуруслане и знаю, что почем. Поэтому я наивно спрашиваю:

— Как, в Бугуруслане было мясо? Висели целые туши? Говяжьи? Бараньи?

Библиотекарши хлопают своими глазками, переглядываются. Одна хихикнула, одна покраснела за неосторожность московского литератора: разве можно говорить такие вещи? А сами сопоставляют в уме, не могли же не сопоставлять то, что теперь в Бугуруслане днем с огнем ни в магазине, ни на базаре не только говяжьей туши (парной, конечно), но и мороженой, жилистой какой-нибудь ни килограмма купить нельзя. Нету.

Пошли дальше, но уверен, что теперь будут иногда повнимательнее взглядывать библиотекарши на крюки в читальном зале, будет у них почесываться то там, то тут.

А то еще музейный работник показывал мне этот же дом снаружи.

— Здесь располагался первый реввоенсовет. Возглавляли его Сокольский, Гофман, Зюзин, Пупко.

— Все здешние люди?

— Нет, все приезжие. Прислали их сверху. И, между прочим, с этого вот балкона пришлось им успокаивать разбушевавшуюся толпу.

— Как это было?

— Базарный день. Нашелся поп, который начал вводить людей в заблуждение. Кричал, что большевики скоро закроют все церкви. Толпа и хлынула прямо с базара к зданию ревкома.

— Уговорили их товарищи с балкона?

— Уговорили. Но, конечно, из двух окон выставили два пулемета. Тогда еще не было сознания у людей. Поддавались вражеской агитации.

Я помолчал, пока переваривал в себе эту сцену: бугурусланцы, прибежавшие с базара, и два пулемета, наведенные на них, а на балконе Сокольский с предстоящими. Как два архангела за плечами (вроде как Свердлов и Дзержинский у Ленина) — Гофман с Зюзиным. Власть, значит, важно захватить. И что же могут сделать мужики, даже если с оглоблями, против двух пулеметов? Ведь и трое могут держать в повиновении целый город и бесчинствовать в нем сколько душе угодно. Я помолчал, пока думал об этом, а потом тихонько врезал:

— Вы сказали, что поп вводил людей в заблуждение, но поп-то, выходит, был прав.

— То есть?

— Все церкви в Бугуруслане не только закрыты, но и уничтожены. Сами же показывали мне «Колесо обозрения» на месте собора. И остальные восемь церквей.

Спутница моя сделалась молчаливой после этого разговора. То ли опешила, то ли задумалась.

Да, так вот почувствовал я и сам, что в голове у меня постепенно начинает шевелиться и покусывать. Но конечно, на другом уровне, на следующей ступени.

Заговорили в какой-то связи о Зое Космодемьянской. О том, как поймали ее немцы. И как повесили на глазах у потрясенных и сочувствующих крестьян.

— Ваше поколение, Владимир Алексеевич, конечно, могло и не знать, но Зою Космодемьянскую поймали не немцы.

— Как же не немцы? А кто?

— Наши русские мужички.

— Не понимаю.

— Ты знаешь, что она делала в Петрищеве, какое у нее было задание?

— Ну, там... Конюшни немецкие какие-то поджигала.

— Вздор. Она поджигала обыкновенные крестьянские избы.

— Но это абсурд! Зачем?

— Для нарушения спокойствия в тылу у немцев, для создания беспорядка, недовольства и отчасти как наказание крестьянам за то, что мирно живут при немцах. А что же им было делать, если село захвачено? И вот представь себе: зима, мороз, а твою избу поджигает какая-то девчонка. Что ты с ней будешь делать? Мужики поймали поджигательницу и передали немцам. Немцы ее на глазах у всего села повесили. Разве ты не помнишь проскальзывающий мотив в этой истории: как Зоя лежит на лавке и просит пить, а старуха ей не дает. И тогда Зоя грозит старухе: «Погодите, придет Сталин, он

вам покажет...»

— Что-то такое было, но ведь я специально не изучал.

— Так и было.

— Выходит, крестьяне были настроены к немцам лучше, чем к Зое?

— Естественно. Немцы освободили их от колхозов, от большевиков, от советской власти, от дикого многолетнего произвола и насилия.

— И за это творили буквальное насилие над русскими девушками и женщинами?

— Не понимаю.

— Как же? Даже песня была: «Над чистой и гордой любовью моей немецкие псы надругались».

— За всю войну, Владимир Алексеевич, — вновь становясь серьезным и с откуда-то появившимся металлом в голосе отчеканил Кирилл, — немцами не было произведено ни одного насилия над женщинами, ни одного факта на всех наших фронтах.

— Не может быть, чепуха!

— Действовал строжайший приказ Гитлера: за насилие смерть на месте, расстрел. Ты сам понимаешь, что означал для немцев приказ Гитлера и как он исполнялся. Кроме того — зачем? Для офицеров у них были публичные дома, а солдатам делали время от времени специальные уколы.

— А как же — столько писали... Немцы — насильники...

— Надо было писать, чтобы разжечь ненависть. Возьми газеты того времени, посмотри, что писалось, например, о взятии немцами Ялты. Ворвались, начали хватать людей, стрельба, крики, повальные аресты. А Вергасов (уж он ли не крымский партизан!) однажды, когда разговорились искренне, в минуту, когда несмотря ни на что понимается сладость правды, мне вдруг сказал:

— Знаешь, как была взята Ялта на самом деле? Около большого платана остановились три немецких танка. Из них выскочили танкисты и побежали к воде купаться. На заборах вскоре появились объявления, что вечером в городском саду под военный оркестр будут танцы. Все.

Но, конечно, если бы во время танцев какой-нибудь смертник вроде Зои Космодемьянской бросил бы в оркестр гранату, наверное, немцы начали бы репрессии, обыски, облавы.

В нормальной же обстановке они вылавливали только людей двух категорий: евреев и коммунистов, то есть пытались освободить народ от тех, кто, как мы понимаем теперь, держит его вот уж столько лет под чудовищным гнетом. Помнишь, как там стишки у Павла Когана:

Жиды и коммунисты, шаг вперед!

Я выхожу. В меня стреляйте дважды.

Слово «стреляйте» Кирилл произнес с таким неподражаемым еврейским грассированием, что нельзя было не улыбнуться, несмотря на столь патетический момент.

— Ну вот. А ненависть надо было разжигать. Когда немцы заняли Киев, мы взорвали заранее заминированный древний величественный Успенский собор в Киево-Печерской лавре, дабы свалить этот взрыв на немцев и разжечь ненависть к ним у верующего населения. Нам-то собор разве жалко? Всего ведь за семь лет перед этим в Киеве взорвали златоверхий Михайловский монастырь четырнадцатого века с византийскими мозаиками и тысячи других соборов во всех городах России. Что нам собор?!

Напротив, куда приходили немцы, всюду тотчас открывались церкви, если, конечно, уцелели церковные здания.

— Да как же? Я был в Киеве, был в лавре. Экскурсовод объясняла людям, что собор взорвали именно немцы.

— Неужели она будет говорить теперь, что собор взорван нами самими? А схему узнаете? Это те же поджоги Зои Космодемьянской. Создать беспорядок в тылу, недовольство и возмущение. Так это еще что! Могу познакомить тебя с человеком, который точно знает следующие факты. Отряды Берия, переодетые в немецкую форму, высаживались десантом в горных аулах Северного Кавказа и начисто вырезали всех горцев, насиловали женщин, отрезали им груди, распарывали животы, всячески зверствовали. Таков был приказ. Чтобы возбудить ненависть горцев к немцам. К тем, кто шел освобождать их от прекрасной советской власти. Между прочим... Нет прямых указаний, потому что не осталось свидетелей, кроме одного запуганного, чудом спасшегося старика, да и тот, наверное, теперь уж умер. Но подозреваю, что и Хатынь сожжена тоже отрядами Берия. Уж очень похожий почерк. Никто ведь не видел, как жгли Хатынь. Не осталось свидетелей. Надо же так чисто сработать! И какой дальний получился прицел: до сих пор Хатынь вопиет, разжигает, возмущает и агитирует.

— А если бы немцы завевали нашу страну, что бы они с ней сделали?

— Они бы, вероятно, восстановили династию. Посадили бы на трон наследника, который живет сейчас в Испании, потомка Дома Романовых. Конечно, он был бы зависим от Берлина в какой-то степени. Может быть, на первых порах и в большой степени. Ну, как теперь зависят от Москвы Живков и Герек, Гусак и Кадар. Как зависел в какой-то степени от Берлина венгерский Хорти, румынский Антонеску, норвежский Квислинг, французский Петен.

— Но послушай... Как можно в таком тоне говорить о Гитлере? Ведь гестапо, СС...

— У каждого государства есть полиция, и поверь мне, это не санатории. Ты думаешь, если можно было бы измерить какой-нибудь мерой всю жестокость, которая была проявлена гестапо, и всю жестокость, которая была проявлена ЧК, ОГПУ, НКВД, МГБ, да, пожалуй, только одной ЧК, и потом сопоставить эти две цифры, как ты думаешь, какая цифра бы перевесила? Кроме того, мы сидим сейчас, разговариваем, Гитлера уже нет и гестапо нет, но все равно в эти минуты во многих точках земного шара пытаются и мучают людей. Только мы не слышим их криков и не чувствуем их страданий. Молчит о них и всемирная массовая информация. О гитлеровском гестапо она кричала. Вот мы и слышаны теперь и вздрагиваем при этом слове.

— Но вообще, как можно переоценивать эти ценности? Что же делать тогда с миллионами жертв Отечественной войны? Ведь они стояли насмерть, героически. Они сейчас встанут все и сотрут нас с тобой в порошок за подобные разговоры! Ты вспомни, сколько страданий и мук принял народ в последней войне!

— Соболезную, Владимир Алексеевич, плачу вместе с тобой. У меня у самого отец и мать, и вообще все родственники погибли в эту войну. Сам принял все муки, едва уцелел. Если бы подросел годами, сам оказался бы на фронте и, конечно, погиб бы по своему характеру, высунувшись вперед... Согласен, что чудеса героизма проявляли наши солдаты, что неправдоподобные муки принял наш народ, и все же буду стоять на своем: защищали бандита, людоеда и кровопийцу Сталина, защищали

самый жестокий и бесчеловечный режим.

— Защищали свою страну, свой дом.

— Ну да. В дом забрались разбойники, хозяев дома превратили в своих слуг, в работников, в рабов, сами процветают и руководят. Хозяйева как-то даже и привыкли к своему новому положению. Ладно, жить можно. Как-никак крыша над головой, как-никак харч, паек. А то, что лучшие горницы заняты, иконы из переднего угла повыброшены, могилы предков переворошены, работать приходится почти бесплатно, и все богатства неизвестно куда уходят — ладно. Живы — и слава Богу. И вот когда соседи идут прогнать и даже уничтожить наглых захватчиков, коренные обитатели вдруг вспоминают: дом-то все-таки наш! Давай защищать родной дом. А вместе с ним и разбойников. И проявляется неслыханный героизм при защите дома. И разбойники их подначивают на защиту уж тем самым, за что убивали лет двадцать назад. Вспомни, уж никто не кричал в Отечественную войну про мировую революцию, про интернационал, даже про коммунизм не кричали. А что кричали? За Родину, за Россию, за Отечество. Вспомнили слова, которые перед этим и употреблять было нельзя, за которые едва ли не в тюрьму сажали, да и сажали.

Ну, правда, кричали еще за Сталина. Ну, разве не дураки при всем героизме — миллионами гибнуть за одного человека. Да ладно бы за светоч какой-нибудь, за праведника, за благодетеля, а то ведь сами знаете, Владимир Алексеевич: он же убил миллионы крестьян в коллективизацию, он же уморил миллионы людей в Поволжье и на Украине, он же убил миллионы людей в лагерях, он же всячески притеснял, презирал, и за него же и гибли. А что презирал — это точно. И война была выиграна на презрении к людям, то есть к народу. Что не щадили в войне, так это людей. Он понимал: может не хватить стали, танков, пороха, хлеба, но людей-то в России хватит. И валили, валили под немецкий огонь, мостили трупами, пока в потоках крови не захлебнулись их автоматы и пулеметы. «Малой кровью» — пелось в довоенной песне. Тот же фикционализм. То есть за лозунгом ищи противоположное ему явление. Именно не жалея крови вели эту войну. А сзади заградотряды. Тоже, наверное, из любви к людям. Когда и оглянуться нельзя — свои же пулеметы и покосят. А всех пленных считать предателями, изменниками, врагами, и ежели попадут опять в руки — в сибирские лагеря. Тоже любовь к народу? И скажи, пожалуйста, почему это так получилось — сколько войн вела Россия, и с турками, и с теми же немцами, и с французами, и с японцами, и никогда за все века не было ни одного изменника? А тут вдруг эшелонами повезли изменников на Колыму, в Воркуту, в Казахстан? Это что же, от любви к людям, от доверия к ним? Нет, люди для него были только материалом. Миллионом больше, миллионом меньше, для него не имело никакого значения. И вот миллионы бегут на пулеметы с именем этого человека на устах. Разве не дураки? Разве, если он был умным человеком (а он им был), разве мог он не презирать этих людей? Он их и презирал. То есть не то, чтобы презирал, а просто не относился к ним как к живым людям, а вот именно как к историческому материалу.

Ну ладно, победили Гитлера, помешали ему установить на земле свой порядок. И к какому же порядку пришли? Вы посмотрите только, что делается во всем мире. Болезнь человечества выходит на финишную прямую. Всеобщее растление и бездушие охватило людей. В цивилизованных странах Европы на всех углах, даже в табачных киосках, продаются журналы, где на обложках женское лицо ярко обрызгано голубоватой мужской спермой. А внутри журнала даже уже не порнография, а просто гинекология. За пять долларов люди смотрят совокупление, демонстрирующееся на сцене. Порнографический кинематограф перехлестнул все границы. Я сам видел крупным планом, как женщина онанирует бананом, а потом этот банан пожирает. И это с больших экранов, открыто, нагло. Всячески поощряется и рекламируется при помощи средств массовой информации гомосексуализм и лесбийская любовь. Они тоже обыкновенны на всех экранах мира. Наркомания принимает угрожающие размеры, особенно среди молодежи...

Да разве Гитлер потерпел бы на земном шаре хоть одного гомика, хоть одного наркомана, хоть один порнографический фильм? Я помню, как мы с Левкой Гинзбургом зашли в Мюнхене (в ФРГ) в ночной молодежный клуб. Содом и Гоморра.

— Размывается немецкий народ, размывается народ, этот нам уже не страшен! — не стесняясь меня и только чуть ли не потирая руки, говорил Левка.

— А что было бы, если бы такой бедлам и при Гитлере? — спросил я у него.

— Хм! Сейчас пришли бы два штурмовика в униформе...

Конечно, Гитлер стремился к мировому господству, и в случае победы его влияние на все государства было бы безусловным. Но лучше было бы зависеть от немцев, чем от мирового зла, как это происходит теперь и как это произойдет скоро в полной степени. Поверьте, Владимир Алексеевич (иногда, в наиболее патетические моменты, Кирилл переходил на «вы»), — когда они осуществят задуманное ими полное покорение человечества, немцы с их порядками, включая и гестапо, покажутся голубой идиллией, детской игрой, как, например, кажутся нам фугаски и зажигалки по сравнению с теперешними атомными бомбами и напалмом. Уже и сейчас лагеря для арабов, если бы в них кто-нибудь мог заглянуть, дали бы очко вперед немецким лагерям, как давали им сто очков вперед Соловки и другие пункты геноцида в России.

Потом же, когда встанет вопрос об истреблении большей части человечества...

— Как истребления? Какого человечества?

— Очень просто. Человечество — это очень просто. Все человечество — это сто пятьдесят миллионов тонн. В кубический километр пространства можно утрамбовать шесть человечеств. Вот в России истребили семьдесят миллионов человек, а где они? Вовсе и не заметно. Если все человечество высыпать в озеро Иссык-Куль, вода поднимается метра на два, не больше. Это мы — романтики, а у них цифры, как правильно заметил твой кореш Сельвинский.

— Бред какой-то. Не может быть.

— Надо знать тайну времени. Тогда любое политическое событие станет ясным, как Божий день. У меня теперь формула вместо «шерше ля фам» — «шерше лё жуив». То есть — ищи еврея. Кеннеди укокошили? Двадцать версий? Загадка века? Нет — шерше лё жуив. Кеннеди категорически высказался против военной помощи Израилю и вообще против обострения военной обстановки в этом районе. Он не хотел давать санкции на развязывание войны с арабами. Он не хотел, чтобы огромные Соединенные Штаты Америки превратились в послушную марионетку. Когда убедились, что Кеннеди непоколебим, они его немедленно укокошили. Во-первых, устранили помеху. Во-вторых, дали пример всем будущим президентам США. И теперь Америка в их руках. Любое их требование

удовлетворяется незамедлительно. Никсон попробовал слегка воспротивиться, слегка, заметьте, как тотчас был ошельмован и выгнан из Белого дома.

Я рассмеялся. Уж очень забавной показалась мне ситуация. Соединенные Штаты Америки на службе у Израиля (72), который на карте можно закрыть пяточком, зажать одним пальцем. Я высказал Кириллу причину своего смеха.

— Ошибаетесь, Владимир Алексеевич, Израиль не накрыть не только пяточком, но и всей картой мира. Израиль — это болезнь всего человечества, это рак крови. Болезнь началась давно, еще в древности, а теперь выходит на финишную прямую.

— Но в чем же болезнь? И в чем вообще этот пресловутый еврейский вопрос?

— Я не знаю, откуда это пошло, кто из древних еврейских мудрецов сформулировал основные законы жизни и поведения евреев на все будущие времена и каким образом эти законы развились в религиозные догмы. Кто-то внушил им с самого начала, что они народ особенный, единственный на земле, а все остальные народы — лишь среда для их жизни и развития, лишь организм, на котором или в котором евреи должны паразитировать. Ты только представь себе: все религии мира твердят с небольшими вариациями — «люби ближнего, не убей, не укради, все люди братья». И только одна религия из всех человеческих религий твердит евреям: отними, презирай, покори, заставь служить себе, уничтожь. Деньги, находящиеся не у евреев, это твои деньги, они только временно находятся в других руках, поэтому при первой возможности отбери любыми средствами.

Да... Так вот, деньги. С них-то все и началось. Небольшое восточное племя, внушив себе, что оно выше других всех народов (а это и есть расизм!), не могло, конечно, рассчитывать на прямую силу. Как оно могло бы подчинить себе весь остальной многонаселенный и безбрежный мир? Кто-то из древних мудрецов научил свою народность, что к этому есть два средства, вернее, одно двойное: рассеяние и деньги. А точнее, золото.

Расселившись среди многих ничего не подозревающих народов и начав паразитировать на этих народах, евреи оставили себе одно только занятие — собирать деньги, высасывать, выкачивать по крупинке и сосредоточивать их в своих руках. Вспомним, как ярко и коротко описан этот процесс у Гоголя в «Тарасе Бульбе»:

«Этот жид был известный Янкель. Он уже очутился тут арендатором и корчмарем; прибрал понемногу всех окружных панов и шляхтичей в свои руки, высосал понемногу почти все деньги и сильно означил свое жидовское присутствие в той стране. На расстоянии трех миль во все стороны не осталось ни одной избы в порядке: все валилось и дряхло, все поразбивалось, и остались бедность и лохмотья: как после пожара или чумы выветрился весь край. И если бы десять лет пожил там Янкель, то он, вероятно, выветрил бы и все воеводство».

Таких Янкелей были не единицы, а все-таки миллионы, и рассеялись они по всему миру, по всем государствам. Первыми способами для самого первоначального накопления оказались ростовщичество и торговля. Гоголя можно заподозрить в пристрастии, необъективности и даже антисемитизме. Украинец по происхождению, православный по духу, русский монархист по убеждениям — что от него ожидать? Но вот берем выписку из современной книжицы Сесиль Рот «История евреев с древнейших времен по шестидневную войну» (с английского). Книга написана с явной симпатией к евреям и, очевидно, евреем. Выписываем:

«Имелся один незаменимый вид экономической деятельности, о котором средневековое общество не позаботилось. Финансист, банкир или ростовщик (все эти термины фактически являются синонимами) необходим в любую эпоху, в каждом государстве, в котором господствует денежное хозяйство... В некоторых странах евреи были единственными капиталистами. Какое бы крупное дело ни начиналось, приходилось прибегать к услугам евреев. Их помощь была незаменима в двух основных занятиях — войне и строительстве. Даже церковные организации прибегали к их помощи в любом важном деле... Расцвет еврейского господства в финансовом мире начинался с XII века. Евреи представляли как бы губку, вбирающую в себя плавающий поверху капитал королевства. Простой народ с завистью следил за тем, как евреи быстро накапливали капитал, как деньги, принадлежавшие ему, нескончаемым потоком текли через еврейские сундуки в королевскую казну. Ненависть простого люда росла, пока он не обрушивал ее под тем или иным предлогом на еврейские кварталы... В тот период, когда подавляющее большинство европейцев было неграмотно, у евреев религиозным догматом считалось всеобщее образование. В каждой стране, куда проникали евреи, возникали традиционные школы, в которых изворотливые финансисты превращались в проницательных ученых, в то время как их клиенты пьянствовали в своих замках. Таким образом, постепенно, с юных лет, занятия сложной талмудистской диалектикой поколение за поколением оттачивали еврейский ум».

Значит, из Янкелей, высасывающих золотишко (то есть кровь и пот) из окрестного населения при помощи мелкого ростовщичества и корчмы, постепенно получались крупные воротилы, фабриканты, заводчики, банкиры, Ротшильды. А так как евреи не пахали, не сеяли и вообще не занимались никакой полезной производительной деятельностью, то деньги у них ниоткуда не могли взяться, кроме как были высосаны из местного населения, а с укрупнением масштаба - из той или иной страны.

Деньги, сосредоточенные в большом количестве в одних руках и вообще в одном месте, можно превратить во что угодно: в грандиозные соборы, в Версали, в прогулочные яхты, в фешенебельные отели, в изысканных любовниц, в железные дороги, в министров, в лордов, в баронов, в президентов, в премьер-министров, в войну, в революцию...

Вернемся к двум строкам из Сесиль Рот: «...как деньги, когда-то принадлежавшие ему, нескончаемым потоком текли через еврейские сундуки в королевскую казну. Ненависть простого люда росла, пока он не обрушивал ее под тем или иным предлогом...»

Сесиль Рот поясняет в своей книге, что короли более или менее охотно терпели евреев у себя в государстве, потому что отбирали у них часть денег, и это было удобно. Евреи высасывали деньги у народа, а короли брали у евреев. И народ поэтому обрушивал на евреев свою ненависть. Но здесь возникают три неизбежных вывода. Во-первых, евреи, когда набрали уже силу и начали господствовать, по словам Сесиль Рот, в финансовом мире, этим евреям могло надоест отдавать деньги королям. Во вторых, евреям, сосредоточившим огромные деньги (значительно большие, чем в королевской казне), могло надоест формальное неравноправие, все эти еврейские кварталы, необходимость креститься, то есть хотя бы и неискренне и временно отказываться от своей религии и вообще терпеть всяческие ущемления и гонения, о чем написано множество книг и что нет нужды пережевывать. В-третьих, если евреям, сосредоточившим в своих руках огромные деньги и

господствовавшим в финансовом мире, стали мешать короли и надоели ограничения и если народ обрушивал на них свой гнев за отобранные деньги, то им очень нетрудно было стихию гнева, направленную и обрушивающуюся на них, переадресовать королям. Этим убивалось сразу два зайца. Убирались короли, которые отбирали у евреев часть денег, и достигалось равноправие. Тем легче было направить народный гнев по нужному им руслу (на королей и на элиту той или иной нации, окружающую короля и управляющую государством), что постепенно в руках евреев, благодаря деньгам опять же, но и благодаря идейной целеустремленности, оказались все средства массовой информации, организующие общественное мнение, начиная с газет и книг, кончая анекдотами и досужими слухами.

В самом деле, обидно, когда у тебя в руках все деньги (большая часть денег, обращающихся в данной стране) и когда ты являешься фактическим хозяином положения и без тебя (без твоих денег) никто не может ступить шагу, обидно, когда все же формально хозяином положения являются король и служащее ему дворянство, какая-то там аристократия, голубая кровь с пустым карманами. У них все привилегии, у них почет, ордена, титулы, гербы, государственные должности, блестящие балы, а ты хоть и хозяин положения, считаешься инородцем да и просто жидом, ограниченным во всех правах. В лучшем случае тебя назовут буржуа. Конечно, отдельные личности умели во все времена докарабкаться до самого верха, как премьер-министр Дизраэли в Англии, например. (73) Но речь идет о еврее массовом, о еврее как таковом. Значит, надо отобрать власть у короля и аристократии и передать ее так называемым буржуа, надо на время уравнивать всех в государстве, аристократию желательнее уничтожить. А потом среди уравненных на высоте неизбежно окажется тот, у кого больше денег. Это ясно как божий день, как дважды два.

Они не могли, естественно, привнести в массы лозунг: «Свобода и равенство евреям, братство всех народов с евреями». Массы на это, возможно, и не пошли бы. Но если просто свобода, равенство и братство, то все в порядке. Если все будут равны, то равны будут и евреи. Равны-то равны, но денежки все равно останутся в их руках. Из народа они все равно будут деньги высасывать, не будет только королей и вообще государственных институтов, которые бы эти деньги хотя бы частично отбирали у них и хотя бы частично в чем-нибудь их ограничивали.

Сесиль Рот не говорит прямо, что все социальные и так называемые буржуазные революции в Европе были инспирированы, финансировались и осуществлялись евреями путем направления народного гнева по выгодному евреям адресу, но это легко читается между строк. Да есть и довольно прямые заявления Сесиль Рот.

«В результате французской революции естественным следствием декларации прав человека и гражданина явилось предоставление евреям тех же прав, что и всем прочим гражданам». «Евреи во всей Германии активно участвовали в революционных волнениях 1848 года, веря, что революционный успех принесет им полную эмансипацию. Одно государство за другим принимали либеральные конституции, и всюду в кодексы включался пункт, устраняющий ограниченность евреев».

Сказано мягко и частично. Евреи не просто активно участвовали в революциях, но являлись их возбудителями, финансировали их, подготавливали к ним слепые народные массы путем обработки общественного мнения. Короче говоря, во время всех революций, когда по Парижу гремели телеги, нагруженные, как арбузами, головами лучших французов (сотен тысяч французов, убитых без суда и следствия, ибо виноватых не было, но надо просто убрать верхушку нации, снять с нее голову), когда кровь немцев заливала немецкую землю, кровь англичан — английскую, а кровь русских — русскую, одни евреи во время всех этих революций знали, что происходит и зачем происходит. Они одни твердо и точно знали, что надо делать.

Но революция позади. Повсюду свобода и равенство (отнюдь не братство). В руках маленького восточного племени, составляющего, вероятно, меньше, чем одну сотую часть человечества, то есть менее одного процента, сосредоточено восемьдесят процентов всех денег, точнее сказать, всего капитала, которым располагает человечество. Под прямой зависимостью или косвенным влиянием находятся все газеты, все радиостанции, все телевидение, вся медицина, вся наука, вся музыка, вся кинематография, а вместе с тем и вся политика на земном шаре.

Вот я открываю вам, Владимир Алексеевич, тайну времени. Многие думают, что на земном шаре происходит борьба классов, борьба философий и идей. Нет! На земном шаре происходит только одна борьба: последовательная, многовековая борьба евреев за мировое господство. Другое дело, что они используют в этой борьбе и философию, и искусство, и все возможные средства, а классовая теория — это их отмычка к любому народу. Всюду и везде есть бедные, недовольные, неудачники, малоимущие, а то и вовсе неимущие. Всегда их можно настроить и натравить на основу нации, на ее лучшую часть. У него есть, а у тебя нет. У него больше, а у тебя меньше. Несправедливо. Иди и отними, ты что, хуже? Перефразируя Ленина, но отнюдь не искажая смысла его фразы, можно сказать так: речь идет не о борьбе с нацией, с народом, а о борьбе одной части народа с другой.

— По неужели об этом никто не догадался за все века? — наивно спросил я у Кириллы.

— Да ты Достоевского-то читал или нет? — удивился Кирилл.

— Читал... «Братья Карамазовы», «Преступление и наказание», «Бесы»...

— Лисенок, подкинь-ка мне Достоевского. Открой в «Дневнике писателя» нужное место.

Через минуту я уже читал, не веря своим глазам. Может быть, я и раньше читал эти страницы, но как-то не затрагивали они меня. Я сказал об этом Кириллу, а он ответил:

— Не знал тайны времени. Итак, я читал.

«...Наверное, нет в целом мире другого народа, который бы столько жаловался на судьбу свою... Подумаешь, не они царят в Европе, не они управляют там биржами хотя бы только, а стало быть, и политикой, внутренними делами, нравственностью государств».

«Я готов поверить, что лорд Бакконсфильд (Дизраэли) сам, может быть, забыл о своем происхождении когда-то от испанских жидов (наверное, однако, не забыл), но что он руководил английской консервативной политикой за последний год отчасти с точки зрения жида, в этом, по моему, нельзя сомневаться».

«Помещики хоть и сильно эксплуатировали людей, но все же старались не разорять своих крестьян, пожалуй, для себя же, чтобы не истощать рабочей силы. А евреям до истощения русской силы дела нет. Взял свое и ушел».

«Мне иногда входила в голову фантазия: ну что если бы это не евреев было в России три миллиона, а русских, а евреев было бы восемьдесят миллионов — ну во что бы обратились у них



русские и как бы они их третировали? Дали бы они им сравниться в правах? Дали бы им молиться среди них свободно? Не обратили бы прямо в рабов? Хуже того: не содрали бы кожу совсем? Не избили бы до окончательного истребления, как делали они с чужими народами в старину, в древнюю свою историю?»

«Отчужденность и отчужденность на степени религиозного догмата, неслиянность, вера в то, что в мире существует лишь одна народная личность — Еврей, а другие хоть и есть, но все равно нужно считать, что их как бы и не существовало. «Выйди из народов и составь свою особь и знай, что с сих пор ты един у бога, остальных истреби или в рабов обрати, или эксплуатируй. Верь в победу над всем миром, верь, что все покорится тебе. Строго всем гнушайся и ни с кем в быту своем не общайся и даже когда лишишься земли своей, даже когда рассеян будешь по лицу всей земли, между всеми народами, — все равно верь всему, что тебе обещано, все сбудется, а пока живи, гнушайся и эксплуатируй, и ожидай, ожидай».

«Еще в детстве я читал и слышал про евреев легенду о том, что они, де, и теперь неуклонно ждут Мессию, что Мессия соберет их опять в Иерусалиме и низложит все народы мечом своим к его подножию, что потому, де, евреи, по крайней мере в большинстве своем, предпочитают одну профессию — торг золотом и много что обработку его, а это все будто бы для того, чтобы не иметь нового отечества, не быть прикрепленным к земле иноземцев, обладая ею, а иметь все с собой лишь в золоте и драгоценностях, чтобы удобнее их унести».

«Еврей, где ни поселялся, там еще пуще унижался и развращался народ, там еще больше прикидало человечество, еще больше падал уровень образования, еще отвратительнее распространялась безвыходная, бесчеловечная бедность, а с ними и отчаяние. В окраинах наших спросите коренное население, что двигает евреем и что двигало им столько веков? Получите единогласный ответ: безжалостность. Двигали им столько веков одна лишь безжалостность к нам и одна только жажда напиться нашим потом и кровью».

«Недаром же они движут капиталами, недаром же они властители кредита и недаром, повторяю, они же властители и всей международной политики... Близится их царство, полное царство! Наступает вполне торжество их идей, перед которыми никнут чувства человеколюбия, жажда правды, чувства христианские, национальные и даже народной гордости европейских народов. Наступает, напротив, материализм, слепая, плотоядная жажда личного материального обогащения, жажда личного накопления денег всеми средствами, — вот все, что признано за высшую цель, за разумное, за свободу вместо христианской идеи спасения лишь посредством теснейшего нравственного и братского единения людей».

«Верхушка евреев воцаряется над человечеством все сильнее и тверже и стремится дать миру свой облик и свою суть».

«В новой нравственной основе социализма (который, однако, не указал до сих пор ни единой, кроме гнусных извращений, природы и здравого смысла), он верил до безумия. — Но как социалисту ему прежде всего следовало низложить христианство; он знал, что революция непременно должна начаться с атеизма. Ему надо было низложить ту религию, из которой вышли нравственные основания отрицаемого им общества. Семейство, собственность, нравственную ответственность личности он отрицал радикально».

— Достоевский был гений! — подхватил Кирилл, едва я кончил читать. — Он понимал, что евреи в своей борьбе главный упор делают на разложение народов с нравственной стороны, со стороны традиций, устоев, семьи, религии. Это вроде как (я где-то читал, у Фабра, наверное) черви, питающиеся трупами погибших животных, не просто пожирают дохлое мясо и кожу, но сначала умеют разжижить их. Фабр это называет приготовлением бульона. Так вот, черви сначала готовят бульон, а потом уж им и питаются. Точно так же поступают и эти. Привнести идею, что нет ничего святого, что все дозволено, высмеять чистые чувства, трогательные движения души и сердца, привести дело к тому, чтобы катастрофически распадались семьи, чтобы люди блудили и богохульствовали, отнять у них святость очага, заставить их плевать в сторону предков, лишиться их корней национального самосознания, смешать народ во всеобщий интернациональный винегрет... Одним словом, приготовить удобоваримый и легкоусваиваемый бульон... Проследите по всей обозреваемой нами истории, начиная со средних веков, а может, и еще раньше, и вы заметите, что во все времена и у всех народов существовали два понятия: прогрессивное и реакционное. Так вот, нетрудно заметить, что во все времена и у всех народов прогрессивным почиталось то, и только то, что лило воду на мельницу евреев, а реакционным называлось то, и только то, что действовало прямо или косвенно против них. Такое уж они стремились создать общественное мнение. Попробуйте приложить эту меру к любому историческому явлению, уже оцененному по этой шкале. Все, что подпихивало государственные устои народов, все, что расшатывало народы, разжижало и ослабляло их, разлагало в конечном итоге, — все прогрессивно. Все, что укрепляет и сплачивает народы, цементирует их, делает более устойчивыми и сопротивляемыми, все, что усиливает национальный дух, — все это консервативно и реакционно. Поклоняешься делам своих предков, гордишься ими, воспеваешь свой народ и его устоявшиеся за века святыни — смешон, отстал и глуп. Плюешь на святыни, хихикаешь, оглядываясь на них, отрекаешься от них, злословишь, расшатываешь — умница и герой. Тотчас вся пресса, в свою очередь, пытается очернить и низвести первое и возвеличить второе. У них даже есть термин «размыть народ». Они говорят, например, про французов, про англичан: ну, это народ уже размытый, этот народ нам не страшен!

— Но в чем же выход, спасение?

— Поздно, Владимир Алексеевич, боюсь, что поздно. Гитлер называл себя последним шансом Европы и человечества.

— Опять — Гитлер! Гитлер — фашист!

— Конечно. Высшая степень реакционности, потому что высшая степень противодействия евреям. Для вирусов, губящих человеческий организм, сильный антибиотик — это тоже фашизм, как и дезинфицирующие, опрыскивающие средства против гусениц, напавших на живое дерево и пожирающих его листья. Ты знаешь, с чего начал Гитлер?

— С чего?

— Первым делом он очистил от евреев все до одной газеты. Ну, и радио, конечно... Потом он посадил всех абстракционистов, то есть разлагателей человеческих ценностей со стороны искусства, приготовителей бульона со стороны живописи. Затем он посадил всех гомосексуалистов. Семья,

нравственность, национальное самосознание были поставлены во главу угла. Даже в нелепом телефильме со Штирлицем Юлиана Семенова (Лямсберга) можно заметить, что характеристики государственных деятелей Германии начинаются фразой — «Прекрасный семьянин».

Строго говоря, Гитлер и его движение возникло как реакция на разгул еврейской экспансии, как сила противодействия. Дальше медлить было нельзя. И так уж дело дошло до края, до пропасти, когда появился Гитлер, который называл себя последним шансом Европы и человечества. Это была судорога человечества, осознавшего, что его пожирают черви, и попытавшегося стряхнуть их с себя...

А теперь уже поздно. Теперь уже — рак крови. Парадоксально, что идеи побежденного Гитлера воспринял было Сталин, который собирался решать еврейский вопрос. Дело в том, что он все равно не мог бы его решить за пределами своего государства. Что из того, что он даже и физически уничтожил бы евреев на территории СССР. Это не изменило бы общей картины, общего соотношения сил на земном шаре. А добраться до Америки, Франции, Англии у него руки все равно были коротки. Добраться до них мог бы только Гитлер в союзе с Италией, Японией, остальной Европой, да еще если бы мы, дураки, вместо того, чтобы воевать с ним... Между прочим, Сталин поверил в такой союз, он поверил приглашению Гитлера совместно решать основной вопрос человечества. Но Гитлер в этом приглашении был неискренен. Он надеялся, что в союзе с ним в результате молниеносной войны окажется не СССР, а Россия уже без Сталина, без большевиков.

Теперь же — оглянись вокруг... Видишь ты хоть одну личность, хоть одно государство, которое могло бы прийти на помощь человечеству и вылечить его от этой страшной болезни. Все политические деятели — мелочь и шушера... А как евреи потирали руки, когда удалось им свалить Гитлера, удалось победить ту железную, организованную и целенаправленную силу. Они победили ее, как всегда, чужими руками и чужой кровью, главным образом опять же российской. Наверное, ты знаешь, что американцы в той войне потеряли двести пятьдесят тысяч человек, англичане около трехсот, немцы четыре с половиной миллиона, а наши сорок четыре по незаниженным цифрам. Не знаю, сколько погибло японцев и итальянцев, наверное, тоже немало, но те хоть отстаивали свою идею, причем конкретную идею, а нас гнали в огонь против железных рыцарей, идущих нас же, дураков, вызволять из беды...

Но теперь уже поздно. Я не вижу на земном шаре силы, личности, которая могла бы спасти положение. Евреи это знают и ничего уже не боятся. Они делают что хотят. Они немного побаиваются китайцев. Но самую малость. Уж если удалось сломить Гитлера... К тому же продолжает существовать Советский Союз. Я думаю, следующий ход в шахматной партии будет такой: нас, то есть Советский Союз, стравят с Китаем. Они это делают. Недаром Киссинджер уже ездит и лично тайно шушукается с Мао Цзедунем. Если они видят в Китае силу, они попытаются ее уничтожить. А чем? А как? Столкнуть два огромных государства. Тогда они долго будут глядеть со стороны, как мы истребляем друг друга, и в конце концов помогут, возможно, нам. Но помогут, когда мы потеряем миллионов шестьдесят, да и китайцы миллионов сто двадцать. Помогут они нам не потому, что любят нас больше, а потому, что с нами все же, как с людьми белыми, легче потом иметь дело. Тогда их торжество будет окончательным и полным.

— Но ты говорил об истреблении человечества: сто пятьдесят миллионов тонн... Зачем же им это, если они и без того хозяева положения?

Во-первых, каков бы ты ни был хозяин над сотней человек, всегда будешь думать, как бы эта сотня не взбунтовалась и тебя одного, одумавшись, не свергла и не убила. Ведь сотня против одного. А к концу века и подавно будет две сотни. Численность человечества удвоится, но отнюдь не за счет евреев.

Во-вторых, уже сейчас ясно, что на земном шаре возникла тяжелая проблема, связанная с перенаселенностью, с теснотой и с загрязнением среды. Добьешься победы, а жить к этому времени на земном шаре будет уже неудобно, а то и невозможно. У них есть планы. Добившись полного господства над человечеством, уничтожить большую его часть, оставив лишь столько, сколько нужно будет для обслуживания их и для поддержания земного шара в чистоте и порядке.

— Но ведь и эту оставленную часть придется как-нибудь держать в подчинении?

— Да, они сейчас усиленно ищут радикальные средства подавления и даже изменения по произволу человеческой психики, человеческой личности. Изыскания идут по двум путям. Первый путь — механического воздействия на мозг, второй путь — воздействия на гены. Да вот, посмотри статью о первом пути и убедись, что они об этом серьезно думают.

Кирилл тотчас дал мне в руки номер «Литературной газеты», который я, наверное, же читал или по крайней мере просматривал, но читал и просматривал другими еще глазами, не посвященный еще в тайну времени.

— Вот, что ты скажешь об этой картинке? Я точно вспомнил, что картинку эту я видел в «Литературной газете». Но как я мог не увидеть ее в настоящем, подлинном свете?

Два ученых или врача в белых халатах, в хирургических масках и перчатках манипулируют над третьим, сидящим неподвижно. На голове у бедолаги установлен некий измерительный прибор с вмонтированным в него шприцем, для того, значит, чтобы уколоть в нужную точку мозга. Один врач (палач?) крутит винтик на приборе, другой нажимает на шприц. Подпись... Ну как я мог раньше не обратить внимание на подпись? Подпись была: «Инъекция покорности». Рисунок из брошюры, изданной в штате Нью-Мексико «Союзом гражданских свобод».

— Вот, читай, читай, — тыкал Кирилл пальцем в подчеркнутые уже абзацы.

Но я сначала окинул взглядом заголовки этой страницы. Общий заголовок гласил: «Не станет ли скальпель орудием подавления?» Сперва статья профессора К. Майера, американского еврея, а слева статья профессора Басина, еврея советского.

— Читай, читай, — тормозил меня мой учитель и просветитель.

«Существует три основных способа подавления агрессивности.

Можно обратиться к хирургам. Легко превратить дикую кошку в послушное и дружелюбное животное, удалив очень маленький участок миндалевидного ядра. Х. Бургер показал, что нанесение небольшого повреждения в соответствующем участке головного мозга уменьшает агрессивность на восемьдесят процентов у патологически агрессивно настроенных пациентов.

Мы также можем контролировать агрессию воздействием на некоторые эндокринные механизмы.

Наконец, можно контролировать агрессию посредством электрического возбуждения нейросистемы, которая гасит агрессивность и гнев. Вживление электродов в мозг пациента и

подсоединение этих электродов к радиоприемнику не является больше научной фантазией. У нас есть миниатюрные приемники, которые могут вживляться под кожу головы. Пациент не замечает признаков внешнего воздействия, но он получает по радио электрический импульс, снижающий враждебность... Серьезные этические проблемы должны быть разрешены до того, как мы перейдем от стадии экспериментов к практической работе».

— Но, может быть, речь идет об отдельных больных, о буйнопомешанных, — поднял я глаза на Кирилла с надеждой, ибо мое сознание отказывалось верить прочитанному.

— А ты читай следующую фразу. Вот, смотри. «Если мы не найдем правильного решения проблемы, современная технология разрушения может решить наши проблемы за нас».

Значит, речь идет не об отдельных больных. Да вот тут так и написано: «Агрессивное поведение является основной проблемой человечества».

Глаза мои бегали по страницам, натываясь на поразительные сентенции.

«Профессор Х. Дельгадо сознает, что опасность уничтожения человеческой индивидуальности в результате медицинского вмешательства или, что еще хуже, возможность целенаправленного управления личностью многие считают более ужасной угрозой чем всемирная ядерная катастрофа».

«Идея жестокого диктатора, который стоит у центрального пульта и производит раздражение глубинных структур мозга целой массы безнадежно поработанных людей...». (74)

— Так что, Владимир Алексеевич, все очень просто и очень реально. Не является больше областью фантазии. Но сейчас и этот путь кажется им не столь радикальным.

Они пробуют докопаться до хромосом, до генов. Когда найдутся пути влияния на гены, они превратят оставленную ими часть человечества в покорных животных вроде домашнего скота. Коровы не бунтуют же и не пытаются выйти из повиновения человека. Ты почитай, почитай современные статьи по генетике. Там такие перспективы...

— Но сами-то они чем и как объединены? Живут в разных странах, рассеяны, неужели такая организация?

— Есть организация и в прямом смысле этого слова — единый мозговой трест, единый пульт управления. Есть организации подсобные, вроде Лиги защиты евреев. Но самое главное — это их косвенная организованность. Каждый из них несет двойное подданство. По паспорту он бельгиец, француз, немец или гражданин Советского Союза, а на деле он, кроме того, считается подданным государства Израиль. Государством Израиль все евреи, где бы они ни жили, взяты на учет и считаются подданными Большого Израиля, а вернее, членами единой огромной семьи. По рекомендации из центра они ведут себя соответствующим образом, действуют так, а не иначе. По приказу из центра они все, как один, будут делать то, что им прикажут. Отсюда, например, могущество разведки Израиля. Разведчик может смело обращаться за помощью к любому еврею в любой стране и всегда эту помощь получит. А ведь евреи в самых разных странах занимают самые разные должности и выполняют разные функции, от государственного секретаря США Киссинджера до наших телевизионщиков, врачей, атомщиков, газетчиков, писателей... министра иностранных дел.

Израильскому разведчику не надо выяснять политическое лицо собеседника, его взгляды, идейность. Достаточно того, что он еврей. Можно смело все, что угодно, говорить от имени Израиля, обращаться с любой просьбой. Вероятность встретить отказ практически равна нулю. Иначе нечем было бы объяснить, что все они во всем мире по тому или иному поводу начинают вдруг дудеть в одну и ту же дуду. Каждый из них, вероятно, понимает, что в отдельности он — ничто, ноль, соринка на большой дороге. Но в составе, в системе, в семье Израиля он — все. Впрочем, это еще и Гитлер говорил своим немцам: «Один ты ничто, твой народ — все. Поскольку ты часть народа, то и ты — все». Это доктрина любого ультранационализма.

Разница же в том, что у других народов почему-то нет внутренних связующих сил, их нужно связывать и объединять дополнительно, идейными и государственными скрепами. Нужны Гитлеры, политические гении, вожди. Евреям и этого не нужно. Когда не было формального государства Израиль с его президентами, Израиль как таковой все равно существовал, и силы сцепления между евреями, где бы они ни жили, все равно действовали. Тут, видимо, и религия, и еще что-то. Какая-то пружина. Какой-то на многие века исторический пружинный завод, вроде как у часов. Есть часы, которые заводятся на сутки, а есть на несколько месяцев. Так вот евреи, видимо, заведены на века.

— Но ведь этому можно только позавидовать! Быть частицей силы — это и правда самому быть силой. Нет, я положительно завидую каждому еврею. Но, может быть, я больше жалею, что нет уже на свете силы, к которой можно было бы примкнуть в качестве верного и последовательного солдата... Так что же делать?

— Думаю, Владимир Алексеевич, думать и действовать. Уж если ты узнал тайну времени...

— Вот я и думаю. Ты говоришь, что они побаиваются Китая. Но, по-моему, они в такой же степени побаиваются и Советского Союза. То есть не то чтобы побаиваются, но все же он у них бельмо на глазу. В самом деле, оглянемся в поисках силы, способной противостоять их экспансии. Разве это не система социалистических стран? Недаром же они так отчаянно пытаются ее расчлнить и ослабить. Строго говоря, я не вижу на земном шаре другой реальной силы сейчас, которая могла бы как-то реально им противостоять. Не арабы же? Может быть, отсюда у них и ненависть к нашему государству?

— Ошибаетесь, Владимир Алексеевич. У них ненависть не к государству, а только к его руководителям и презрение к народу, который этим руководителям не противостоит и которого они никак не могут раскачать на это противостояние. Государство создавали они же сами как самое совершенное орудие массового порабощения, ограбления, а если надо, и истребления аборигенов. Зачем же ломать столь совершенную и отлаженную машину? При помощи этой машины можно сделать то, а можно сделать и это. Важно только, кто стоит у центрального пульта. Сперва у пульта стояли они. Потом Сталин отобрал у них пульт. Теперь они снова хотят его захватить.

— Но они же в массовом порядке бегут из СССР. Я уж подумал так: дело, дескать, сделано, страна ограблена, заведена в тупик и больше им не нужна. Народишко вырождается. Можно восвояси, прихватив чемоданы, уезжать прочь.

— Опять ошибка. Разве они могут оголить такой фронт?

— Но уезжают же, это факт!

— Цифры, Владимир Алексеевич, цифры, и никакой романтики. По разверстке, спущенной из их центра, должно уехать в Израиль, ну, скажем, шестьдесят тысяч человек. Знаешь, сколько может

произойти шуму, пока уезжают шестьдесят тысяч? Только шум им и нужен в этом случае. Кого-то не выпустили — произвол, у кого-то затянулось оформление — произвол. А бегут — предполагается — от антисемитизма. А и всего-то должно уехать шестьдесят тысяч. Ну, пусть сто тысяч. Из пятнадцати миллионов. Капля в море. Впечатление же, что повалили массами. А они все тут, только шуму много.

— Думаешь, их у нас пятнадцать миллионов?

— Точно никто не знает. Большинство ведь по паспортам считаются русскими. Не знаю. Во времена Достоевского при населении России в 80 миллионов их было три миллиона. Общее население больше чем удвоилось. Но ведь они не гибли в Соловках, во время коллективизации, голодовок, в Отечественную войну, да и в массовых лагерях. Хоть и гибли, да не столько, сколько аборигены. Пятнадцать не пятнадцать, а уж не меньше десяти миллионов у нас наберется.

Так что будьте благонадежны, Владимир Алексеевич, куда они не уедут. Они пребудут здесь и попытаются захватить постепенно управление государственной машиной.

Чтобы расшатать современное руководство, возбудить против него широкие массы, им нужна демократия. Свобода слова, печати, отмена цензуры, по крайней мере, свобода собраний и манифестаций. Но все эти свободы всегда были лишь средством, а не целью. Смешная цель — иметь возможность встать на трибуну и произнести речь. Зачем? Ну, вот добились, предположим, такого права. Давай, давай, говори свои речи! А говорить-то, оказывается, нечего. Да уже и не нужно. Потребность говорить существует, оказывается, только в процессе борьбы за право говорить. Нет, им демократия нужна как средство к достижению цели. Цель — власть.

Добившись же власти, они покажут нам демократию, как уже показали в первые годы после революции да и позже. А ведь до 1917 года Владимир Ильич и иже с ним тоже боролись не за что иное, как за демократические свободы, которых мы теперь всласть вкусили и продолжаем вкушать.

Недавно я прочитал о введении, временно, конечно, чрезвычайного положения в Португалии, ибо возникла там борьба за власть, а с ней и беспорядки. И что же это за чрезвычайные меры, введенные на несколько дней? Вычитал, между прочим, в «Правде».

1. Запрещаются любые манифестации и собрания граждан.
2. Введение цензуры на любую информацию.
3. Поскольку появилась тенденция среди населения запасать продукты впрок, генштаб заявляет о санкции к тем, кто закупает чрезмерные запасы продовольствия.

Господи Боже мой! Да мы в таком чрезвычайном положении живем вот уже шестой десяток лет. И только ли в таком! И то, что для них чрезвычайное положение, для нас давно — норма жизни.

И вот чтобы расшатать существующее положение вещей, нужна хоть какая-нибудь демократия, чтобы была возможность привносить в широкие массы информацию. А государство как таковое ломать они не собираются,

Ты возьми хотя бы такого левака и оппозиционера, как Евтушенко. Против чего он ратует? Против сталинских лет, против современного государственного режима. А за что он ратует? За революцию, за ленинские нормы. За первые революционные и за двадцатые годы. «И мотив революции — мой главный мотив!» — это ведь его строка. Даже и Вознесенский пишет поэму о Ленине «Лонжюмо» и стишки, как это там:

Я не знаю, как это сделать,  
Процедура не так проста.  
Уберите Ленина с денег,  
Так идея его чиста!

Итак, назад к ленинским нормам. Но мы-то знаем теперь, что такое были эти ленинские нормы. Соловки, продовольственная диктатура, Лубянка, массовое истребление русской интеллигенции, геноцид. Первые годы революции и двадцатые годы воспринимаются Евтушенко как рай. Но все дело в том, что у центрального пульта — Свердлов, Дзержинский, Троцкий, Луначарский, Литвинов и т.д. Не один Евтушенко — все современные так называемые демократы ратуют за возвращение к ленинским нормам. Оппозиция? Расшатывание режима? Подпиливание устоев? Но если бы сейчас встали во главе государства такие люди, как сам Евтушенко, уверяю вас, сразу бы кончилась всякая оппозиция.

— Так что же делать?

— Думать, Владимир Алексеевич, думать и действовать.

— Вот я и думаю. Почему такой русский человек и поэт, как Александр Трифонович Твардовский жил последние годы своей жизни в тесном еврейском окружении. Смыкался с ними, единомыслил, дружил и не хотел без них ступить шагу?

— Да потому, что каждый русский, советский интеллигент, как только начнет мыслить критически по отношению к существующему режиму, так сразу же невольно смыкается с евреями, ибо среди них вернее всего находит отзвук своим мыслям. Ты мыслишь критически, и они критически. Ты недоволен руководством, и они недовольны руководством. Ты пришел к выводу, что надо менять режим в стране, и они хотят этого. Может, ты и не задумал каких-нибудь практических действий, но невольно, в разговорах хотя бы, ты находишь себе благодарных слушателей, чутких собеседников, понимающих тебя с полуслова. Ну-ка, начни ты говорить про наши дичайшие безобразия с Грибачевым, с Кочетовым, с Прокофьевым, тотчас будешь оборван или в лучшем случае будешь говорить словно в вату. А то и получишь окрик:

— Ты советскую власть не тронь! Ты что, против советской власти?

А с Лиходеевым, Козловским (Яковом, конечно), Кривицким, Гинзбургом, Аксеновым, Поженяном, Шатровым, да с любым евреем, тотчас находишь и общий язык, и самое полное взаимопонимание. То есть неполное, конечно. В разговоре они все же предполагают в тебе дурачка, не понимающего все до конца, не знающего тайны времени. Если же они догадаются, что ты знаешь все, тогда уж собеседования с ними у тебя не получится. Ты сразу же сделаешься для них просто антисемитом.

Опять же, если появятся в твоих произведениях явственные критические нотки, подпиливающие и расшатывающие тенденции, ты сразу же будешь активно поддержан, сразу же будешь приглашен и на телевидение, и на радио, и на киностудии. Композиторы тотчас будут писать песни на твои стихи, певцы и певицы начнут их петь, чтецы понесут твои стихи на эстрады, и вообще ты почувствуешь, что оперся на какую-то могучую, организованную, поддерживающую тебя силу, во всяком случае, соприкасаешься с ней. Это знают и чувствуют и Федя Абрамов, и Тендряков, и Можяев, и Залыгин. Это

знал и чувствовал Александр Твардовский. Может быть, он и не нуждался в их непосредственной поддержке, то есть в поддержке прессы, радио, телевидения, но надо же было с кем-то хотя бы душу отвести в разговоре. Не к Бубеннову же он пошел бы со своей болящей и стонущей под гнетом родимой власти душой.

Значит, факт установлен. Каждый русский интеллигент, у которого появляется хотя бы слабенький пульс, невольно смыкается с наиболее активно ратующей за демократию, подпиливающей, расшатывающей частью советской интеллигенции, то есть с евреями. На стадии подпиливания и расшатывания такому интеллигенту с ними по пути. Но только ведь на самом раннем этапе. Как нам с тобой по дороге до стоянки такси. Пока выходим из дома, идем по лестнице, поворачиваем, все еще нам по пути. Но потом мы должны сесть в разные машины, потому что ты едешь в Дом литераторов на улице Герцена, а я в Останкино. Понимаешь, разные цели. Ты хотел бы что-нибудь изменить в государственном устройстве или даже взорвать его к чертовой матери ради любимого тобой народа, поскольку его надо спасти от полного разложения и вырождения, они же хотят изменить существующее положение вещей только ради себя. Не о русском же (узбекском, украинском, белорусском, таджикском) мужике они заботятся? Как ты думаешь? Ну и что им, у которых на всякий случай всегда собран и наготове дорожный чемодан, до вятского и вологодского мужика? Коренное население любой страны их интересует только как биологическая среда питания.

Главная же закавыка вот в чем. Когда ты, допустим, поломаешь или взорвешь существующее положение, они воспользуются ситуацией и используют ее в своих целях. Ты же воспользоваться результатами своей деятельности не сумеешь.

— Почему?

— Потому что они заранее, уже сейчас, блестяще организованы. Они готовы к изменению ситуации в государстве, готовы этим изменением воспользоваться. А мы? Две-три разрозненных единицы. Получается, что, смыкаясь с ними в фазе подпиливания и расшатывания, мы работаем только на них же, а не на благо коренного населения страны, ибо не сможем потом воспользоваться плодами своей подпиливающей работы, ибо мы сами не организованы, а примыкаем лишь к их организованности. Повторяю пример с такси. Мы идем с ними до стоянки и даже помогаем тащить чемоданы. На стоянке же они садятся в свою машину, а мы остаемся на безнадежном, промозгом зимнем ветру, наблюдаем, как исчезают вдаль красные задние огоньки.

— Но постой, постой. Наше государство действительно устроено так, что, стоя у центрального пульта, можно осуществлять то, а можно и это. При помощи нашего государства осуществлялся геноцид по отношению к русскому народу. Но при его же помощи Сталин собирался осуществить известные акции по отношению к евреям. Значит, общественную атмосферу, климат в государстве да и сам характер государства можно изменить у нас сверху без кровопролития. Нашлась бы только в стране личность, которая все понимала бы и обладала бы нужными качествами. Неужели среди двухсот миллионов не может найтись подобной личности?

— Я думаю, что такие личности есть. Но они есть внизу, где нет власти. До власти надо карабкаться многие годы. Пока человек карабкается, он теряет себя как личность. Одно дело, что выхолащивается из него дух, другое дело, что он обрастает удобствами, благами, привычками, с которыми уже трудно расставаться. Да и годы уходят. Как правило, в преддверие власти (ну, там, в секретари ЦК, в Политбюро) человек попадает уже после пятидесяти. Он уже не боец к этому времени. Детишки, внуки, жирок, дача, паек.

Дворяне, управлявшие государством, не зависели от пайка. У них были свои имения, состояния. Декабристы пошли в Сибирь, а их имения остались женам и детям. При неудачном политическом шаге они уходили в отставку и уезжали к себе в имение. Современный государственный деятель, теряя пост, теряет все. А жалко после пятидесяти-то лет. А пока он молод и дерзок, он еще внизу, на уровне, скажем, бюро комсомола вуза, техникума или райкома. Уже с райкома-то и начинается его приучение к благам, к особенному пайку во всех сферах быта.

— Так что же делать, где же выход из тупика?

— Как что делать? Организовываться, создавать свою широкую и мощную организацию. Никакой демократии. Демократия — это их «выдумка». России нужен монарх, вождь, отец.

С этими словами Кирилл, словно в забыты, выбросил вверх руку, как бы приветствуя своего вождя, и я почувствовал, что лишь с большим трудом удержался, чтобы не повторить этого жеста.

Крайний экстремизм Кирилла Буренина иногда вызывал у меня невольное чувство протеста, но иногда веселил, особенно в наших частых разговорах о писателях, поэтах, вообще о том или ином человеке.

Так, например (что касается протеста), однажды я, можно сказать, огрызнулся и дал ему маленький отпор. В тот день он позвонил мне раньше обычного и сказал, что есть необходимость «похрюкать». «Похрюкать» у нас означало не то чтобы поругаться, но крупно поговорить, выяснить отношения, предъявить претензии, упрекнуть, укорить, высказать в глаза недовольство, объясниться. Одним словом — «похрюкать».

Не помню уж, почему я в этот день не пошел к нему в мастерскую, а пригласил Кирилла к себе домой. Может быть, мне нездоровилось. У меня в кабинете и происходил весь разговор.

— Я тебе называю только три случая, — начал Кирилл, когда мы уселись в кресла. — Во-первых, ты опубликовал в «Литературной газете» статью, восхваляющую стихи Светлова. В этой же статье ты упоминаешь в положительном смысле имя Ильи Эренбурга, Это раз. Во-вторых, тебя видели в ЦДЛ в ресторане за столиком один раз с Семеном Кирсановым, а в другой раз с Кривицким. В-третьих, ты подарил с теплой надписью новую книгу Борису Слуцкому.

— В-четвертых, — не вытерпел я и перебил Кирилла, — ты мог меня видеть играющим в шахматы со Смоляницким или Поженяном, дающим деньги займы М. Коржавину (Манделю) или Грише Левину, целующим ручки Мери Абрамовне или Розе Яковлевне. А однажды поздним вечером я на тротуаре подобрал Сеньку Сорина, который лежал со сломанной ногой, и кое-как на закорочках дотащил его до соседнего дома, до лифта, а затем отнес на седьмой этаж и внес в квартиру. Ну и что?

— Просто мне интересно, как глубоко сидит в тебе рабская психология, свойственная, как видно, русскому человеку, если ты на протяжении месяца четырежды пресмыкнулся перед нашими яростными врагами, уничтожителями России. Или тогда уж не говори, что ты любишь Россию и свой народ.

— Неужели ты думаешь, что я, как русский интеллигент, хотя бы и понявший тайну времени, могу

упасть до такой низины, чтобы пакостить и вредить конкретному живому еврею, Кирсанову или Слуцкому, Сорину или Коржавину? И относиться к ним с личной враждой в быту, в повседневности? А если мне попадетя рукопись на рецензию, неужели я ее «зарублю» только потому, что молодой писатель еврей? И не сяду ни с кем из них за один столик в ресторане или за шахматной доской? И не дам денег взаймы? И не подарю книгу? Тем более, что и Слуцкий мне подарил свою. Тем более, что и Кирсанов впервые вывел меня на эстраду на большом литературном вечере. Тем более, что Сенька Сорин был моим как-никак однокурсником. Неужели надо было мне бросить его там, на ночном тротуаре, с переломом ноги?

— Не знаю, Владимир Алексеевич, не знаю, — ледяным железным голосом продолжал Кирилл. — Люди, сотрудничавшие с немецкими оккупантами, почему-то считаются изменниками и предателями.

— Но такая узость взгляда, такая крайность мне тоже непонятна. Моя человеческая сущность против нее вопиет!

— Я думал, ты можешь оказаться надежным, последовательным бойцом, — с искренней как будто и глубокой грустью сокрушался Кирилл. — А ты обычный русский интеллигентный хлюпик, на чем нас и ловили всегда, и поймали в семнадцатом году, «Не убий, возлюби ближнего своего», «А как моральная сторона поступка? Как этика?» Мы добренькие, мы чистенькие, мы — христиане. А нас, пока мы разбирались в морально-этической стороне, сгребали кучами на Соловки, на Валаам. И Эйхсмана из Москвы — в начальники Соловецких лагерей, без всяких письменных инструкций, но уж, конечно, с устным карт-бланшем. Небось Яков Михайлович лично учил, как надобно с нами обращаться. В основу лагерных режимов с первых же дней были положены прекрасные морально-этические категории: безжалостность, жестокость, унижение и издевательство, глумление и злорадство, мучительство и убийство. И ты думаешь, что твой Светлов (Либерзон) не понимал, что творилось и кем творилось?

— Светлов хороший поэт... Гренада...

— Гренада... Раздули и раззвонили на весь белый свет. А что такое «Гренада»?

Гляжу, как безумный,  
На черную шаль.  
И хладную душу  
Терзает печаль.  
Когда легковерен  
И молод я был,  
Младую гречанку  
Я страстно любил.  
Не надо, не надо,  
Не надо, друзья.  
Гренада, Гренада,  
Гренада моя.

Вот и вся расхваленная «Гренада». Напел на пушкинскую интонацию. Подтекстовка. Так, кажется, это называется у поэтов? Кроме того, знаешь, что такое эта самая Гренада там, в Испании?

— Город какой-то, местность.

— Не местность, а местечко. По значению вроде нашего Бердичева или Конотопа. Но дело и не в Гренаде. У тебя есть Светлов?

— Наверное, есть, коли писал статью. Я протянул Кириллу томик Светлова. Он быстро перелистал его и остановился на каком-то стихотворении в середине книги.

— Вот, слушай. «Пирушка».

Хорошо нам сидеть  
За бутылкой вина  
И закусывать  
Мирным куском пирога.

Хорошо им, сукам, сидеть, захватив Россию и став хозяевами положения. Хорошо им есть российские пироги. И с кем он пирует, твой любимый поэт Михаил Аркадьевич? Вспомни-ка, с кем пировал Мандельштам, когда поссорился с Блюмкиным, вырвав у него ордера на расстрел? А вот с кем пирует Михаил Аркадьевич:

Пей, товарищ Орлов,  
Председатель ЧК,  
Пусть нахмурилось небо,  
Тревогу тая, —  
Эти звезды разбиты  
Ударом штыка.  
Эта ночь беспощадна,  
Как подпись твоя.

Ну, Орлов — это, конечно, псевдоним, как и сам Светлов. Нетипично было в те годы, чтобы подлинный Орлов был председателем ЧК и подписывал приговоры своей беспощадной подписью. Это так, камуфляж. Не мог же Светлов написать стихотворение «Пей, товарищ Бернштейн, председатель ЧК». А Гофман или Коган и в стихотворный размер не укладываются. А дальше-то, дальше-то каково.

Приговор прозвучал,  
Мандолина поет,  
И труба, как палач,  
Наклонилась над ней.

Вот так под мандолину, под сурдинку и звучали приговоры председателя ЧК. Думаешь, один-два? Думаешь, расстреливали единоличными выстрелами или хотя бы залпами? Твой кореш вносит на этот счет полную ясность.

Не чернила, а кровь  
Запеклась на штыке.  
Пулемет застучал,  
Боевой ундервуд.

Какова емкость поэтических образов! Чернила чековской подписи сразу превращаются в кровь на штыке. А стрекотание пишущей машинки (отпечатывающей имена обреченных, конечно, а что же, исходя из контекста?), естественно, переходит в стрекотанье пулемета. Но послушаем дальше.

Расскажи мне, пожалуйста,  
Мой дорогой,  
Мой застенчивый друг,  
Расскажи мне о том,  
Как пылала Полтава,  
Как трясся Джанкой,  
Как Саратов крестился  
Последним крестом.

Миленькая картинка, не правда ли? И председатель ЧК, оказывается, милый застенчивый человек, интеллигент и очкарик. А ведь пылают и трясутся не заморские, не вражеские города, а мирная, тихая Полтава, и среди родной России на берегу родной Волги Саратов вынужден креститься последним крестом! А это разве двусмысленно:

Как без хлеба сидел,  
Как страдал без воды  
Разоруженный  
Полк юнкеров.

Понимаешь ли ты, о чем тут написано? Юнкера — это юноши, русские, светловолосые, в белых гимнастерках, самая жертвенная часть русской интеллигенции в те годы, молодежь. Ты понимаешь ли, что их, оказывается, разоружив, уморили голодом и жаждой! То-то сладко вспоминать об этом даже в условиях революции, излишней жестокости за мирным куском пирога! «А помнишь, как мы их, русских сволочей, с голоду уморили? Как пить им не давали, гадам, они и подохли все. Выпьем, что ли, товарищ Орлов?»

Ты, что руки свои  
Положил на Бахмут,  
Эти темные шахты благословив.

Нет, ты вдумайся, вдумайся в слова, которые тут написаны. Ну, то, что председатель ЧК положил руки на Бахмут, это понятно. Он не только на Бахмут, на всю страну положил свои руки. Но что это за шахты он еще благословляет к тому же? Что-то некстати здесь словечко «благословив», даже если бы в шахтах работали заключенные. Да и шахты-то зловещие, темные. Уж не в них ли и откликнулся пулемет боевому, неусыпному ундервуду? А кончается стихотворение теми же строками: «Приговор прозвучал, мандолина поет...» Вот, Владимир Алексеевич, каков Светлов, которого вы две недели назад всячески превозносили в своей статье в «Литературной газете».

Но Светлов — это понятно. А вот русские, русские поэты, в жизни, в быту нелюбящие Светлова, как бы воспевающие Россию, им-то как не совестно дудеть в ту же дудку?

— Кто дудит?

— А все! Назови мне русского поэта, которого ты считаешь наиболее ярким, талантливым, самобытным, наиболее не любящим Светлова (Безыменского, Жарова, Лисянского, Алигер, Уткина, Долматовского, Эренбурга, Острового, Самойлова, Винокурова, Окуджаву, Вознесенского, Рождественского), назови мне такого поэта, и я тебе тотчас докажу, что он дудит в ту же дудку.

— Ну... пожалуй, Прокофьев. Отличный лирик. Озорной. Залихватский. «Грудь в сатине, сердце в соловьях».

Что теперь на родине? Погода!  
Волны неумолчно в берег бьют.  
На цветах настоящую воду  
Из восьми озер родные пьют. .  
Пьют как брагу темными ковшами,  
Парни в самых радостных летах.  
Не испить ее - она большая,  
И не расплескать — она в цветах.

По-моему, здорово! Какая энергия, какая сочность!

— Да, Светлову и не приснилось бы. Наверное, и про березки много стихов, про Россию? Разные здравицы. Застольные песни. Не правда ли?

— Есть и это. Да ты, как видно, знаешь его не хуже меня.

— Предполагаю, Владимир Алексеевич, предполагаю. Нетрудно предположить. Ну, давай про Россию.

Поднимем заздравные чаши,  
Как водится, выше голов

За

вечную

Родину

на

За теплый отеческий кров.  
 За отсветы радуг красивых,  
 За теплые травы долин,  
 Черемухи душную силу  
 И красные гроздья рябин.  
 За то, чтоб весной голосили  
 На всех лозняках соловьи,  
 Поднимем, друзья, за Россию  
 Мы первые чаши свои.

— Ишь, какой говорун, краснобай. Черемухи да рябины. Ну-ка, дай мне его томик. Ну да... Вот опять Россия. Что-то многовато у него. Вот:

За дождями дожди моросили,  
 Поднимала река гребешки,  
 Ты Россия моя, Россия,  
 Дружно пели мои дружки.

И вот:

Россия,  
 Вольная Россия,  
 Ты хороша в кругу сестер своих.  
 Очи ясные пылают синью...

Так.

Не печальную, а величальную  
 Пою песню России.  
 Знаем все, сокрушили  
 Злобу, ненависть, гнет.  
 Как Россию душили!  
 А Россия живет!

Так.

Разлетались над Россией моей  
 От долин ее великих до морей...

Так.

Песнью,  
 Удалью,  
 Молодечеством,  
 Ой, Россия,  
 Русь,  
 Мое Отечество!

Вот опять..

Так что ж, товарищ Россия,  
 Отчизна и слава твоя!

Вот...

И в мире нет подобной сини,  
 И не дано ей умереть,  
 Покуда солнцу над Россией  
 И красоваться, и гореть!

— А говоришь — со Светловым в одну дуду? Не похоже.

— Все синь да солнышко. Березки да цветочки. Березки да цветочки. Идиллия. Ни колымских лагерей, ни Беломорканала, ни трудодней, ни исчезающих деревень у него же на Ладого, ни всеобщего пьянства, никаких проблем вообще. Все Россия да Россия... — бормотал он про себя, листая книгу Прокофьева. — Ага! Вот, голубчик, попался. Ну я так и знал. Теперь слушайте, Владимир Алексеевич, слушайте.

Мы отступали, на всех надеясь,  
 Ветер в разведке сидит в кустах.  
 Суженый-ряженный — белогвардеец:  
 Грудь, словно кладбище, вся в крестах.

— Тоже ведь не бледно сказано. Сочно и емко. Но какие же это кресты на груди у прокофьевского врага? Какие он, разжиревший до того, что уж не может нагнуться свои башмаки зашнуровать — живот не дает, какие же он называет кресты кладбищенскими? Какие это кресты ему поперек горла встали? И смертельно враждебны? А это русские, российские кресты, георгиевские, дорогой Владимир Алексеевич. Это кресты за русскую отвагу и доблесть, добытые под Порт-Артуром или во время Брусиловского прорыва. Это кресты — потомки тех крестов, которые висели на груди русских



офицеров и солдат в осажденном Севастополе, во время суворовских походов, на Бородинском поле, под Плевной на Шипке. Именно эти кресты он, гнида, считает теперь своей мишенью.

Пулеметчик заводит «страданье»,  
 Глаз наметан и верен.  
 Встань, зеленая пойма,  
 На крови поднимайтесь, овсы.  
 Пулеметчик — «Дунайские волны»,  
 Пули стучают в райские двери.  
 Пулеметчик в ударе.  
 Батальонно пойдут мертвецы.  
 В авангарде походные кухни,  
 Путь-дорожка сквозная.  
 И латунь ударяет в латунь  
 В поредевшем строю.  
 Шлюха вскинет юбчонку —  
 И готово трехцветное знамя.  
 Мест не хватит у господ бога,  
 Потесниться придется в раю.

— А! Каково?! Это на чьей же крови должны подниматься овсы? Чья это кровь напоила зеленую пойму? Кто это побатальонно направляется в рай при помощи пулемета, так что даже придется потесниться в раю Господу Богу? Не братья ли наши, не русские ли люди отправляются в рай целыми батальонами, а Прокофьев при этом злорадствует и приплясывает иод «страдание» и «Дунайские волны»? П что это за трехцветное знамя сравнивает он с нижней юбчонкой шлюхи? Кто эта шлюха? Да уж не Россия ли? Ибо ведь у России и было как раз трехцветное знамя. «Там над пустыней унылой вьется андреевский флаг, бьется с неравною силой гордый красавец «Варяг». Да именно под русским знаменем бился «Варяг», именно с ним в руках упал под Аустерлицем Андрей Волконский. Как же он смел, твой Прокофьев, российское трехцветное знамя сравнивать с тем, что под юбкой у шлюхи? Как же он смеет после этого, коллаборационист и предатель, в каждом стихотворении все распинаться в любви к России? А судный день придет, — продолжал Кирилл с дрожащими от гнева губами, — все встанет на свои места, служивший, кстати, в молодости в ленинградском ОГПУ, тоже подвергнется суду потомков. Никакие «России» в его поздних стихах уже не помогут. Он будет выплюнут из русской литературы, как последняя грязная мразь!

Такого заряда страсти я, признаться, не ожидал. После столь сокрушительного удара по одному из любимых мною доселе поэтов смешно было бы теперь соваться с Рыленковым да Копаленковым, с Луговским да Асеевым. «Большевики пустыни и весны», рыленковские пейзажики, асеевская поэма про красного партизана Проскакова. Или Смеляков, трижды сидевший в советских лагерях и писавший там поэму «Застава Ильича», прославляющую режим, благодаря которому он и оказывался каждый раз в лагерях. Или Степа Щипачев, беспрецедентно в мировой поэзии воспевавший в своей поэме предательство мальчиком-несмышленишем своего родного отца. Все это, конечно, только хрустнуло бы под острым экстремистским топором моего собеседника. А я пошел с козырного туза, вытащил из колоды Александра Твардовского.

— Твардовский.

— Но что такое Твардовский? Твардовский — трагедия. Он, начинающий поэт, делает первые шаги в смоленской газетке, а его семью раскулачивают, и отца с матерью ссылают на Беломорканал. Как реагировал молодой поэт? В духе времени. Он пишет стихотворение, в котором отрекается от отца. «Я сам тебе ворота открывал, когда тебя из дома уводили». За буквальную точность этих строк не ручаюсь, они ведь не переиздавались потом, но их можно найти в смоленской печати тех времен.

Смысл, во всяком случае, точен. Это публичное отречение от отца ничем по своей сути не отличается от предательства Павлика Морозова. Вслед за отцом он предал и все русское крестьянство в целом. Он пишет «Страну Муравию». Политически Сталин замел следы своего преступления, по крайней мере, думал, что замел, написав статью «Головокружение от успехов». Истребить миллионы людей, еще большие миллионы провести через муки мученические, а потом все свалить на перегибы местных властей. Но ему нужно было, чтобы его кровавую, людоедскую акцию по ослаблению и тотальному порабощению крестьянства освятило искусство. Освятило и оправдало. И представило в ярком свете. Не в ясном свете дня, как говорится, разоблачающем суть происшедшего, но в ярком маскирующем свете. Надо было оромантизировать акцию коллективизации, из страшной и мученической превратить ее в мирную и едва ли не веселую. С юморком, знаете, с прибауточкой, с поговорочкой, с дедом Щукарем. Возник так называемый социальный заказ. Не звонили, быть может, по телефону тому или этому, а может, кому-нибудь и звонили. Но заказ носился в воздухе. У советских писателей тех времен был изощренный нюх. То, чего хотело начальство, они знали не только на расстоянии, но и заблаговременно, чтобы успеть написать. Этот социальный заказ — оправдать и освятить искусством акцию частичного истребления и полного порабощения крестьянства — вызвал три произведения, и все три я считаю позорными. Ну, о «Павлике Морозове» и говорить нечего. Да эта поэма и с художественной стороны не стоит, чтобы о ней говорили. А вот два произведения остаются. «Поднятая целина» и «Страна Муравия». И есть тонкость. Потому труднее простить «Страну Муравию» Твардовскому, нежели другое другим, что в то самое время, когда поэт воспевал коллективизацию, его родители мучились и гибли на Беломорканале.

Сталин умел платить. Фадеев представил вождю список писателей, подлежащих награждению орденами. Это был первый орденский писательский список. Сталин почитал, тяжело подвигал глазами по Демьянам Бедным, Алексеям Толстым, Катаевым, Каверинным, Асеевым и спрашивает:

— А где. этот... Молодой смоленский поэт... Который написал про Никиту Моргунка?

— Мы полагали, товарищ Сталин, молод еще, рановато.

— Ничего... Я думаю, можно его включить. Фадеев включил Твардовского на орден Трудового Красного Знамени. Сталин при повторном прочтении списка опять поправил Фадеева.

— Мы тут посоветовались... Я думаю, можно ему дать орден Ленина.

Тогда же Твардовский получил и Сталинскую премию I степени. То есть попал своей поэмой прямо

в десятку, в «яблочко».

Рассказывают, что ему разрешили съездить на Север и разыскать родителей. Отца он уже не застал в живых, там быстро перемалывали людей, а мать нашел всю во вшах, чуть живую от изнурения и голода.

И еще непонятно многим, спрашивают еще, отчего Твардовскийпил горькую. Совесть у него болела всегда, но тайно. Но тут вдруг война. Не до совести. Опять же новые ордена, новые премии. Клевал с руки. И вдруг — бац! «Все было лишь ложь и обман». Сталин разоблачен, у людей открываются глаза. Тогда Твардовский начал замаливать свои грехи и замаливал их до последнего своего дыхания. Правда, не столько в поэзии (ничего особенного, замаливающего он не успел или не сумел создать), сколько в журнальной и общественной деятельности. Он сделал то, за что ему можно было бы простить не одну «Страну Муравию».

— Что ты имеешь в виду?

— Я имею в виду Солженицына. Да, он вывел из тьмы, из небытия Солженицына, выпустил из бутылки джинна. Знаете, как в восточной сказке. Маленькая бутылка, открывают пробку, оттуда идет дымок. И вдруг возникает великан, гигант ростом до облаков. Сидел в бутылке происками злых чар. А обратно в бутылку его уже не затолкнешь и не поместишь. Может быть, для одного этого стоило и родиться, и существовать в нашей литературе и жизни Твардовскому. Во всяком случае, даже если бы он не сделал ничего другого, все равно ему полагался бы памятник на какой-нибудь площади. Да ведь не поставят пока. Больше того, в шестидесятилетие поэта не только не дали ему Героя Соцтруда, но хотя бы и орден Ленина. Подбросили Трудового Красного Знамени. А в героях ходят у нас теперь Вадим Кожевников и Георгий Марков, Борис Полевой и Михалков, Грибачев и Катаев.

Все они, может быть, неплохие люди, и все они исправно клюют с руки, за что и получили Героев, но не позорно ли было отпускать Твардовского на тот свет с орденишкой Трудового Красного Знамени? Все же, что бы теперь ни говорили о нем, как смешон ни покажется потомкам его печник, балующийся чайком у Ленина, все же, если сгрести всех «Гертрудов» в один мешок да положить на весы, а на другую чашку одного Твардовского, перетянет все!

Но вот что значит воспитание и инерция. Отца с матерью замучили. Журнал отобрали. В шестидесятилетие в душу плюнули. Заставили умирать в душной темноте нелепой опалы, а он, уже многое как будто поняв, уже едва шевеля губами, на последней стадии рака просит Марию Илларионовну вовремя заплатить партвзносы! О Русская земля, о загадочная русская душа! Нет, положительно, надо поклониться в ножки нашим подпилывальщикам и расшатывателям, потому что самим нам ни черта, как видно, не сделать!

Писательская профессия состоит в том, чтобы высказывать свои мысли. И свои чувства. При том, что мысли, не высказанные на страницах прозы или в стихах, невольно будут проскальзывать в устных разговорах и спорах. Шильце будет высовываться сквозь редины мешка. Поэтому заранее надо сказать, что писателю-профессионалу трудно быть конспиратором. Даже если речь идет пока не о тайной какой-нибудь организации, а лишь о тайных мыслях и знаниях. Недаром ведь и Пушкина члены тайных российских обществ боялись приобщить к своим тайнам да так и не допустили до них. Поэт! Что с него взять? Обязательно проболтается, не в разговоре, так в стихах где-нибудь. Повеет, повеет, помимо желанья, новым духом.

Не мог я прочно держать в себе свое новое содержание, хотя не мог и раскрыться полностью. Но создавались ведь и такие моменты, когда невозможно было промолчать, стерпеть, не возвысить голос.

Вспоминаю маленький инцидент на даче у Георгия Леонидзе в Кахетии. Проходила декада русской литературы в Грузии. Ну, ездили, выступали, восторгалась, как говорится, с трудящимися. Но тоже и грузинские писатели по своей неписанной традиции то один, то другой приглашали к себе в гости, если не всю делегацию, то часть ее по собственному выбору. Значит, другая часть в это время приглашена другим грузинским гостеприимцем. Так вот оказались мы, человек десять, на даче у Георгия Леонидзе. Неторопливы и велеречивы грузинские застолья. На много часов. Успеют сидящие за столом и спеть песню, и повспоминать, и почитать стихи. Настроение сложилось такое, что начали вдруг то один, то другой прославленные, известные во всяком случае, поэты читать чужие стихи. Есть ведь у каждого любимые, и прочесть его под настроение все равно что спеть хорошую песню. Были там Тихонов и Прокофьев, Доризо и Сергей Васильев, Долматовский и Боков, Смеляков и Дудин... В основном верно, но в деталях предположительно. По крайней мере, таким мне представляется сегодня состав того леонидзевского застолья. Но совсем точно, что Сергей Васильев, когда дошел до него ряд читать чужие стихи, удивил меня и заставил высказаться. До этого звучали Гумилев и Анненский, Цветаева и Блок. Кто-то прочитал «Мать» Николая Дементьева, кто-то «Зодчие» Дмитрия Кедрина, кто-то «Прасковью» Исаковского. Так шло, пока Сергей Васильев не встал, и не оперся руками о край стола, и не выдвинул вперед подбородка, словно тут не дружеская пирушка, а московское писательское собрание.

— Да, дорогие друзья, да, да и да. Как только мы начинаем читать любимые стихи, сразу идут Гумилев и Блок. Хорошо, что зазвучали тут милые наши, можно сказать, современники: и Коля Дементьев, и Боря Корнилов, и Паша Васильев. Я вам прочитаю сейчас одно прекрасное, воистину хрестоматийное стихотворение поэта, имя которого никогда, к сожалению, не возникает уже много лет в наших поэтических разговорах. Что-то вроде дурного тона. А между тем — напрасно. Я и сейчас, идя наперекор установившей традиции, назову это имя — Демьян Бедный.

Тут действительно шумок прошелся по застолью, так неожиданно оказалось это для всех, хотя и непонятно было, то ли это одобрительный шумок, то ли от удивления.

— Да, да и да! И чтобы показать вам, какой это был все-таки превосходный поэт, я прочитаю сейчас одно его стихотворение. Это маленький шедевр, забытый, к сожалению. А забывать такие стихи нам не следовало бы.

И Сергей Васильев, еще больше выставив вперед свою тяжелую нижнюю челюсть и еще тверже опершись о край стола большими волосатыми руками, внятно донося каждое слово, проникаясь каждым словом до глубин своей собственной души, прочитал нам стихотворение, которое перед этим назвал шедевром.

НИКТО НЕ ЗНАЛ...

Был                    день,                    как                    день,                    простой,                    обычный,

Одетый в серенькую мглу.  
 Гремел сурово голос зычный  
 Городового на углу.  
 Гордяся блеском камилавки,  
 Служил в соборе протопоп,  
 И у дверей питейной лавки  
 Шумел с рассвета пьяный скоп.  
 На рынке лаялись торговки,  
 Жужжа, как мухи на меду,  
 Мещанки, зарясь на обновки,  
 Метались в ситцевом ряду.  
 На дверь присутственного места  
 Глядел мужик в немой тоске, —  
 Пред ним обрывок «манифеста»  
 Желтел на выцветшей доске.  
 На каланче кружил пожарный,  
 Как зверь, прикованный к кольцу,  
 И солдатня под мат угарный  
 Маршировала на плацу.  
 К реке вилась обозов лента.  
 Шли бурлаки в мучной пыли.  
 Куда-то рваного студента  
 Чины конвойные вели.  
 Какой-то выпивший фабричный  
 Кричал, кого-то разнося:  
 «Прощай, студентик горемычный!»  
 .....  
 Никто не знал, Россия вся  
 Не знала, крест неся привычный,  
 Что в этот день такой обычный  
 В России... Ленин родился!

Закончив чтение, Сергей Васильев обвел застолье победоносным, прямо-таки торжествующим взглядом. Тихонов подтвердительно, по-патриаршьи закивал головой: «Да, так, забываем». Боков и Доризо просветлели, словно омылись в родниковой воде, Долматовский озарился, раскуривая трубку и как бы собираясь высказать что-то еще более одобрительное. Прокофьев потянулся чокаться к декламатору, а сам толкал Доризо, сидящего по соседству: «Кольк, Кольк, а?» И вот-вот расплечется, прослезится от умиления. «Кольк, Кольк, вот как надо писать-то».

Не знаю уж, как получилось, то ли я насупился угрюмо над своим бокалом, не поднимая глаз, то ли какие особые ледяные эманации, флюиды излучались от меня на все застолье, но только все как-то вдруг замолчали и уставились на меня выжидающе, вопросительно, словно предчувствуя, что я сейчас могу встать и высказаться. Леонидзе как чуткий тамада тотчас и дал мне слово, постучав дополнительно ножом по бутылке, хотя дополнительно призывать к вниманию уже и не требовалось.

А говорить пришлось разбросано, возможно, от того же волнения, только в другую сторону, и чтобы получилось в конце концов в духе тоста. Других, кроме тостов, речей здесь не могло быть.

Неужели же они ждали, что я сейчас провозглашу здравицу за бедного и забытого Демьяна или, на худой конец, за Сергея Васильева. Или уж не ждали ли они, что я провозглашу тост за героя стихотворения, родившегося в тот день. Или за всю Россию, которую он — предполагается этими людьми — вывел из тьмы, осветил и спас. Но я уж встал, и стакан, как я успел заметить, отнюдь не дрожал в моей руке.

— Толстой был срыватель всех и всяческих масок. И верно, срывал. Но, увлекшись этим процессом, не заметив как, он начал в конце концов срывать одежды со своей собственной матери, стремясь обнажать и показывать всему свету ее наиболее язвенные места. Для родного сына занятие не очень-то благородное и похвальное. Но то был хоть гений, тот хоть перед этим нарисовал нам образ великой и просвещенной, красивой и одухотворенной России. Вдохновенный портрет ее вырос перед нами из ее военного подвига и составлен из отдельных прекрасных образов: Андрея Волконского, Наташи Ростовской, Пьера Безухова, Пети Ростова, Левина и Кити, Вронского и Анны Карениной, Оленина, Марьянки, Брошки, Кутузова, Тушина, Багратиона, Денисова...

Что мы услышали здесь, извергнутое в свое время, если не ошибаюсь, в 1927 году, грязными и словоблудными устами Демьяна Бедного, который по сравнению со Львом Толстым не заслуживает, конечно, другого названия, кроме жалкой шавки?

Ропот недоумения и смущения прокатился по застолью. Но, как видна, соскучились они в своем сиропе по острому, и никто не оборвал, не пресек, давая возможность высказаться.

— Я сознательно груб. Но мои эпитеты (перефразируя известное место у Белинского) слишком слабы и нежны, чтобы выразить состояние, в которое привело меня слушание этого стихотворения. В каждом из нас, как в организме, много всего и разного. Во мне кило шестьсот мозга, но есть и иные (в животе) вещества. Вопрос, на что смотреть.

Что такое Россия в 1870 году? Творит Достоевский, звучат новые симфонии и новые оперы Чайковского. В расцвете сил тот же Толстой. В деревне звучат хороводы. Ссылаюсь на Некрасова и на его строки: «Будут песни к нему хороводные на заре из села долетать, будут нивы ему хлебородные (хлебородные, заметьте!) безгреховные сны навевать». Менделеев уже открыл свою периодическую таблицу, Тимирязев вот-вот начнет читать свои блестящие лекции. В Москве возводится грандиозное, ослепительно бело сооружение — памятник московскому пожару и Бородину и вообще памятник победы над Наполеоном. В России от края до края бурлят ежегодно 18 тысяч ярмарок. Через восемь лет Россия, жертвуя своей кровью, освободит свою ближайшую родственницу — Болгарию — от турецкого ига... Сами понимаете, я не ходячая энциклопедия и не готовился к этому выступлению. Но я думаю, если поднять газеты того времени, мы найдем там много такого, что можно было бы прочитать с гордостью за Россию, за ее общественную жизнь, за ее дела.

И что же он выбрал из всей российской действительности того времени, чтобы показать свету? Повторяю в коротком пересказе. Серенькая мгла. А почему, собственно, в апреле серенькая мгла? Скорее, это был день весенний, напоенный синевой и солнцем, грачи прилетели. Городовой на углу и поп в соборе. У дверей питейной лавки шумит пьяный скоп. На рынке лаются торговки. Не просто ведь торгуют в изобилии сметаной и маслом, а обязательно лаются. Мещанки мечутся в ситцевом ряду. А чего бы им там метаться, если ситцев огромный выбор, всем хватит и все ситцы дешевые? А они мечутся там, словно в теперешнем ГУМе. На каланче пожарный, прикованный, как зверь, к кольцу... Ну, знаете... Не хватает уже ни слов, ни злости. При чем тут пожарный, который обязан нести свою службу, свое дежурство? Солдатня марширует под угарный мат. Не просто солдаты, а солдатня. Не думаю, к тому же, чтобы русские офицеры так-таки все и матерились угарным матом. Между прочим, те самые офицеры, которые через несколько лет проявят на Шипке и под Плевной чудеса героизма...

Как же надо было ненавидеть Россию, свою родную мать, чтобы собрать в одно стихотворение все наиболее грязное и мерзкое, да и не просто собрать, а клеветнически преувеличить и даже выдумать и преподнести нам эту вонючую жижу, чтобы мы ее нюхали. Вот вы, хозяин стола, — грузин. Возможно ли, чтобы грузинский поэт написал бы нечто столь же омерзительное о прошлом своей страны? Только мы, самоеды и предатели, мало того, что способны написать такое, способны еще и восхищаться этой гадостью сорок лет спустя после ее написания! Меня уже понесло, и надо было сворачивать на тост.

— Есть табу. Есть запретные вещи. Нельзя взрослому мужчине подглядывать, как раздевается мать. Вот он раздвинул занавеску и в щелочку подглядел: «Гы-гы, сиськи висят!» И снова щелочку закрыл, и ничего словно бы не случилось. Нет, случилось! Он переступил запретную грань. В душе своей. Из человека он превратился в хама. А я нарисую и еще более трагическую ситуацию. Представим себе, что разбойники под угрозой оружия и смерти заставили взрослого мужчину изнасиловать собственную мать. Их было несколько сыновей. Один, хоть наставлены пистолеты и приставлены ножи к горлу, бросился на разбойников и тотчас погиб. Что ж, были у России и такие сыновья! Другой покорился и совершил насилие. Третий хоть сам и не насильник, но смотрел, как насильничает его брат, и не пошевелился, потому что у горла нож — нож. И вот они оба остались живы. Но жалка их участь и страшна их жизнь. И что же теперь с них спрашивать? Они теперь могут все. После насилия над собственной матерью что для них осталось святого? Что для них насилие над чужой женщиной? Или вообще над другим человеком? Жечь, убивать, мучить, предавать, доносить — все пожалуйста! А уж глумиться на словах — про это и говорить нечего.

Вы можете не поддержать меня в этом тосте, но я хочу выпить за настоящие сыновний чувства, за настоящее сыновнее мужество, которое в крайнем случае предпочитает смерть покорности и позору. Я рад провозгласить этот тост на древней грузинской земле, которую всегда отличало рыцарство, мужество, доблесть. Я рад произнести этот тост в доме замечательного грузина, нашего хлебосольного хозяина. Ваша!

Другой раз был случай, когда Безыменский читал в Доме литераторов в малом зале свою новую поэму. И когда прозвучали вдруг чудовищные строки о том, что храм Христа Спасителя вскочил на теле Москвы, как белый волдырь, я немедленно поднялся и демонстративно покинул зал, неторопливо идя по проходу, а потом громыхнул дверью сзади себя.

Всякий разговор мог быть для меня теперь чреват острой критической ситуацией, неожиданной вспышкой.

Кто-то в разговоре о Шаляпине (восхищались, конечно, его искусством, вспоминали разные забавные анекдоты из его биографии) решил тихонько сбить наш пафос и, что называется, в бочку меда добавить ложку дегтя. А там ведь, глядишь, и вся бочка окажется с душком.

— А вот был случай. Еще до отъезда Шаляпина в эмиграцию. Пригласили его дать концерт для детдомовцев, а он по своим правилам, что бесплатно поют только птицы, потребовал гонорар соболями. С детей — соболя! У детей отбирать соболя!

Все сконфузились за великого артиста, сникли.

— А вы как считаете?

Это уже вопрос прямо ко мне. Может быть, начались уже и провокации, ибо от разговора к разговору шорох пошел по Москве о том, что Владимир Алексеевич погибает временами куда-то не туда.

— А что мне считать? Это вы наивно считаете, что соболя пошли бы на шапки детдомовцам. Как вы думаете, видели детдомовцы этих соболей до шаляпинского концерта? А после концерта увидели бы? Зачем же заниматься демагогией, будто Шаляпин хотел отобрать соболей у детишек. Детишки как ели пшеничную кашу, так и продолжали бы ее есть. Соболя же эти, незаконно отобранные, по крайней мере попали в хорошие руки.

— Но детдомовцы...

— А откуда взялись детдомовцы? Как это благородно: Дзержинскому поручили заняться детдомовцами. Но почему раньше в России не было детдомовцев? Да потому, что они возникли в результате деятельности того же Дзержинского. Эти сироты были детьми жертв гражданской войны и первых послереволюционных лет. Слишком много было убито взрослого русского населения, вот и появились детдомовцы. Ах, как благородно, истребив отцов и матерей, дать их детям миску жидкой пшеничной каши!

— Но все же убежал Шаляпин за границу, не остался с народом. Что ни говори, а вроде предательство.

— Милые, забываем же обстановку. Представьте себе — Шаляпин, Бунин, Куприн, Рахманинов. Любят Россию, Москву, Петербург, родные, дорогие сердцу места. И вдруг: Воскресенская площадь в Москве становится площадью Свердлова, Дворцовая площадь в Петербурге — имени Урицкого, Невского проспекта уже более нет (это потом ему возвратили название), да и самого Петрограда.

По всей стране высыпали поселки и фабрики Володарского и Розы Люксембург. Разве не побежишь? (75)

После этих разговоров дома, ночью, наедине с самим собой посасывало в области сердца и была как бы подвешенность в пустоте над бездной, колебание почвы под ногами, сыпучесть песка, болотная зыбкость и ощущение, что что-то делается не то и не так.

Но приходил день, множество дел и хлопот оттесняли назад ночные тревоги, и я опять встречался с друзьями, знакомыми и писателями, опять начинались разговоры и споры.

Иногда я сталкивался с людьми, которые сразу же, с первых слов уходили от разговоров и замыкались в скорлупу, пробить которую было невозможно ничем. Иногда я наталкивался на яростный отпор, впрочем, редко, может быть, потому, что заранее знаешь ведь, с кем не надо, не надо пытаться говорить. Хоть и сейчас убежден, что если человек по крови, по национальности русский, то все равно рано или поздно можно докопаться до живого зернышка, погребенного в мусоре внушения, ложных представлений, в ледяной смерзшейся глыбе, в этаким оковалке замороженного дерьма, который носит он в себе на месте живой и теплой души. Нет, верю и сейчас, что зернышко все равно есть даже и у самых, казалось бы, безнадежных, про которых мы с Кириллом и Лизой говорили только одно слово — мертвяги.

Но часто бывало и так, что собеседник твой все понял, прозрел, со всем согласился, оживел, глаза его пояснели и осмыслились, забился пульс, около рта наметилась горькая складочка, только-только что не набежала на ресницу слеза (как преувеличение не преувеличено), но тут, все поняв и увидев, он делает шаг назад, щелкает переключателем, гасит осмысленный и живой взор, надевает мертвенную маску и залезает в такую уж бронированную скорлупу, из которой его никогда и ничем не выманишь. Разве что выползет сам, когда увидит, что изменилась внешняя ситуация, создалась иная раскладка сил. А один мне так и сказал:

— Я же полковник в отставке. Я же пенсию двести рублей в месяц получаю и буду получать ее пожизненно. Если все рухнет, ты, что ли, мне эту пенсию будешь платить?

Но зато какая сласть была почесать языки с полными своими единомышленниками, где не надо выбирать осторожных слов, намеков и экивоков, но где (впервые это получилось в моей жизни) все можно было называть своими словами, своим полным именем. А если и был свой словарик, то это больше так, для игры. Да еще в присутствии непосвященных. Например, когда я спрашивал про какого-нибудь человека, то Кирилл или Лиза (или я сам) могли ответить мне вслух и при всех: «Прогрессивная личность».

Однажды когда-то я сказал про одного еврея, что он в целом — прогрессивная личность. Друзья посмеялись, и с тех пор пошло, было принято нами на вооружение, всегда можно было сказать про человека еврейского происхождения — прогрессивная личность.

Гитлер в нашем обиходе назывался архитектором. Это по инициативе Кирилла. Тот и вправду ведь был сначала архитектором, кажется, даже писал стихи. Во всяком случае, Кирилл иногда читал, не знаю уж, в чьем переводе на русский язык:

Мы идем, отбивая шаг,  
Пыль Европы у нас под ногами.  
Ветер битвы свистит в ушах,  
Кровь и ненависть, кровь и пламя!

Последняя строчка сама собой вошла в наш разговорный язык. Когда мы узнавали, например, про только что взорванный собор в каком-нибудь городе, в Брянске или Витебске, самое время было Кириллу, сжав свои и без того тонкие губы и сузив свои глаза, сказать: «Кровь и ненависть, кровь и пламя!»

Да и в более простых случаях, при разглядывании абстракций, воспроизведенных в альбомах, при слушании битловской музыки или просто при разглядывании афиш поэтического, скажем, вечера, когда значится двадцать человек и все, за исключением одного-двух бедолаг, — прогрессивные личности. Тут Кирилл и мог подкинуть: «Кровь и ненависть!»

В кино мы любили ходить. Даже на фильмы, которые заведомо могли принести нам только горечь.

— Ничего, надо посмотреть для озлобления.

— Для озлобления, Владимир Алексеевич, для озлобления.

Это была у нас такая же четкая формула, как и «прогрессивная личность», и мы пользовались ею часто не только в кино, но и в других подходящих случаях. Прочитать книгу, битком набитую вульгарным социологизмом фальсифицирующую гражданскую войну, последние дни царской семьи, восхваляющую захлеб каких-нибудь там Свердлова, Бела Куна, Дзержинского...

— Да что у меня, неприятностей, что ли, мало в жизни, чтобы я еще читал эту дрянь?

— Для озлобления, Владимир Алексеевич, обязательно надо прочитать.

Или иногда, задумавшись и оценивая новую какую-нибудь информацию, ну, о том, например, что в Ленинграде была попытка переконструировать и модернизировать Невский проспект, что там снесли дом Энгельгардов, собор на Сенной площади, или просто сидя в ЦДЛ и оглянувшись на публику, Кирилл всегда мог сказать с неожиданной вопросительной болью:

— А не был ли действительно архитектор прав?

Самые ответственные разговоры легко возникали и расцветали во время возвращения из какой-нибудь автомобильной поездки. Во-первых, времени — некуда девать. Во-вторых, ночная езда и замкнутый салон автомобиля сближают и сплачивают еще больше. Кроме того, до некоторой степени утрачивается реальность обстановки, времени.

Тогда не только для взаимной потехи, но и для оттачивания мыслей, формулировок, для более тонкого уяснения отдельных вопросов шла игра в кувальдягу.

— Но все же, почему вся наша земля неприглядна, замусорена, истерзана? Ну, один председатель бесхозяйственный растяпа, неряха, ну, другой, но почему все? Не кроется ли за этим какой-нибудь политической, экономической подоплеки?

— Конечно, кроется. Россия была захвачена интернационалом с определенной целью: высасывать, выкачивать из нее ресурсы. Ради мировой революции. Впрочем, может быть, мировая революция была лишь фразой, дабы подвести теоретическую базу под самый обыкновенный грабеж. Кроме того, для массового поголовного порабощения людей, как мы видели, необходимо было учредить принцип строжайшего контроля, учета и распределения всех товаров. Так или иначе, с самого начала государственная машина была приспособлена для одной главной функции: выколачивать, высасывать соки (хлеб, мясо, молоко, хлопок, нефть и все остальное) из обширного тела страны к центру.

Это вовсе не значит, что каждую картошину и каждое яйцо надо везти в Москву, в Кремль. Продукты могут оставаться на заготпунктах в районах и областях. Важно отобрать их у производителей, учсть, наложить

И вот образовались в стране два основных потока. Сверху вниз идет постоянный поток требований, приказов, головопоек, разъяренных телефонных звонков, строгих бумаг, предписаний, угроз, нажимов: давай, давай, давай! В сжатые сроки. Первая заповедь. С перевыполнением плана.

По второму потоку снизу вверх идут зерно, молоко, мясо, хлопок и все остальное.

В эти два встречных потока умещается вся наша хозяйственная деятельность.

Внешний же вид земли, порядок на ней, красота ее, благополучие ее, уход за ней остаются за пределами обоих потоков. Красоте земли, опрятности ее негде там поместиться. Ее, красоту земли, не требуют сверху звонками, указаниями, она не фигурирует и в колхозных сводках. (76)

А так как ради выжимания соков с самого начала установилась традиция требовать больше, чем можно получить, по принципу: требуй больше, меньше само получится, — так и по сей день сверху идут требования выше реальных возможностей колхозов и совхозов (равно заводов, шахт, рудников), то низы всегда держатся в напряжении. Председатели колхозов крутятся, как белки в колесе, бегают, схватившись за голову, ибо все время недовыполняют требования, идущие сверху. Или тратят энергию на ухищрения, как бы обмануть государственную машину принуждения и хоть немножечко полегче вздохнуть. Например, наш председатель колхоза Быков держит 400 коров, а по сводкам проводит двести, таким образом, молоко он сдает как бы с двухсот коров, и надой па каждую корову у него получается в два раза больше, за что он второй год получает переходящее Красное знамя.

Вообще же между двумя потоками нет люфта, просвета. Председателю некогда оглядеться вокруг (начальнику нефтепромысла тоже), посмотреть, как он живет на земле. Давай, давай! Ладно уж состояние села, ладно уж речки, пруды, озера, ладно уж состояние колхозных лесов. Все это остается за пределами двух основных шестерен государственной машины, то есть остается за ее пределами весь внешний вид земли.

Я поинтересовался в том же Бугуруслане Оренбургской области. Оказалось, что Бугурусланский район «продает» государству продукции — мяса, хлеба, молока и яиц — на 35 миллионов рублей.

Я поставил в кавычки слово «продает», потому что оно употребляется в нашей практике условно. Это не значит, что колхоз повез свой товар на ярмарку, продал и получил деньги, которыми волен распоряжаться. Колхоз просто вывозит все, что он произвел. За это через банк он получает дозами деньги, чтобы платить колхозникам зарплату, платить за ремонт техники, за семена, за комбикорма, за химические удобрения. При этом закупочные цены сбалансированы так, чтобы свободных денег в колхозе никогда не было и чтобы колхоз всегда был должником государства. Так что на благоустройство земли и на наведение красоты или хотя бы порядка не остается ни копейки.

Итак, район сдал продукцию на 35 миллионов рублей по заготовочным ценам. По реальным ценам это близко к 100 миллионам. Но процесс вполне односторонний. Клапана! От периферии, от народа к центру — свободный поток, и принцип только один: отдать все, а от центра, от государства к народу стоят строжайшие, контролирующие дозаторы. Я спросил у одного из партийных руководителей Бугурусланского района — сколько денег район получает обратно на благоустройство района и вообще земли, на ремонт школ, больниц, садов и парков, улиц и дорог, столовых, гостиниц и прочее. Оказалось, что если исходить из 35 миллионов рублей, то обратно район получает около 6%, а если исходить из реальной стоимости продукции, то есть из цен, по которым эту продукцию реализует потом государство, — не более 2%.

Вот и вся наглядная схема. От народа в центр, в государство — 100%, обратно — 2%. Как же быть нашей земле благоустроенной и красивой?

— Наверное. наиболее думающие люди догадываются, что наша газетная информация, мягко говоря, необъективна, что народу не говорят всей правды о положении дел и вообще правды...

— Еще бы! Перед XXIV съездом партии собрался Пленум ЦК. Брежнев выступил с большим докладом о том, что наша экономика стоит перед крахом. Привел все цифры. Они обсудили все это, а на съезд вышли и начали дудеть с трибун о триумфальных успехах нашей экономики. О разговоре на Пленуме не появилось нигде ни строчки.

Дело в том, что наше государство началось со лжи. Со лживых лозунгов, со лживых декретов, со лживых теоретических посылок.

Объявили диктатуру пролетариата, а установили диктатуру группировки.

Объявили мир, а страну ввергли в четырехлетнюю бойню.

Объявили — земля крестьянам, а землю у них вскоре отобрали вместе с инвентарем и лошадьми.

Объявили рабоче-крестьянскую власть — и тотчас ввели принудительную трудовую повинность, а против крестьян бросили регулярную армию, установили продовольственную диктатуру.

С тех пор — ложь, ложь и ложь. Ложь в газетах, на собраниях, на сессиях Верховного Совета, на партийных съездах, в лозунгах и плакатах, в книгах, в кино, на сценах театров, в живописи — всюду ложь, ложь и ложь.

Когда литератор Померанцев выступил со статьей «Об искренности в литературе», на него обрушилась жесточайшая партийная критика. Сразу стало очевидным, что он дотронулся до больного места. Но неужели непонятно, что сам разговор об искренности мог возникнуть только в стране, где ложь стала законом жизни?

— Но почему все-таки мало сейчас очень талантливых, ярких русских, украинских писателей? Где Пушкины, Достоевские, Толстые? Нет, это, конечно, наивный вопрос, но почему на наших глазах прекращается фактически приток в литературу и в остальные искусства талантливейших, ярчайших людей?

— Разве это не ясно? Во-первых, климат. На морозе цветы не распускаются и вообще растения прозябают. Но эта причина, как ни странно, второстепенная. Во-вторых, когда поле заполнено сорняками, хлебным колосьям грудно быть полновесными и тяжелыми, но и эта причина не главная.

— Что же главное?

— Гены. Таланты, гении — это гены. Из поколения в поколение перебегают в роду огонек дарования, пока не вспыхнет ярким пламенем таланта. Конечно, вспыхнув в непогодных условиях, он может заглохнуть, погаснуть. Но все же первоначальное условие, чтобы он вспыхнул, родился на свет, — это в генах. Вот теперь-то и сказывается наглядно итог концентраций. У Пушкина в «Истории Пугачевского бунта» есть место: «Пугачев скрежетал. Он поклялся повесить не только Симонова и Крылова, но и все семейство последнего, находившееся в то время в Оренбурге. Таким образом обречен был смерти и четырехлетний ребенок, впоследствии славный баснописец Крылов».

Вот видите, велик ли был истребительский размах у Пугачева, а и то едва не лишил нас гордости

русской словесности, нашего гениального баснописца, что же сказать про целенаправленное истребление всей русской интеллигенции, всей верхушки русской нации, и рождавшей как раз талантливых, гениальных людей, а также про истребление среднего слоя русской интеллигенции, духовенства, купечества, которые тоже рождали ведь хотя бы тех же Чернышевских, Сперанских, Добролюбовых. А так же про истребление лучшей, наиболее даровитой части крестьянства, уже приготовившейся поставлять талантливых людей в отечественную культуру? Все наиболее ценные гены русской нации оказались в земле. А теперь мы вопим — где таланты, где яркие личности, где гении?

Но этому есть, конечно, и еще одна причина, хоть мы и назвали ее второстепенной. Вернемся к ней на минутку. Я опять говорю о климате.

Принцип учета и распределения как рычаг диктатуры, как способ заставить работать на себя касается и всех видов искусства. Гонорарная система, то есть система оплаты труда художника, писателя, музыканта построена и рассчитана так, чтобы он, художник, все время чувствовал себя в материальной зависимости от государства. И не только в материальной. Пресса, известность, почет, приемы, заграничные поездки — все это находится в руках государства и раздается в виде тоже своеобразного пайка одним меньше, другим больше. У нас выгоднее писать как можно чаще средние, серые вещи, лишь бы они сразу шли (печатались, вывешивались и т.д.), нежели создавать нечто яркое, из ряда вон выходящее, ни на что окружающее не похожее, уникальное.

Конечно, государство вынуждено содержать целую армию писателей, поэтов, живописцев, композиторов, скульпторов и т.д., ибо само оно писать поэмы и картины не умеет. Оно подкармливает художников, дает им даже ордена и звания Героев, премии, дачи, хорошие квартиры. Но оно дает все эти блага не по признаку исключительности художника, его особенной яркости, а по признаку верности его службы господствующей идеологии, государству. В самом деле, не можем же мы считать самыми лучшими и яркими (возьмем писателей) тех, кто отмечен высшей наградой — званием Героя Социалистического Труда: Полевого, Грибачева, Кожевникова, Маркова, Камила Яшена (77) и т.д., в то время как Пришвин не получил за свою жизнь ни одной премии, равно как Андрей Платонов, Паустовский, Пастернак, Юматова, Булгаков, Дудинцев, Тендряков, Можяев. При всем уважении к Симонову, неужели Пришвин и Паустовский были писатели хуже, чем он? Почему же Симонов пятикратный, если не больше, лауреат, а Пришвин — ни разу? Неужели Трифонов хуже писатель, чем Полевой? Почему же Герой Социалистического Труда Полевой, а не Трифонов? Итак, очевидно, что блага даются не за таланты, а за верную службу.

Да, государство вынуждено содержать (хотя и держать на материальном и психологическом пайке) армию деятелей искусств. Но дело в том, что, когда попадается истинно талантливый человек, он начинает служить не государству, а русской литературе, русской живописи и т.д. Он вынужден преодолевать террор среды. Яркое в наших искусствах может возникнуть не благодаря нашей системе, а вопреки ей.

— Да, но подменившие собой русскую интеллигенцию или, по крайней мере, разбавившие ее, они же — талантливы. Биологически талантливы, все, как один. Талантливый народ, гениальная избранная нация? Поэтому их, то есть в силу талантливости, и много везде: в Союзе писателей, в кино, в живописи, в музыке, в медицине, в театре...

— Заведомая, как бы запрограммированная их талантливость — это миф. Они действительно выходят в известные писатели, живописцы: Гейне, Гойя, Пикассо, Шагал, Ремарк или тот же Эйнштейн. Но, во-первых, популярность этих людей раздута искусственным образом и вовсе не соответствует истинной ценности того или иного художника, музыканта, ученого. Во-вторых, заведомая биологическая запрограммированность здесь ни при чем. Если бы это было так, что крупнейшие деятели культуры возникали бы из евреев всюду, где есть евреи: в Греции, в Турции, в Афганистане, в Швейцарии или в том же Израиле. Чего же проще? Однако этого не происходит. Заметные деятели культуры, искусства и науки еврейского происхождения возникают только на базе великих культур: немецкой, французской, английской, русской, испанской, итальянской.

Обращаясь внутри этих культур, опираясь на высочайший уровень этих культур, они достигают известных высот. Но там, где им некуда подниматься, они и не поднимаются сами по себе, в силу, как вы говорите, биологических особенностей и избранности. Они талантливые переимщики, впитыватели, а вовсе не изначальные гении-творцы.

— Но последний царь действительно, говорят, был плохим царем, слабовольным, ударялся в мистику, допустил Распутина, не умел руководить таким государством, как Российская империя?

— Здесь много от пропаганды. У него, как у царя, был недостаток — ему не хватало властности, твердости. Но он был интеллигентным, добрым человеком и безгранично любил Россию, народ... Но допустим, допустим, что это был плохой царь, что двор при нем весь прогнил. Так неужели из-за одного слабого человека надо было крушить и громить всю Россию и устраивать многолетний геноцид? Только ненавистники России могли сознательно ввергнуть ее в такую пучину бедствий, из которой уже неизвестно, выберется ли она. А личность царя, как сейчас очевидно, послужила для них только предлогом и удобным поводом.

- Но в Америке тоже ведь, хоть и кричат о свободе, пойдя, попробуй, напечатайся, если сказал что-нибудь не понравившееся хозяевам газет и издательств. Ни одна газета, ни одно издательство не пустит на порог. И демократия вся в руках у денег, то есть сами теперь знаете, у кого.

— Но разве я хвалю современную демократию, будь то в Америке, во Франции, в ФРГ или где бы то ни было.

— А что бы взяли за образец?

— Россию, и только Россию. С ее духом народности, с ее глубинным гуманизмом, с ее светлыми праздниками и трудом, когда каждое усилие работает на процветание нации. Но, конечно, Россию в ее развитии, какой ей теперь предстояло бы быть. Я монархист, дорогие друзья, убежденный и последовательный. Повторяю святую истину: стоять во главе народа, возглавлять народ может только монарх, управлять населением могут и президенты.

Утрачивалась реальность обстановки во время ночной езды, и наша фантазия закусывала удила.

— Представь себе, — говорил кто-нибудь из нас, — что мы группы, организация, сила. Во время какого-нибудь крупного заседания, когда все они собрались в одном месте, мы окружаем здание, в зал входят воины с автоматами («спокойно, товарищи, всем оставаться на местах»).

— А утром вместо бесцветного бессловесного гимна по радио бухает колокол и раздается

благовест. Торжественные колокола звонят на всю Россию, на весь мир, возвещая, что эпоха диктаторского насилия и мрака окончилась. Люди недоумевают, но уже предчувствие говорит им, что свершилось что-то прекрасное, светлое, не зря же звонят колокола!

— После пяти минут торжественного благовеста, — возбуждается фантазия и у Лизы, — все проснулись, вся страна, весь народ, все у радиоприемников.

— Колокола замолкают, голос с железным тембром.

— Не Левитана, конечно?

— О нет, конечно, не Левитана. «Дорогие соотечественники! Нами, группой освобождения и возрождения России, сегодня, 18 июля, в Москве произведен государственный переворот. Так называемое советское правительство, доведшее страну до полного разложения и маразма, низложено, арестовано и содержится в изоляции».

— И уничтожено физически! — с ходу уточняет Кирилл.

— В благоприятный момент будет проведен всеобщий опрос с тем, чтобы народы, населяющие нашу страну, сами могли выбрать желательный для них образ жизни и верховную власть. Для управления страной на ближайшее время создан контрреволюционный — да, именно так, не боясь этого слова, — контрреволюционный комитет во главе с председателем, называемым заместителем верховной власти в России.

— Почему заместителем верховной власти? — В России должен быть царь, император, но к этому надо подготовить страну, народы. Пока что — заместитель верховной власти, который потом передаст эту власть из рук в руки... Сегодня в 12 часов председатель комитета, он же заместитель верховной власти, выступит по радио с большой программной речью.

— Нет, лучше бы пока без речей. Лучше в течение нескольких дней сначала показать на деле, что все изменилось, и что изменилось именно к лучшему.

— Например?

— Ну, например, утром встали люди, пошли в магазины, а там... Ну, как во всем остальном мире — полное разнообразие, полное изобилие. Мясо лежит разных сортов, телятина, вырезка, языки, поросята. Говядина стоит семьдесят копеек. Сливочное масло — 1.20. Водка — 65 копеек (пол-литра). Думаешь, не понравилось бы народу? Дубленки разных фасонов, осетрина, стерлядь, икра такая-этакая, вобла кулями, автомобили двадцати марок, все завалено разнообразными фруктами, свежей рыбой. Ткани и платья, трикотаж и обувь... Одним словом, все как в других современных государствах и городах.

— Где же сразу взять такое изобилие, да еще чтобы дешево?

— Бросить на это все финансовые резервы. Указ 1. «О временном прекращении исследований космического пространства». Пусть американцы исследуют. Каждый космический корабль — это миллиарды и миллиарды рублей. Два-три незапущенных корабля — вот тебе и полное изобилие товаров. Закупить за границей на первое время. Пустить на первое время немецкие, французские, итальянские фирмы, пусть заваливают нас своими красивыми и модными товарами. Потом окрепнем и оттесним.

Указ 2. «О возвращении исторически сложившихся названий городам, площадям, поселкам и улицам. Нижний Новгород, Вятка, Самара, Тверь, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Петербургский университет (а не университет имени Жданова), Марьинский театр (а не театр имени Кирова). Никаких Дзержинских, Урицких, Воровских, Луначарских, Семашек...»

Указ 3... — Мы говорили, захлебываясь от восторга и перебивая друг друга — «О всеобщей свободе вероисповеданий». Открыть все церкви! Восстановить разрушающиеся построить достаточное количество новых. Открыть мечети, костелы, кирхи, всюду повесить колокола. Особым постановлением начать строительство храма Христа Спасителя. Восстановить и открыть все монастыри.

Указ о новом названии государства. Название СССР упраздняется. Впредь именовать — Великое Государство Российское, в обиходном сокращении — Россия. Указ о роспуске КПСС.

Роспуск колхозов и возвращение к естественному, нормальному земледельческому труду.

Возобновление свободного труда для крестьян, возрождение ярмарок.

Свободное передвижение всех людей как за границу, так и обратно. Отмена прописки.

Особым обращением вернуть русскую эмиграцию... Представьте себе, какое началось бы оживление, какая гора свалилась бы у людей с плеч, как повеселели бы взгляды и прояснились бы лица, как расправились бы и распрямылись души!

...К этому времени мы уже достигли Москвы и ехали теперь по серой ночной промороженной улице, и два-три лозунга уже успели броситься нам в глаза: «Народ и партия едины», «Встретим ударным трудом...», «Мы придем к победе коммунистического труда».

Внятно и четко, вразумительно и проникновенно вдруг Лиза сказала:

— Жутко оттуда, где мы только что побывали, возвращаться опять к действительности. Не хочу!

Наступила в нашей машине тишина. Я поймал себя на том, насколько точно определила Лиза и мое душевное состояние: нелепо и жутко опять возвращаться в серую, мертвенную тюремную камеру, когда только что побывал на живой земле, на живой траве, под живым небом. К тому же где-то в глубине души появился червячок сомнения: не поздно ли? Не все ли уже кончено с Россией? Была искусственно парализована, обескровлена, выедена изнутри, обглодана почти до остова. Вспомнились ужасные слова Розанова из его «Опавших листьев»: «Когда она (Родина) наконец умрет и, обглоданная евреями, будет являть одни кости, — тот будет «русский», кто будет плакать около этого остова, никому не нужного и всеми покинутого».

Так не мертва ли она? Не осталась ли нам скорбная доля только оплакивать ее остов по пророчеству русского писателя?

А если теперь и оживить? Есть ли смысл оживлять человека на подопытном операционном столе, если у него вырезано все самое главное и важное? Оставшиеся органы все перепутаны хирургами-палачами. Не на мучения ли разбудишь его и вернешь к жизни? Ведь всюду будет болеть, когда начнет он оттаивать от анестезии?.. Кирилл Буренин оказался тверже меня.

— Прекрасно то, что мы на минуту сейчас вообразили. Но само оно не придет.

— Так что же?

— Надо действовать. Они в свое время не сидели сложа руки.

— Как действовать? Что? Нет же способа привнести наши идеи в массы. Нет. Листовки, что ли,



расклеивать?

— Надо создавать организацию. Группу хотя бы на первых порах. Пусть двадцать, сорок человек, но твердых, надежных, каменных.

— Какая группа из двадцати человек, когда у нас в стране каждый пятый — стукач?!

— Осмотрительно, осторожно. Теория малых дел. Птичка по зернышку клюет и сыта бывает. А под лежащий камень вода не потечет, нет.

— Народ оболванен. Вон эти, демократы, вышли однажды на площадь... К Лобному месту. Развернули лозунг: «Руки прочь от Чехословакии». Людишки смотрят, спрашивают друг у друга:

— Смотри-ка, «Руки прочь от Чехословакии!» Напал на нее, что ли, кто? Немцы, что ли, напали?

Смех. Пока зеваки разбирались, кто напал на Чехословакию, подъехал автобус, и демократов забрали.

— Создать группу. Создавать цепь, звено к звену. Осторожно, осмотрительно, самых верных, самых живых. Как заметил, что прощупывается пульс, так и занимайся реанимацией, искусственное дыхание, компресс на сердце, а то и укол в сердце. Смотришь, открылись глаза, появилась речь. А так мы только болтаем. Вот, например, если я дам тебе книгу... Сумеешь ты передать ее послезавтра одному из самых надежных и самых живых, на твой взгляд, людей? Это уже будет дело. Звено к звену. Продумать систему. Каждый знает двоих-троих. Есть же, не перевелись же, черт возьми, русские люди. Или думаешь, одни только мы с тобой остались?

— Я думаю, что людей много даже и зрячих, вполне живых, но все разобщены и запуганы. В кружке из четырех-пяти человек ни один не будет разговаривать откровенно, разве что по пьянке.

— Ну так как? Сможешь послезавтра передать книгу одному из своих друзей? Можешь воспринимать это как задание. А чтобы оно было действительно заданием — обязательно послезавтра.

Где-то боковой искрой мелькнуло, что есть в нашем государстве, есть разница между тем, чтобы прочитать книгу самому, и тем, чтобы дать ее почитать товарищу. Одно дело держать такую книгу у себя, а другое дело ее распространять. И что не напрасно Кирилл настаивает, чтобы я непременно передал кому-нибудь его книгу. Это уж — приобщить, сделать участником, отрезать пути.

А что же мне их не отрезать? Разве мне, все понявшему и увидевшему все в истинном свете, мне, у которого каждый час и каждую минуту сердце обливается кровью при мысли о России, мне, который, по моим же словам, если бы сказали сейчас — прыгай с колокольни Ивана Великого, и в момент шлепка тела о землю все вспыхнет, воскреснет, воскреснет или оживет, я и секунды не колебался бы, а бросился бы, раскинув руки... Что же мне бояться отрезания путей? Да есть ли для меня теперь другой путь, кроме одного, если даже он ведет к неизбежной гибели?

— Хорошо. Завтра ты дашь мне книгу, а послезавтра я передам ее другому человеку, но своему выбору.

— Кровь и ненависть, кровь и пламя!

Через день, в десять часов утра, когда я только что собрался позвонить одному человеку, чтобы условиться с ним о встрече, у меня самого зазвонил телефон. Я снял трубку и услышал голос отца Алексея из Троице-Сергиевой лавры. Я несколько удивился этому звонку, потому что слышал, будто между отцом Алексеем и Кириллом пробежала какая-то кошка. О чем-то они спорили, на чем-то неладили, в чем-то разошлись. Я жалел об этом, думая, что холодок их отношений падет на меня, а было бы жалко. Я полюбил бывать в лавре в гостях у отца Алексея в той особенной атмосфере, которая хоть и создана теперь искусственно, вроде как в оранжерее, да все-таки напоминает атмосферу России.

На чем они могли охладиться? По репликам, по интонациям Кирилла я понял, что РПЦ злила его своей лояльностью, ее пугал экстремизм Кирилла. Она искала тихой мирной жизни, в то время как Кирилл требовал энергичных и практических действий. А у тех ведь еще и саны, и должности. Скажем, ученый секретарь академии. Достигнуто, и жалко терять. Отсюда соглашательство, прислужничество. «Они тоже на пшене, — клеймил Кирилл, тоже клюют с ладони». По крайней мере, так все это выглядело в интерпретации самого Кирилла.

И вот отец Алексей позвонил сам. Я тотчас увидел в этом промысел: как же! Перед таким решительным шагом, который я собирался сделать сегодня, хорошее ли это, плохое ли предзнаменование, но совпадение — вот оно! Помнится, я обрадовался этому совпадению.

— Как живете, Владимир Алексеевич?

— Вашими молитвами.

— Молимся, молимся о вас. Постоянно молимся о вас. Давненько не виделись, а есть потребность.

— Так что же, мне приехать в Загорск?

— Приехать, но не в Загорск. Я сегодня нахожусь в Переделкинской резиденции патриарха. Это и ближе. Если можете, жду вас к обеду. Приезжайте в час дня.

Я был убежден, что отец Алексей хочет помириться с Кириллом, и надеялся, что я по мере сил посодействую этому. Что ж, мирить хороших людей — благое дело. Я ехал в Переделкино с легким сердцем, радостно возбужденным, и всякое море казалось мне по колено. А книгу я сегодня отдам. Пришел и мой черед выходить на линию огня. Что ж, «Я не первый воин, не последний».

За рулем отлично читаются стихи, и я твердил два стихотворения, пришедшиеся к случаю, так что каждая строка, каждая интонация отвечали полностью моему настроению, состоянию моего духа, моей судьбе. И не только отвечали — сливались всеми точками, совпадали.

Мы, сам-друг, над степью в полночь встали,  
Не вернуться, не взглянуть назад.  
За Непрядвой лебеди кричали,  
И опять, опять они кричат...

Опять, опять, опять... Недаром словечко «опять» пронизывает весь этот цикл «На поле Куликовом», входящий, в свою очередь, в цикл «Родина». Опять. «И вечный бой, покой нам только снится». Миллионы погублены, расстреляны, брошены в грязные ямы, замучены, поработаны, растлены. Но я оказался жив. Мы оказались живы. И вот — опять, опять...

За Непрядвой лебеди кричали,  
И опять, опять они кричат.  
По пути горячий белый камень.  
За рекой поганая орда.  
Светлый стяг над нашими полками  
Не взыграет больше никогда.

Над нашими полками... Светлый стяг... Где русские полки и где светлые стяги? «Все расхищено, предано, продано». Но...

К земле склоняясь головою.  
Говорит мне друг: «Остри свой меч,  
Чтоб недаром биться с татарвою,  
За святое дело мертвым лечь!»

За святое дело. За Россию. За Русь. За милую Родину истерзанную темными силами. Да я... Господи... Мертвым лечь, если надо!..

Я не первый воин, не последний,  
Долго будет Родина больна.  
Помяни ж за раннюю обедней.  
Мила друга, светлая жена!

Тут спазм перехватил мне горло, но это был не спазм горя, не печали, но спазм боевого восторга, точно и впрямь сейчас опять развернется надо мною светлое знамя и я в составе головного полка вырву из ножен обоюдоострый тяжелый меч.

Опять над полем Куликовым  
Взошла и расточилась мгла,  
И словно облаком суровым  
Грядущий день заволокла.

Не просто суровым облаком, а тяжелым, беспросветным мраком, растянувшимся на долгие десятилетия унылого рабского существования, влачения судьбы, покорности и постепенного угасания.

За тишиною непробудной,  
За расстилающейся мглой  
Не слышно грома битвы чудной,  
Не видно молнии боевой...

Тихо-то тихо, темно-то темно. Но есть еще живые люди, есть еще живые сердца, бьется еще пульс России. «Еще польска не згинела, пока мы жиємо». Может быть, безнадежным окажется пробудить ее от сна, а тем более воскресить ее силы. Но. Но. Но...

Но узнаю тебя, начало  
Высоких и мятежных дней!  
Над вражьим станом, как бывало.  
И плеск и трубы лебедей.  
Не может сердце жить покоем,  
Недаром тучи собрались.  
Доспел тяжел, как перед боем.  
Теперь твой час настал. Молись!

Настал и мой час. Настала моя пора выходить на линию огня. Я погибну, конечно, но погибну за Россию, погибну как русский. Это будет прекрасно.

Я не первый воин, не последний.  
Долго будет Родина больна...

И можно было не повторять уж последующих, завершающих строк, они и так звучали, пели, ликовали во мне.

Может быть, я и не повторял их вслух, но все это во мне и вокруг меня, и этот послушный руль, и эта скорость, и этот поворот дороги, после которого вспыхнула вдруг на горе златоглавая патриаршья церковка, все во мне и вокруг меня были одни эти строки, одна эта пронзительная и омывающая радость, и все грядущие муки, и саму грядущую насильственную смерть превращала в радость эта нота:

Помяни ж за раннюю обедней  
Мила друга, светлая жена!  
.....  
И когда наутро тучей черной  
Двинулась орда,  
Был в щите твой лик нерукотворный  
Светел навсегда!

Бывшее, шестнадцатого еще века, подмосковное именице бояр Колычевых чудесным образом уцелело и сохранилось. И главное не было передано под какую-нибудь МТС, а было отдано патриархии как подмосковная резиденция патриарха всея Руси, вроде загородного дома или дачи.

Образовался еще один крохотный оазис, обнесенный не очень высокой, всегда свежепобеленной стеной. Въездные ворота в имение - парадные, с витиеватыми башенками, за ними уж там, на самой

территории, терем-теремок. Обелиск перед ним с именами всех бояр Колычевых, маленькое кладбище с несколькими крестами, служебные постройки - кухня, квасная, погреб и прочее. Сад на всей территории, пруд среди сада, заросший кувшинками. А церковь так стоит, что есть в нее вход с улицы для всех прихожан, но есть и с территории - через узкую боковую дверь. Но, конечно, в тереме у патриарха своя домовая церковь, где никогда не гаснут лампы мерцанием золоченых окладов перед ликами древнего письма. Если идти со стороны станции вечером, то поверх ворот виден верхний этаж терема, и тогда поймешь, что за стрельчатыми окошками в глубине дома мерцают тихие негасимые лампы.

После обеда мы пошли прогуляться по саду и, отойдя подальше от дома, от людей, от милиционера, который всегда дежурит на территории, сели на лавочку перед прудом. Я почувствовал, что отец Алексей сейчас заговорит о важном, зачем и позвал меня, но все же я не мог предчувствовать, каким обухом по голове припасено меня оглушить.

— Вот, Владимир Алексеевич, я возьму быка за рога. Мы, конечно, не государство в государстве, и у нас своей разведки нет, но хорошие люди есть всюду. Хорошие люди уверяют нас, что Кирилл Буренин со всех сторон окружен чекистами и провокаторами... Я не хочу сказать (а это пришлось бы доказывать), что он сам... этого, может быть, и нет... Но он «под колпаком», и следовательно, каждый, кто оказывается рядом с ним... Ну вот, а вас нам жалко. Вы — писатель. Вы — нужны. Поэтому мы после долгих колебаний и решили вас предупредить, чтобы не допустить вашей гибели. Если еще не поздно.

Я онемел. В глазах у меня потемнело. Появилось полное впечатление, что я рухнул, провалился сквозь тонкий лед и падаю, падаю в бесконечную бездну, в бездну, у которой даже нельзя представить дна, настолько глубока она и ужасна.

Калейдоскопически возникали во мне и тотчас разваливались, чтобы уступить место вновь возникающим и вновь разваливающимся картинкам.

Кирилл, Лиза, наши поездки, наша взаимная доверительность, наши взаимные разговоры во время поездок, все их реплики, вся их нацеленность, все руины церквей и монастырей, которые мы с ними увидели, вся мерзость запустения на самых святых и русских местах, все людские души, которые раскрывались от единого слова Кирилла и Лизы, хотя бы это, совсем уж недавнее, искреннее, как выдох, восклицание Лизы: «Жутко оттуда, где мы только что побывали, возвращаться опять к действительности. Не хочу!» Если это игра, то гениальная игра... Невозможно и вообразить. Да нет! Да как же? НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!

Последнюю фразу я, оказывается, произнес вслух, потому что отец Алексей на нее ответил:

— Может, Владимир Алексеевич, все может быть. К сожалению, так и есть.

— Но если он окружен чекистами, почему же меня до сих пор не забрали? Уже несколько лет им известны мои взгляды, мой образ мыслей.

— Что толку вас забрать? Одного? Им надо, чтобы на ваш огонек слеталось больше ваших единомышленников. По одному их трудно искать и ловить. А вот если вы их соберете в кучку, в одно место, то очень удобно. Вы знаете или нет, что в Ленинграде недавно взята целая молодежная организация?

— Первый раз слышу.

— Да, молодые ребята. Союз христианской молодежи.

У них была своя, крайне монархическая программа. Был свой вождь — Огурцов. Поэтому дело так и называлось — «Дело Огурцова». Железная дисциплина. Был у вождя заместитель по кадрам, был заместитель по контрразведке, заместитель по пропаганде. На суде, когда Огурцова ввели в зал, все подсудимые встали и вытянулись по стойке «смирно». Вот какая была у них дисциплина.

— И много их взяли?

— Человек около сорока. Вот и в Москве хорошо бы такую «огурцовскую» организацию...

— НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!

— Не исключено, что за Бурениным наблюдает еще одна разведка. Пропустить через свои руки всю московскую интеллигенцию и на каждом поставить плюс или минус. На всякий случай. Просеять, процедить. Где зерна, где плевелы. С их точки зрения, конечно. И если это так, то вы лучше меня знаете, что вся московская интеллигенция действительно процедила и на каждом поставлен либо плюс, либо минус.

— НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!

— Но как же так? Все понимать. Понять и узнать всю правду. И все же служить неправде? Познать, где свет, где тьма. И служить тьме? Но ведь если так, то ведь это чудовищно, так чудовищно, как никогда еще не бывало на свете!

— Не знаю, что вы находите в ней сверхчудовищного. ЧК доступны всякие методы.

На обратном пути (я уже не читал, разумеется, боевых и вдохновенных стихов Блока) в мелькании жутких теней я старался уловить хоть небольшие просветы. Схватился за соломинку, ибо нельзя было не схватиться за что-нибудь, но так и лететь вниз, кувыркаясь в кромешном мраке. Соломинка была вот такая: «А может быть, они, — думал я, — решили отодвинуть меня от своей конспиративной деятельности? Я писатель, а не конспиратор. У меня все, если не на пере, то на языке. Я уже и теперь направо и налево высказываю свои взгляды. Стал носить перстень с изображением Николая Второго. А там нужна совершенно тайная, конспиративная, незаметная деятельность. Может быть, они понимают, что как писатель, выступая открыто, издаваясь и печатаясь, я принесу больше пользы, нежели как рядовой член конспиративной организации. Напишу книгу, она разоидется по стране в количестве сотен тысяч экземпляров, ее переведут на другие языки. Так что важнее — написать книгу или наклеить на заборе одну листовку? Передать в другие руки одну книгу? Это сумеет всякий, а вот написать ее... Может быть, они понимают это и хотят оградить меня от мелкой конспиративной деятельности, а тем самым и себя от возможного провала?»

Или они проверяют меня перед выполнением конкретного задания? Поверю ли я сразу в двуличность Буренина? Если поверю сразу, то какой я боец? Можно ли на меня положиться? Эмоционален и неустойчив. А там нужны — кремь и железо... Да нет, не может быть...

Во мне как-то в одно мгновение прокрутились все их, то есть Кирилла и отца Алексея, разговоры при мне — искренние, доверительные. И я чувствовал, что, если бы не было меня рядом, то они, эти их разговоры, были бы еще искреннее и доверительнее. И ведь это все происходило не год назад, а совсем недавно. Откуда же такая внезапная перемена? Нет, тут что-то не так...

Механически давил я на акселератор, и машина моя мчалась к Москве. Огромный многомиллионный и обширный город надвигался на меня с катастрофической, ударной, расплющивающей скоростью.

Многомиллионная Москва. Но найду ли я в ней хоть одного человека, с которым мог бы говорить вполне откровенно и не таясь? Что ждет теперь меня во всей Москве? Меня, прозревшего и уже не способного, да и не желающего, вернуться к благополучной, удобной и безопасной слепоте. И что делать с Бурениным?.. Не он ли сорвал бельмы с твоих глаз? Не он ли промыл тебе мозги и разморозил анестезированные участки сознания? Да, тебе уж не вернуться к твоим статьям по случаю 7 ноября и 1 Мая, тебе уж не выступать на Красной площади во время демонстраций трудящихся, тебя не выберут в секретари Союза писателей. Тебя не будут приглашать на правительственные приемы и перестанут пускать в заграничные поездки. Но ты стал живым человеком. У тебя бьется пульс. В тебе струится русская кровь. Ты видишь вещи такими, какие они есть на самом деле, а не такими, как тебе внушали, чтобы ты их видел. В сущности, он сделал реанимацию. Он оживил тебя. Вместо послушного, нерассуждающего, безмозглого и слепого, слепо повинующегося, подстриженного под общую гребенку, талдычащего общие слова и лозунги советского робота, вместо обкатанной детальки в бездушном государственном механизме ты превратился в живого человека, в единицу и в личность.

Сложна и трудна будет теперь твоя жизнь. Но как бы она ни была сложна и трудна, ты должен благодарить человека, сделавшего тебя живым и зрячим.

И разве ты не был счастлив с ними — с Кириллом и Лизой? И даже в самый последний момент отчаяния и безысходности ты прошепчешь слова благодарности им, проведшим тебя за руку, словно ребенка, от ступени к ступени, до последнего края, за которым нет уже ничего от привходящих мелочных обстоятельств, а есть только полный простор, полная свобода проявления и твоя добрая воля. Да еще — на все — воля Божья.

[На главную](#)